

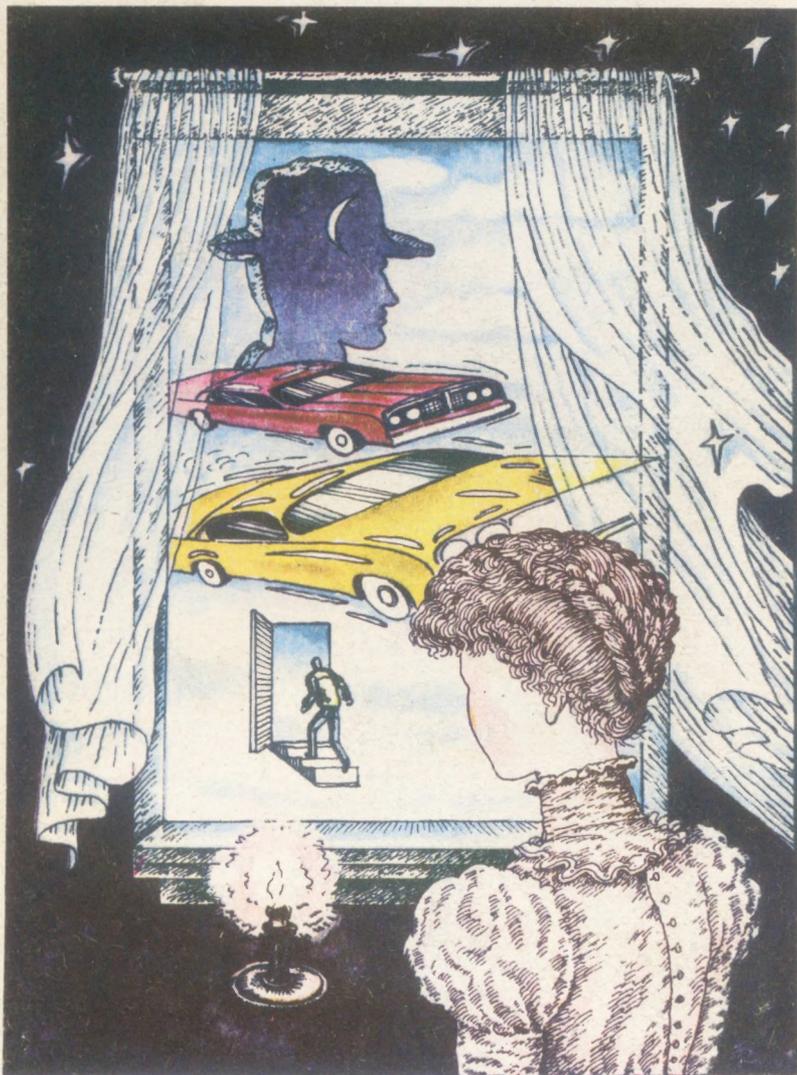
НФ

ISSN 0132-6783

НФ

СБОРНИК НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ

ВЫПУСК 28





СБОРНИК НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ

ВЫПУСК 28

**ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЗНАНИЕ»
МОСКВА 1983**

ББК 84

С23

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

Э. А. Араб-оглы

И. В. Бестужев-Лада

Д. А. Биленкин

Е. Л. Войскунский

Вл. Гаков

Г. М. Гречко

В. П. Демьянов

М. Б. Новиков

Е. И. Парнов

С23 **Сборник научной фантастики. Вып. 28. Сост. Ревич В. А.— М. : Знание, 1983.— 224 с.**

1 р. 20 к.

100 000 экз.

Большая часть произведений данного выпуска принадлежит перу молодых авторов. Читатель познакомится с повестями В. Генкина, А. Кацурь и Э. Геворкяна, рассказами К. Сергиенко и известного фантаста Г. Шаха. В разделе зарубежной фантастики представлены произведения П. Андерсона и Э. Симона. В разделе «Публицистика» помещена статья В. Ревича, посвященная 60-летию первой публикации романа А. Толстого «Аэлита».

Книга рассчитана на широкий круг читателей.

С $\frac{470100000-102}{073(02)-83}$ 10—83

ББК 84

С6

© Издательство «Знание», 1983 г.

■ ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Большая часть произведений, включенных в 28-й выпуск «НФ», принадлежит перу молодых авторов.

Центральное место сборника занимает повесть Валерия Генкина и Александра Кацуры «Лекарство для Люс». Практически это дебют молодых авторов, переводчика и философа по своим профессиям. Нарисовать картину будущего — задача не из легких, может быть, самая трудная для фантаста. Во всяком случае, она много труднее, чем придумывание какой-нибудь технической небывальщины. Ведь обращена эта картина к современникам, так что необходимо, чтобы она не дисгармонировала с сегодняшними представлениями о том, что такое совершенное, гуманное общество. Другого общества на Земле будущего советские фантасты себе не мыслят, но, конечно, каждый из них представляет его себе по-разному. Не знаю, согласятся ли читатели, но столь своеобразную педагогическую систему, которая нарисована в «Лекарстве для Люс», кажется, еще никто не предлагал. Тем интереснее поразмышлять над ее ценностью. Кстати, к теории игр, к роли игры в становлении и человеческого общества и отдельной личности наука проявляет большой интерес, поэтому мы сочли нелишним дать по этому вопросу комментарий психолога.

В «Лекарстве для Люс» «закдействована» достаточно традиционная машина времени, однако это не делает произведение раздражающим, в первую очередь важно учитывать цель, с которой вводится тот или иной фантастический атрибут. Такую же машину (или, если хотите, целый агрегат) мы обнаружим в рассказе детского писателя Константина Сергиенко «Побочный эффект», но и здесь это лишь внешний повод, чтобы написать, может быть, тоже о традиционном, но вечно юном предмете искусства — о любви, поэтической, не посчитавшейся даже с временным барьером, и грустной, потому что проскочить этот барьер все-таки невозможно.

Впрочем, рассказ К. Сергиенко заканчивается юмористической ноткой. А может, и правда, что именно пришельцы из будущего побуждают фантастов сочинять свои рассказы о будущем, чтобы потом, у себя дома, иметь возможность сравнивать их с действительностью и деланно сокрушаться о наших наивностях и просчетах. Фантастам надо иметь в виду такую возможность и, следовательно, особо ответственно относиться к своему труду.

Совсем иного рода ассоциации вызывает все та же машина времени в рассказе «Берегись, Наварра!» Г. Шаха, фантаста, в рассказах которого читатели часто находят парадоксальные попытки разрешить

неразрешимое. Именно такое противоречие внутренне, как говорят ученые люди — имплицитно, заложено в идее путешествий в прошлое. Представим себе в стиле мысленного эксперимента, что путешествия по времени возможны. Так могут или не могут, вернее, должны или не должны хронолетчики вмешиваться в несуразности уже осуществившегося исторического процесса. Теоретически ясно, что не могут и не должны, ибо вмешательство приведет к катастрофическим изменениям в человеческой истории и даже может разрушить то самое будущее, которое и отправило в командировку на «натуру» любознательных «археологов». (Подобные ситуации кардинально изучены в фантастике.) Но каждому не менее ясно, что не вмешиваться попросту аморально, и вряд ли можно представить себе человека будущего, который бы с академическим равнодушием взирал бы на то, как подлый убийца (Дантес, к примеру) поднимает свой пистолет. Впрочем, представить себе таких исследователей можно. Но... Вот что говорят об этом сами герои рассказа: «Вероятно, можно найти людей, и немало, которые не дрогнут в экстремальных обстоятельствах, сумеют воздержаться от вмешательства, когда на их глазах будут сжигать Орлеанскую Деву, Джордано Бруно или Сервета, отсекаль голову Пугачеву или Робеспьеру. Но мы сомневаемся, что люди этого сорта достойны представлять будущее в прошлом». Исходя из этих посылок автор и его герои делают вывод о нравственной невозможности, недопустимости путешествий в прошлое, а ведь у фантастов большей частью идет речь лишь о технических препонах.

Но не надо ли рассматривать рассуждения подобного типа как чисто умозрительную схоластику, лишенную практической ценности, ведь, как известно, законы детерминизма никогда не дадут осуществиться этой красивой мечте? Во все нет, потому что литература имеет свою логику и свои законы, подчас не совпадающие с физическими, и фантасты никогда не откажутся от возможностей, которые предоставляет им машина времени. Сводя представителей разных эпох, они получают самые разнообразные модели для изучения нравственных или социальных сторон в человеческом прогрессе. И что особенно важно подчеркнуть, модели эти всегда обращены в сегодняшний день. В Генкину и А. Кацуре машина времени нужна как транспорт для связи эпох, у К. Сергиенко она преломляется через человеческие эмоции, у Г. Шаха — через испытание чувства порядочности. Но и помимо идейных конструкций автор рассказа извлекает из своего сюжета множество блестящих, часто юмористических деталей. Разве не прелестен, например, сам Генрих Наваррский, король Франции, хитрюга и материалист, который с энтузиазмом распевает песню... Тихона Хренникова «Жил-был Анри Четвертый...», т. е. сам о себе (неизвестно, правда, на каком языке)?

Вторая повесть сборника «Правила игры без правил» — это тоже дебют. Автор ее филолог Эдуард Геворкян — участник московского семинара молодых фантастов. В динамичном, почти детективном повествовании проявилась одна из главных линий советской фантастики — контрпропагандистская борьба с силами империалистической реакции и милитаризма. Пришельцы, конечно, здесь лишь прием, лишь усиление мрачных, антигуманных сил того общества, в котором к высокому предназначению человека относятся с циничным презрением. На место геворкяновских пришельцев нетрудно подставить какую-нибудь изуверскую спецслужбу, охранку, подразделение «зеленых беретов» и т. п. Ответив на вопрос, для каких целей общество воспитывает свою молодежь, можно судить и об обществе в целом. Не все персонажи повести достаточно прописаны у молодого автора, но главная фигура повествования не однолинейна (увы, однолинейность — одна из главных бед фантастики), это характер сложный, противоречивый. Много в его жизненном пути, жизненной позиции и конкретных поступках вызывает у нас протест, но все же совесть оказалась в нем не совсем затоптанной. Трудно, конечно, считать главного героя сознательным борцом за правое дело, но когда и такие люди начинают восставать против зла, значит, чаша наполнилась до краев.

Активной ненавистью к милитаризму отличается и прогрессивная зарубежная фантастика. Галактическая война — частый, можно даже сказать — любимый антураж у западных авторов. И как часто ослепительные космические фейерверки, взрывающиеся планеты служат темному делу пропаганды всеобщего насилия. У ветерана американской фантастики Пола Андерсона — цель иная, хотя в его рассказе «Государственная измена» тоже идут звездные войны. Перед нами слегка замаскированный рассказ о современных ядерных маньяках, тех самых, которые планируют всевозможные ограниченные и неограниченные атомные войны, и о тех честных людях, которые не жалеют даже жизни, чтобы преградить дорогу их безумным планам.

Иные отношения между космическими цивилизациями в рассказе «Разведчик» молодого фантаста из ГДР Эрика Симона, много делающего для издания и пропаганды советской фантастики в своей стране. Здесь речь идет о братстве разумов, о естественности помощи и поддержки у всех разумных существ, даже ценой самопожертвования. Воспевание добрых начал в людях, и не только в людях, вообще характерно для социалистической фантастики.

Литературоведческая статья сборника посвящена исполнившемуся в 1983 году 100-летию со дня рождения выдающегося советского писателя Алексея Николаевича Толстого и 60-летию первой публикации его непрезойденной «Азлиты».

■ ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

КОНСТАНТИН СЕРГИЕНКО

Побочный эффект

Что-то заставило меня повернуть в этом месте, хотя поворачивать, казалось бы, и не следовало. В прошлом году там меня встретил забор, и я хорошо это помнил.

Теперь же забора не было. Значит, я повернул не напрасно. Я люблю кривые старые улочки, а эта делала целый зигзаг и, как я потом представил мысленно, изображала ковш, быть может похожий на ковш Большой или Малой Медведицы. И называлась улица Вестурес.

Сначала я шел по улице Маза Пилс до знаменитых домов «Три брата», а там повернул направо, и вот оказалось, что улица Вестурес не перекрыта забором в самом начале. Она уходит извивом от старого храма, то сильно сужаясь, то образуя подобия маленьких площадей.

Стоит подробно описать эту улицу. Тут есть дом, построенный в семнадцатом веке, но выглядит он как новый. Его недавно отреставрировали, и он смотрит белыми стенами, решетчатыми переплетами окон и дубовыми балками, как бы впечатанными в камень.

Есть дом с крошечным, словно игрушечным эркером. Я долго стоял перед этим домом, стараясь что-то увидеть в окне, но видел лишь белые занавески.

На скромной улице Вестурес два огромных собора! Церковь Екаба и церковь Марии Магдалины. Благодаря им в высоту эта улица ничуть не меньше, чем в длину или ширину. Да и ширина есть у этой улицы. Не только ширина проезжей части и тротуаров, но и другая, образовавшаяся благодаря извивам. Ведь «ковшом» своим улица Вестурес зачерпнула немало построек, в том числе и всю уходящую в глубину громаду собора Марии Магдалины, так что фасадом стоит он по правую, алтарем же по левую сторону улицы.

Я мог бы сказать о каждом доме, стоящем на улице Вестурес, но лучше скажу о девочке, пробежавшей с красным шаром в руках. Она держала его перед собой, словно хрупкий сосуд, лицо ее выглядело озабоченным. Потом прошел мимо старик, согбенный летами до роста карлика, и старик этот вонзил в меня возмущенный

взор, словно я совершил нехороший поступок. И кто-то глянул из-за шторы в доме номер четыре. По-моему, это была девушка, но тотчас лицо спряталось, оставив во мне сожаление, что я не успел его разглядеть.

Но больше всего привлек меня дом семнадцать. И нельзя сказать, что он слишком выделялся среди других домов. Просто его только что привели в порядок. Вокруг еще лежали горы песку, пахло известкой, угол дома венчал классический старый фонарь.

Дом пустовал. Его черепичная крыша резко уходила вверх, выставив окна мансарды. Рядом стоял флигель, накрытый бурым плетом вьющихся растений.

Я рассматривал дом. Вот так бродишь, бывало, по улицам, и вдруг твой взгляд остановится на окне или распахнутой двери. Начинаешь разглядывать дом, словно когда-то покинул его, а теперь вот вернулся и хочешь узнать, кто тут живет, не изменилось ли расположение комнат и помнят ли тебя в жилище, покинутом так давно.

Но окна этого дома были пусты. Не белели на них занавески, не выглядывал на улицу цветок, и чувствовалось, что нет ни одной картины на стенах его комнат, не стоят шкафы с книгами, не лежат на полу коврики. Холодом и пустотой веяло из окон дома номер семнадцать. Но чем же привлек меня этот дом?

Кто-то остановился, посвистывая, рядом. Я оглянулся. Молодой человек в черном узком пальто и широкополой шляпе тоже смотрел на дом.

— Кто тут живет? — спросил он. — Не знает?

— По-моему, никто не живет, — ответил я.

Он вытащил сигару и с залихватским видом сунул ее в рот. Пижон, подумал я.

— Курите? — Он сделал движение достать другую сигару.

— Нет, спасибо.

Мне бы повернуться и уйти. Но как-то неловко было это сделать, когда с тобой вступили в разговор. Никто еще не заговаривал со мной на улице в Риге, и, если молодой человек рижанин, его обращение ко мне следовало принять за знак благосклонности.

Он ловко откусил кончик сигары и задымил, распространяя крепкий, но ароматный запах.

— Этот дом реставрируется, — сообщил он тоном знатока, — здесь будет приемная.

— Какая приемная? — спросил я.

Он пожал неопределенно плечами и оглядел меня с головы до ног.

— Я думаю, вы архитектор. — В его разговоре чувствовался прибалтийский акцент.

— Нет, — ответил я, немного помедлив, — не архитектор.

— Я уж подумал, раз вы глядите на дом, то, наверно, интересуетесь архитектурой.

— Да нет, отчего же...— пробормотал я.— А вы архитектор?

— Увы! — Он засмеялся.— Я студент.

Мы уже шли по улице Вестурес, молодой человек не отставил от меня ни на шаг.

— Я вижу, вы не рижанин,— заметил он.

— Да, приехал на две недели.

— Сейчас неудачное время для отдыха. Дожди. Где вы живете?

— У друзей.

— Хотите выпить кофе? — Мы остановились у крепко сколоченной деревянной двери с коваными стилизованными накладками.— Здесь варят хороший кофе.

Он стукнул в дверь. Она растворилась не сразу, и оттуда сказали: «Мест нет». Мой собеседник отнюдь не смутился. Он сунул голову в дверь, поговорил со швейцаром, и через минуту нас проводили в сумрачный зал к маленькому столику. Пальто он кинул на спинку стула, но так и не снял шляпу, продолжая посасывать сигару. Метрдотель что-то проговорил по-латышски, указывая на сигару, но он коротко ответил, и метрдотель отошел с недоуменным видом.

Я разглядывал его лицо. Оно было бледным, не лишенным изящества. Модная стетсоновская шляпа придавала этому лицу нечто взятое напрокат из фильмов ретро.

— Тут ведь одни коктейли,— сказал он, глянув в карту.— Вы пьете коктейли?

— Что ж делать,— ответил я.

— Подождите.— Он встал и вернулся через некоторое время с нарядной бутылкой.— Мартини.

Неплох же тот бар, в котором дают мартини, подумал я.

— Меня зовут Раймонд,— сказал он.

Его рука скользнула в карман пиджака, и я тут же получил визитную карточку. Пижон, снова подумал я.

— Что ж, за знакомство? — Он поднял бокал и выпил его одним махом, вовсе не по-джентльменски.

Я выпил тоже, и у нас потекла малозначащая беседа о погоде, рижских барах и концертах в Домском соборе. Внезапно он нагнулся ко мне и спросил заговорщицки:

— Скажите, у вас есть сокровенное?

Я опешил. Мы еще не так много выпили, чтобы переходить к задушевым беседам.

— Что вы имеете в виду? — спросил я.

— Черт возьми,— пробормотал он,— разве я неясно выразился?

Меня спас метрдотель. Он подошел мягко и, учтиво наклонившись, что-то сказал моему новому знакомому. Тот перестал курить, аккуратно обрезал сигару и спрятал ее в алюминиевый футляр.

— Я имею, надо поспешать...— сказал он вдруг коверканным языком и встал.— Я полагаю... Мы будем встречаться.— Он приподнял шляпу и быстро ушел.

Метрдотель задержался у столика, с интересом разглядывая едва начатую бутылку.

— С собой принесли? — Он что-то еще хотел спросить, но не решился и отошел.

Я остался сидеть за столиком. Странный субъект. Вечный студент или скучающий сынок преуспевающих родителей. Я вынул визитную карточку и посмотрел. На ней было напечатано четким шрифтом: «Раймонд Грот. Физик. Лауреат Нобелевской премии».

В Риге я всегда останавливался у Иманта Валтерса в уютном доме на улице Эрглю. Я и в этот раз остановился у Иманта. Только хозяина не было, а ключи я получил еще в Москве, отдав свои Иманту. Мы поменялись жилищами на некоторое время. У Иманта был срочный вызов в Москву, меня же потянуло в Ригу, которую я любил в сумрачное время осенних дождей.

Вернувшись домой, я поставил бутылку мартини на полку, где уже красовались десятки таких же бутылок. Я лежал на диване, слушал музыку и обдумывал сюжет новой повести, которую хотел написать в Риге.

Я прислонил к ножке настольной лампы маленький женский портрет и долго смотрел на него, думая, что давно уж не вынимал его из бумажника, а раньше ведь часто смотрел на этот портрет, и порой мне казалось, будто и он глядит на меня, печалась, что не может ожить и сказать мне хотя бы слово.

Не выходил из головы этот «лауреат». В том что визитная карточка всего лишь розыгрыш, я не сомневался нисколько. Но все крутился в сознании вопрос: «У вас есть сокровенное?» Да, видно, не прост этот юноша в стетсоновской шляпе.

Я повертел визитную карточку. Карточка типографская. А то ведь бывают и самодельные. В самодельной карточке можно назвать себя хоть принцем Уэльским. Похоже, у моего знакомого есть доступ в типографию.

Я выпил чаю, поставил на стол машинку и заправил бумажный лист. Сегодня я собирался начать повесть, которую обещал для журнала.

Раздался телефонный звонок. Это был Имант. Он спросил, как я устроился, и рассказал про заседание в институте. Имант как раз

был физик, молодой, но уже маститый. В прошлом году я видел, как к нему подходили почтенные ученые и пожимали с уважением руку.

— Послушай, Имант,— сказал я,— ты скоро станешь лауреатом Нобелевской премии?

Он засмеялся.

— Стараюсь, старина, стараюсь.

— Пока ты стараешься, с одним я уже познакомился. Читайте тебе визитную карточку: «Раймонд Грот. Физик. Лауреат Нобелевской премии».

Молчанье.

— Как ты сказал, Грот?

— Раймонд Грот. Подошел ко мне сегодня на улице. Молодой человек в стетсоновской шляпе.

— А карточка-то настоящая?

— Вполне!

Имант засмеялся.

— Тебя разыграли. Я знаю всех лауреатов. А в Риге, кстати, нет ни одного, тем более юноши в стетсоновской шляпе.

Мы поговорили еще немного. Имант сказал, что в Москве идет дождь. Дождь шел и в Риге. Я посмотрел в окно и увидел, как под фонарем колеблется призрачная пелена. Какой-то человек стоял, развернув газету. Неужто читает под дождем? Да, он читал, а потом прикрыл ею голову, засунул в карманы руки и принялся смотреть в чье-то окно.

Я сел за машинку и печатал до полуночи.

И снова я брожу вокруг дома номер семнадцать. Сегодня в городе нет дождя, он стоит торжественный, строгий, озабоченный по временам желтым солнцем, и тогда в небе меж серых волокон проступает влажная голубизна.

Я дождался начала службы в соборе Марии Магдалины, занял место в углу и смотрел, как собираются пожилые люди с небольшими молитвенниками в руках. Среди них я увидел того старика, который прошел вчера по улице Вестурс и смерил меня недовольным взглядом. Кажется, и старик заметил меня. Он сразу понял, что я появился в соборе всего лишь из любопытства, но сегодня не было возмущения на его лице. Он только скользнул по мне взглядом и углубился в молитвенник.

Я послушал пение в соборе и снова вернулся к дому семнадцать. Уже понемногу темнело. За дальними крышами обозначился померанец заката. Я вдруг увидел, что пустое окно особняка слегка осветилось. Это был слабый свет. Быть может, зажгли фонарик, а, скорее, свечу, в окне чувствовалось неясное трепетание.

Внезапное волнение охватило меня. Что за свет в необитаемом доме? Он так таинственно исходит из глубины, он словно зовет войти.

Какая-то женщина с сумкой спешила по улице.

— Простите,— обратился я к ней,— вы живете на улице Вестурес?

— Да.— Она остановилась.— А что вам нужно?

— Вы не знаете, кто живет в этом доме?

Она посмотрела на дом.

— В этом доме никто не живет. Раньше жили, а теперь никто не живет. Его отремонтировали, а зачем, не знаю. Мы спрашивали, но никто не знает, кому отдадут этот дом.

— А в окне-то горит свеча,— сказал я.

— Да? — Она взглядела в окно.— Кто-то забрался. Быть может, это старый пьяница Силис. Его домой не пускают, вчера ночевал в гараже у соседей, испортил замок. Вы посмотрите, если уж вам любопытно.

Она ушла, оставив меня в раздумье. Что, если и вправду наведаваться в дом? Я перешел на противоположную сторону улицы и попытался заглянуть в окно. Но улица была слишком узка, а окно достаточно высоко над тротуаром.

Все больше темнело. Зажглись фонари, и вновь заморосил легкий дождь. Почему я, собственно, должен идти в этот дом? Какое мне до него дело? Ответов на эти вопросы не было, тем не менее я поднялся по крутым ступеням и постучал.

Никакого ответа. Ах да, вот же рядом кнопка звонка. Я нажал на кнопку, приготовив целый набор объяснений: «Не живет ли здесь такой-то. Тут ли предлагали обмен. Как пройти в такое-то место». В конце концов я мог просто сказать, что меня интересует архитектура, и я хотел бы осмотреть отреставрированный особняк.

Ответа не было. Никто не открыл мне дверь, за ней не слышалось ни единого шороха, да, признаться, и звонка я не различил. Звонок, скорее всего, не работал.

Что ж, придется уйти ни с чем. Я повернулся и поскользнулся на мокрой ступеньке. Меня шатнуло назад, я ударился локтем в дверь, и, к моему удивлению, она легко отворилась. Дверь была просто открыта!

Что же, надо войти. В полусумраке обозначилась лестница, поднимавшаяся вверх, дверь налево и дверь направо. Небольшая прихожая освещалась окошком с верхней площадки, за этим окошком горел фонарь.

Я покашлял. Сделал два осторожных шага.

— Тут кто-нибудь есть?

Молчанье.

Я пошел наугад к правой двери и постучал в нее. Дверь была тоже открыта.

— Здесь нет никого!

Я разглядел небольшую комнату. И кажется, тут есть обстановка. Во всяком случае, я различил низкий столик и кресла. Пустая комната. Странный, однако, дом. Никто не живет, а в комнате мебель. Двери не закрыты, а где-то горит свеча. Свеча! Должно быть, она горит в комнате напротив.

Я постучал в другую комнату. Опять без ответа. Нажал на ручку, дверь открылась. Да, в комнате было светлее. Я сразу увидел свечу. Она горела в углу перед кроватью, а на кровати кто-то лежал.

— Извините,— пробормотал я и хотел затворить дверь, но меня остановил тихий прерывистый голос.

— Куда же вы? Стойте.

Я замер в дверном проеме. Фигура приподнялась на кровати, и я увидел, что это женщина.

— Раз уж пришли, так войдите,— сказала она.— Как видите, я держу дверь незапертой.

— Извините,— снова сказал я,— вероятно, я ошибся домом.

— Ошиблись? — Она откинулась на подушку.— Сегодня мне нездоровится, жар. Я не знаю, что делать.

— Вы заболели? — спросил я.

— Представьте. Ехала ночь в холодном вагоне. Меня уже там была дрожь.

— Вы только что приехали в Ригу?

— Вчера. Как вы узнали и как вы нашли меня здесь? Я вас увидела в окно и весьма подивилась. Но это хорошо, что вы здесь. Как видите, я заболела, совсем одна. А мне нужна помощь.

— С удовольствием вам помогу,— сказал я.

— Идите сюда, идите,— пробормотала она.

Я неуверенно подошел.

— Сядьте.

Я присел у кровати.

— Как полагаете, у меня сильный жар?

Я положил ладонь на ее горячий лоб.

— У вас большая температура. Тут есть лекарство?

— Дайте я посмотрю на вас.— Она приподнялась.— Я никогда ведь не видела вас так близко.

Ее щеки были покрыты темным румянцем. Рассыпанный ворох волос и лихорадочное мерцание глаз. Она тяжело и прерывисто дышала.

— Как вы нашли меня, говорите. Мне интересно знать. Если б

не жар и не эта встреча, никогда бы не осмелилась спрашивать вас.

— Как я нашел? Случайно. По улице брел...

— А в Ригу приехали тоже случайно? — Глаза ее блеснули.

— В Ригу, конечно, приехал с определенной целью.

— А! — Она вновь откинулась на подушку. — Дальше не стану расспрашивать. Мне и так довольно.

— Вам надо принять аспирин, — сказал я. — Есть у вас аспирин?

— Что? Не понимаю... У меня сумбур в голове.

— Давайте вызовем врача.

Она приподнялась с испуганным видом.

— Какого врача? Ни в коем случае. Я умоляю вас, никому ни слова. Ведь я приехала тайно!

— Но какое дело врачу до тайны? Он придет и уйдет.

— Замолчите! — сказала она.

— Тогда я схожу в аптеку.

— Нет! — Она схватила меня за руку. — Не оставляйте меня. Мне тяжело и страшно. Смотрите, смотрите, в углу! Они там прячутся, поглядите!

— Там никого нет, — сказал я, — у вас жар, ложитесь.

Она покорно легла.

— Я приехала тайно, — сказала она. — Томасу надо бежать. Но я не могу подняться. Как же сказать Томасу? На первый же пароход. Улица Трошню, с башенкой дом. Передайте ему... — Кажется, она бредила.

Я решил сбежать в аптеку. Дежурная аптека оказалась не близко. Когда я вернулся, она сидела, спустив ноги с кровати, и напряженно вглядывалась в окно. Свеча догорала.

— Где вы были? — сказала она. — Мне кажется, за окном кто-то есть. Они следят.

Я посмотрел в окно, на мокрой улице никого не было.

— Выпейте аспирин.

— Что это такое?

— Лекарство.

Я заставил ее выпить четыре таблетки и укрыл одеялом до подбородка.

— Они следят, — бормотала она, — я знаю. А Томасу надо бежать. Завтра же. Улица Трошню, четыре. В вагоне нетоплено, бррр... Я вся продрогла. Вы ехали в том же поезде, знаю. Не обольщайтесь. Вы ехали по делам. Как это у вас там написано... Я продрогла...

Я смотрел на руку, брошенную поверх одеяла. Мне стало казаться, что эту руку я видел когда-то. Лежащей вот так же на мягкой ткани. Я помнил «позу» этой руки, созданную расположением пальцев, и сами пальцы, запястье. Рука для меня много значит.

Мне кажется, что она говорит о человеке не меньше, чем, например, глаза.

Свеча догорала, я смотрел и смотрел. Где же я видел ее, эту руку? Я взял оплывший столбик свечи и поднес к лицу незнакомки. Она спала, слегка приоткрыв губы, распавшаяся прядь накрыла щеку.

Я взгляделся. И в одно мгновение лоб мой покрылся испариной. Я вскочил с бьющимся сердцем, свеча полетела на пол. Это была она, без сомнения, она. Речь шла не о простом сходстве. Мгновенным озарением я понял, что вижу перед собой ее. Девушку с моего портрета.

Давно я носил этот портрет в бумажнике. Как-то мне попалась подшивка старого журнала. Там было много интересного. На одном развороте красовались репродукции с выставки художников. Меня сразу привлек этот портрет. Несмотря на черно-белые тона, была в нем необычайная живость. Девушка сидела вполоборота, положив руку на гнутую спинку кресла. Бывают неповторимые лица, на которые хочется долго смотреть, и в этом лице есть нечто знакомое, только нужно напрячься и вспомнить, где ты его видел и почему оно до конца не забыто. Незнакомка глядела на меня темным взором, в глазах угадывалась затаенная печаль, и вопрос был готов сорваться с губ, во всяком случае, они уже слегка приоткрылись. Мне казалось, что она смотрит на меня и только меня хочет спросить: «Кто вы? Когда мы увидимся с вами?»

Разворот был искромсан ножницами, подпись не уцелела, ее срезали вместе с другой репродукцией. Я не знал ни художника, ни названия работы. Я наклеил портрет на картон и положил в бумажник. Иногда доставал его и смотрел, показывал друзьям, а на вопросы отвечал туманно. Я создал себе небольшую иллюзию, но теперь жизнь вносила поправку. Я встретил ее. Простое сходство? Но я узнал эту руку и увидел лицо в том ракурсе, как написано оно на портрете. Это было одно и то же лицо. В моей жизни произошло невероятное. Это было тем более невероятно, что журнал, откуда я вырезал репродукцию, совсем пожелтел от старости. Он выходил еще в прошлом веке.

Ночь я провел в квартире Иманта, а утром снова отправился на улицу Вестурес. Я плохо спал и чувствовал лихорадочное возбуждение. Мне не терпелось увидеть мою незнакомку.

Но на ступеньках дома я увидел слесаря, разложившего инструменты. Дверь была распахнута настежь. Я зашел со слесарем окольный разговор, но он говорил только о кранах.

— Краны текут. Только дом сдали,

— Кому сдали?

— Управлению. А вам что нужно?

— Посмотреть бы дом. Я интересуюсь архитектурой.

— Смотрите,— сказал слесарь.— Только наверху двери заперты, ключей у меня нет.

С волнением вошел я в комнату и застыл от удивления. Комната была совершенно пуста. Ни столика, ни кровати, ни тумбочки, которая стояла в углу.

Я попытался что-то узнать у слесаря. Но он твердил, что пришел час назад, а ключ взял у мастера. Никто не жил в доме после ремонта, мебель не привозили.

— Краны текут,— говорил он.— Совсем новые!

— Вчера я видел в окошке свет.

— Кто его знает,— ответил слесарь,— за этим домом я не приставлен.

Я походил вокруг особняка и не придумал ничего лучше, как отправиться на улицу Трошню.

У дома номер четыре дворничиха мела тротуар. Дом совсем небольшой, в два этажа. Я вошел в подъезд, поднялся по деревянной лестнице и выяснил, что здесь всего пять квартир, в основном коммунальных, на некоторых дверях были таблички с фамилиями жильцов.

Я вышел из подъезда и обратился к дворничихе.

— Скажите, в этом доме живет какой-нибудь Томас?

— А вам что? — Она перестала мести.

— Мне нужен человек с именем Томас, но фамилии я не знаю. Меня его знакомая просила найти.

— Какой из себя?

— Ну так...— Я сделал несколько неопределенных жестов, обрисовывающих фигуру.

— Пусть сама ищет,— сурово сказала дворничиха.— Знакомая, а фамилии не знает.

— Ну, извините.— Я повернулся, чтобы уйти.

— Тут два Томаса,— смягчилась дворничиха.— Мальчишка, в седьмой класс ходит, и Томас Карлович из пятой квартиры.

— Спасибо. Мне нужен Томас Карлович.— Я направился к дверям.

— С этой стороны не войдете! — крикнула она.— Со двора нужно!

Я обошел дом и оказался в типичном дворике старого города.

Он упирался в полуразрушенную каменную стену и отделялся от другого двора приземистым флигелем. На этом флигеле и красовалась табличка «Квартира № 5».

Я позвонил. Дверь открыла пожилая седовласая женщина и что-то спросила по-латышски.

— Нельзя ли видеть Томаса Карловича? — сказал я.

Она покачала головой.

— Нет дома?

Она кивнула.

Я извинился, вышел на улицу и остановился в задумчивости посреди мостовой. Куда подевалась моя незнакомка? Где мне теперь ее отыскать? Я вытащил портрет из бумажника, быть может, он мне подскажет, что делать.

Вдруг над моим ухом раздался голос:

— Вы искали Томаса Карловича?

Я поднял голову. Рыхлый человек с оплывшим лицом и водянисто-голубыми глазами напряженно смотрел на меня.

— Да, я искал Томаса Карловича.

— Это я. Чем могу служить? — спросил рыхлый.

— Извините, быть может, это всего лишь ошибка. Я хотел через вас разыскать одну знакомую.

— Какую знакомую? — Его глаза стрельнули по сторонам.

— Она приехала вчера и должна была к вам зайти.

— Откуда приехала? Здесь говорить неудобно. Пойдемте где-нибудь сядем.

Мы шли молча по улочкам, а в небольшом скверике присели на лавку.

— Какая знакомая? — еще раз спросил он. — Ко мне никто не заходил.

— В таком случае, это, вероятно, ошибка, — сказал я.

— Ну-ну, так уж и ошибка. Что она говорила? Зачем ей ко мне заходить?

Сказать или не сказать, думал я. Скорее всего, это вовсе не тот Томас.

— Вы живете в доме номер четыре по улице Трошню? — спросил я.

— Совершенно верно.

— Скажите, в вашем доме есть еще какой-нибудь Томас? Простите за такие вопросы, но я знаю всего лишь, что она хотела увидеться с Томасом из дома номер четыре.

— У нас есть Томас, мальчишка.

— Тогда, вероятно, мои сведения относятся к вам.

— Какие сведения? — Он явно нервничал. — Да говорите, какие сведения?

— Она приехала в Ригу тайно и хотела увидеть вас. Она считает, что вам угрожает опасность.

Он побледнел.

— Опасность? А как ее звали?

— Не знаю... То есть, видите ли, не стоит мне говорить это имя.

— Понимаю...— пробормотал он.— А что говорила, какая опасность?

— К сожалению, я не в курсе. Мы с нею знакомы случайно.

— Так, так...— бормотал он, и вид у него был совершенно ошеломленный.

— Она считала, что вам нужно уехать первым же пароходом.

— Пароходом? — Он вскочил.— Каким пароходом?

— Ну, может быть, самолетом. У нее был жар, она могла перепутать.

— Так, так...— Руки у него тряслись.— А когда это было? Когда она вам сказала?

— Вчера вечером.

— Вечером... так.. А сегодня... Какое число?

Я назвал число.

— А не поздно?

— Что не поздно?

— Ну, самолетом? — Он был совершенно растерян.

— Извините, но я ничего не знаю, кроме того, что вам сказал.

Некоторое время он сидел понурившись, потом вскочил, пожал мою руку.

— Спасибо... мне надо скорей. Быть может, успею.

И он ушел, оставив в моей ладони неприятное ощущение своей вялой мокрой руки.

Я обедал в кафе на Домской площади. Здесь я встретил знакомого. В сущности, это был знакомый Иманта, тоже физик, они работали вместе.

Мы разговорились и решили выпить бутылку вина. Внезапно к столику подошел не кто иной, как самозванный лауреат Нобелевской премии.

— Я вас приветствую! — Он приподнял неизменную шляпу.

— Здравствуйте,— хмуро ответил я.

— Пожалуй, я выпью с вами кофе,— сказал он.— Не против?

— Отчего же,— ответил я.

Он, вероятно, никогда не снимал свою шляпу. Даже здесь, сев за столик, он только слегка поправил ее края.

Знакомый Иманта стал рассказывать о случае с шаровой молнией, произошедшем недавно в рыбацьем поселке недалеко от Риги. Шаровая молния появилась со стороны моря и долго блуждала среди домов, приводя в ужас жителей. Она влетела в раскрытое окно одного особняка, коснулась онемевшего хозяина и медленно уплыла, не причинив особого вреда. Правда, потом рыбак обнаружил, что с

груди у него исчезла серебряная цепочка с крестиком, а из кармана важная телеграмма. Телеграмму эту обнаружили потом совершенно целой в скворешнике, висящем неподалеку от дома.

— Фокусы! — восклицал знакомый. Он занимался плазмой и был увлечен своей работой.— Загадка природы!

— Невелика загадка,— буркнул внезапно Раймонд Грот.

— Вы полагаете? — сказал знакомый.— А мы вот у нас в институте бьемся с этой треклятой молнией...

— Раймонд ведь тоже физик,— сказал я насмешливо.

— Чем вы занимаетесь? — спросил знакомый.

— Я только учусь,— ответил Грот.— А вообще-то меня интересует комбинация времен.

— Что вы имеете в виду?

— Мы делаем коктейли. Ну, как вам сказать... Чутьочку одного времени, чутьочку другого, новые модуляции. Скажем, девятнадцатый век с примесью шестнадцатого и третьего до новой эры. Или двадцатый с добавлением одиннадцатого.

— Это что же, в театре или кино? — спросил знакомый.

— Да нет, прямо в жизни.

— Ну-ну.— Знакомый посмотрел на меня вопросительно. Я подмигнул.— А что у вас за организация?

— Как вам сказать... Учебное заведение.

— У вас хорошая типография,— заметил я.

— Что? — спросил Раймонд Грот.

— Визитная карточка выполнена отлично.

— Ах, это? — Раймонд полез в карман.— Позвольте и вам предложить.— Он протянул визитную карточку моему знакомому.

Тот прочитал ее с интересом.

— Хотел бы я иметь такую визитную карточку. А вы не боитесь ее дарить?

— А что? — спросил Раймонд Грот недоуменно.

— Попадется какой-нибудь, знаете... Будет выяснять. Вдруг существует постановление по части визитных карточек, и на них следует печатать то, что соответствует истине.

— Но это примерно и соответствует,— сказал Раймонд.— Мы искали что-либо подходящее и остановились на формулировке «лауреат Нобелевской премии».

— Завидую.— Знакомый вздохнул и начал откланиваться.

Пока Раймонд что-то разглядывал на дне кофейной чашечки, знакомый кивнул в его сторону и постучал пальцем по лбу. Я неопределенно пожал плечами.

— Кстати,— сказал Раймонд,— я дам вам маленький совет по части шаровых молний.

— Слушаю.— Знакомый остановился.

— Представьте, что это мини-планкеон, и поищите в этом направлении.

— Хорошо.— Знакомый улыбнулся. Он пошел к двери, но вдруг остановился как вкопанный. Еще через мгновение он вновь стоял перед нами.— Вы сказали, планкеон?

— Да, крошечный.— Раймонд Грот сложил пальцы в щепотку.

— Так.— Знакомый постоял и ушел с несколько ошеломленным видом.

Этот парень обладает способностью удивлять людей, подумал я. Нет, видно, он не просто шутник.

— Как проводите время? — спросил Раймонд Грот.

— В умеренных хлопотах.

— Побывали в том доме?

— Каким?

— На улице Вестурес.— Он приблизил лицо, как в тот момент, когда спрашивал о сокровенном.— Дом работает только вечером.

— Что?

— Я говорю, он работает вечером, а днем закрыто.

— По-моему, он всегда закрыт. В доме нет никого.

— Уж я-то знаю! И потом, даю вам совет, не впутывайте в это дело других людей.

— Какое еще дело, черт побери! — сказал я, раздраженный его развязным тоном.

— А то все испортите,— добавил он.

— Вы что-нибудь знаете о доме номер семнадцать? — спросил я.

— Еще бы не знать! Это мой курсовой отчет.

— Вы занимались реставрацией?

— Да,— сказал он,— в некотором роде.

— Однако ж вы называетесь физиком.

— Все вокруг нас физика,— сказал он с бесшабашным видом.

— Я, смотрю, вы философ.

— Да-да, вы правы. Философия моя слабость. В конце концов смешение времен — эксперимент не столько физический, сколько философский. Задача достижения Единого Времени вполне корректна с физической точки зрения, но вот нравственный аспект остается спорным. Чего мы достигнем? И нужно ли это в конце концов? Я даже скажу вам, задача моего опыта куда более локальная. Я хочу извлечь побочный эффект, понимаете? Побочный эффект! Они ждут от меня рядовых выводов, на вас глядят, как на подопытного кролика, а я им выложу побочный эффект! И не кто иной, как вы его произведете.

— Благодарю за доверие,— сказал я.

— Да вы всегда мне нравились,— небрежно сказал он.

— Всегда?

— А как вы думали? Слежу за вами несколько лет. Знаю все до единой строчки. У вас опубликовано тридцать четыре рассказа, две повести и восемнадцать статей. В основном ерунда, конечно. Старина, не сердитесь. Но есть три строчки, которые меня обнадежили. Я имею в виду миниатюру «Первый снег», как она напечатана в сборнике «Осень», строки одиннадцать, двенадцать, тринадцать.

На этот раз пришла пора изумиться мне.

— Я им говорю, посмотрите на эти три строчки. Разве за них нельзя зацепиться? Ведь там единственная в своем роде метафора «перевернутая», как мы ее называем. Старик не такой уж болван. Это я о вас, извините. Но у нас в скolariуме такая манера выражаться. Ваш предшественник, живший веком раньше, конечно, был посильнее. Он чепухи не писал и уж, во всяком случае, враньем не занимался. Да-да, старина, есть у вас не вполне искренние статейки. Но я вас ничуть не виню, просто время другое. Ну, они говорят, бери своего парня, ставь эксперимент, а на большее он непригоден. Вот это посмотрим. Я на вас надеюсь, старик. Эксперимент экспериментом, сколько уж тысяч поставлено, но я надеюсь извлечь побочный эффект. Только не путайте в опыт других людей. Ну зачем, например, вы поперлись на улицу Трошню к этому вору и жулику?

Я молчал.

— По-вашему, первый Томас и есть тот самый, которого надо спасать? По этому давно камера плачет, а нужный вам Томас живет минус сто лет отсюда, человек благородный, приличный, и уж не вам заниматься его спасением. Мой друг, Единое Время еще не объявлено, так что живите в своем двадцатом.

Я уже устал слушать, а он все говорил, попыхивая сигарой.

— Мой принцип — ничего не скрывать. Я не строю из себя таинственного кудесника, я всего лишь студент, у меня курсовая работа, и я хочу ее выполнить хорошо. Конечно, вы вправе спросить, какая вам выгода от моего эксперимента? Я бы мог ответить, что дарю несравненные моменты сближения с мечтой, это я о портрете, как понимаете...

— Каком портрете? — перебил я его.

— Ну, этом самом, который у вас в бумажнике. Но, по мне, не в лирике дело. Вы произведете побочный эффект и, бьюсь об заклад, останетесь в выигрыше.

— Кто вы такой? — спросил я. — Откуда вы знаете о портрете?

— Я? — Он изумился. — Хорошенький вопрос. Что за психология в ваши времена! Чуть не так, сразу «кто вы такой». Что же, вам не понятно?

— Нет, не понятно. Кто вам рассказал, что я ношу с собой портрет?

— Кто? Старина, да мы это в первых классах проходим. Ну, не

скажу, что случай с вашим портретом слишком известен, но в одной хрестоматии есть на него ссылка. Живет человек, таскает с собой портрет. Мало ему красивых девушек рядом, подавай несуществующую или, вернее, существовавшую совсем в другое время. Все это лирика, старина, и, поверьте мне на слово, чушь собачья. Вы бы посмотрели вокруг себя, ей-богу найдется персона не хуже. Вот закончим эксперимент, и принимайтесь за дело. Сколько вас таких бродит по свету, таская в карманах портреты и не замечая реальных лиц. Вам-то еще повезло, вы с ней столкнулись. И благодарите за это меня. Я вам устрою маленькое развенчание иллюзий, а заодно напишу отчет. Мы сделаем дельце! Но главное — побочный эффект. Я им преподнесу сюрприз на экзамене...

Он говорил и говорил, а у меня страшно ломило виски.

— Суть в том, что вам никто не поверит. Понимаете, старина! Если начнете путать других. Вас сочтут просто за сумасшедшего. Да и сами вы через некоторое время решите, что стали жертвой легкого помешательства. А потом все пройдет. Главное, излечить побочный эффект. Только не путайте посторонних. Это принесет вам несчастье. Вас просто отправят в сумасшедший дом. У меня сегодня настроение, поэтому я разболтался. Скучновато у вас тут, но командировка скоро кончается.

— Почему вы никогда не снимаете шляпу? — внезапно спросил я.

— Законный вопрос. Понимаете, я не могу ее снять. Приподнять еще в силах, а вот снять ни в какую. Наши оболтусы бутафоры опять намудрили. Черт знает как слепили меня! Что шляпа! Я бы вам показал, что они натворили, да уж не буду расстраивать. Впрочем, другого я и не ждал. Кто я такой? Обыкновенный ученик скола-риума, третий курс. В прошлом году я работал на практике в пятнадцатом веке, так, верите ли, вместо кожи они мне сделали панцирь, ну правда только напротив сердца. Согласитесь, ходить с железной блямбой вместо обыкновенного мускула не совсем приятно. Все должно быть по-человечески.

— Где вы так научились болтать? — спросил я.

— Это уж мелочи, — ответил он. — Между прочим, у вас странное недоверие к моей визитной карточке, но поверьте, любого нобелевского лауреата ваших времен я легко засуну за пояс, точно так же, как вы обскочите самого выдающегося борзописца каменного века.

— Но тогда и писать не умели.

— Вот-вот! В каменном веке вы спокойно можете отпечатать карточку с надписью «академик».

На этом он прекратил свои излияния и протерся.

— До встречи, мой друг, до встречи! — Он вскочил и вприпрыжку покинул кафе.

...Я курил на бульваре и думал. Давно я бросил курить, но сегодня закурил снова. Толку от мыслей не было никакого. Что же я мог понять? Я не понимал ничего. Без сомнения, Раймонд Грот не был простым сумасшедшим. То, что произошло накануне в доме номер семнадцать, вероятно, имело к нему прямое отношение. Если все это поставленный спектакль, то зачем он нужен? И кто режиссер? Неужто этот странный юнец?

Я решил позвонить Иманту и пошел на улицу Эрглю. Не успел открыть дверь, как услышал телефонный зуммер. Это был знакомый Иманта.

— Послушайте,— сказал он,— кто этот тип?

— Хотел бы и сам знать,— ответил я.

— Насчет шаровой молнии он подбросил самую настоящую идею. Она, впрочем, давно носится в воздухе. Я сам к ней подбирался, он же выразил ее в одном слове.

— Ничуть не удивлен,— сказал я.

— Вы можете меня с ним свести?

— Постараюсь,— ответил я.

Я лег на диван и хотел подремать, но сна не было ни в одном глазу. Я набрал московский номер.

— Имант?

— Привет! — крикнул он.— Ты поймал меня в дверях. Иду в театр.

— Когда ты собираешься вернуться в Ригу?

— Через неделю, как говорил.

— Ты очень мне нужен, Имант.

— Я тебя слушаю, старина.

И этот говорит «старина», подумал я.

— У тебя не выпадает свободного дня?

— Суббота.

— Мне очень важно, чтобы ты приехал на этот день.

Молчание.

— Важно?

— Исключительно важно, Имант.

— А что случилось?

— Это невозможно рассказать, тем более по телефону. У меня голова кругом идет. Боюсь, что попал в переделку.

— В таком случае я выеду сегодня же, а завтрашнюю встречу перенесу на субботу.

— Я был бы тебе благодарен, Имант.

— Что ж, иду собираться. Жди меня утром.

— Спасибо, Имант.

Я положил трубку, но через мгновение телефон дал несколько коротких гудков.

— Алё?

— Послушайте, старина,— вкрадчивый голос Раймонда Грота, я сразу его узнал,— ведь мы же договорились не путать других. Какого черта вы всем названиваете!

Холодок пробежал по моей спине. Ведь я не давал ему телефона!

— Что вам нужно? — спросил я.

— Соблюдайте договор, старина. Кончится эксперимент, можете звонить налево-направо. Имант ваш не придет, уж я позабочусь об этом. Во всяком случае, до конца нашего опыта.

— Идите вы к черту! — Я бросил трубку.

Так! Значит, телефон прослушивается. Кто же такой этот Раймонд? Я вышел на улицу и, кружа по улочкам, добрался до вокзала. Здесь я вошел в стеклянную будку и снова набрал московский номер.

— Это вновь я, Имант.

— Да, слушаю.

— Каким поездом ты собираешься ехать?

— Тройкой. На первый уже опоздал.

— Я встречу тебя на вокзале в начале перрона.

— Прекрасно. А что все-таки произошло?

— Сам не могу понять.

— Я беспокоюсь! У себя голос совсем изменился!

— Приезжай, Имант.

— Уже в дверях. До встречи.

— Будь осторожнее, Имант.

— В каком смысле?

— Ну так, вообще...

— Хорошо, хорошо. Привет...

Стемнело, и я отправился на улицу Вестурес. Я долго ходил под окнами, пока не увидел наконец, что в одном из них затеплилась свеча. Поднялся по ступенькам и толкнул дверь. Она открылась.

Вот и другая дверь, тоже не заперта. Еще мгновение, и я оказываюсь в комнате, освещенной свечой.

Она читала.

Едва я вошел, она захлопнула книгу и посмотрела на меня с улыбкой.

— Сегодня мне лучше, помогли ваши пилюли.

Я сел возле кровати.

— И какая у нас получилась странная встреча,— сказала она.

— Да уж...— промямлил я.

— Так зачем вы пожаловали в Ригу?

— Отдохнуть. Но, может быть, и поработать немного.

— Вы пишете что-нибудь новое?

— Хочу написать.

— Что ж, пишете вы хорошо. Смело, полезно. Наверное, у вас неприятности. Помните тот номер журнала, где в вашем рассказе была пустая страница с надписью поперек «изъято цензурой». Я промолчал.

— Мы говорили о вас на курсах, у вас есть поклонницы. Приятно, наверное, иметь поклонниц? Так о чем вы хотите теперь написать?

— Пока размышляю.

— Вот если б я вам рассказала дело Томаса! Но об этом никак не напишешь. У них кружок, с убеждениями. Но я случайно узнала, что Томасу грозит опасность. Совершенно случайно, и в тот же вечер отправилась в Ригу. Понимаете, у одной из моих подруг есть поклонник, человек оттуда. Он проговорился, Томаса хотят арестовать. Я села на поезд и оказалась в Риге. Почему я открыто вам говорю? Да просто уверена, что вы вполне разделяете наши взгляды. Вчера у меня даже мысль мелькнула обратиться к вам за помощью. Ведь я совсем не могла стоять на ногах, а Томаса надо было предупредить. Но слава богу, я собралась с силами и все сумела сделать сама.

— Вы выходили из дома?

— Да, ночью. В каком-то бреду. Но Томаса я нашла, и он уехал утром.

Я смотрел и смотрел на ее лицо. Как она молода! Ей, конечно, нет двадцати. На портрете она выглядит старше. Впрочем, быть может, он сделан значительно позже, этот портрет.

— У вас есть знакомые художники? — спросил я.

— Конечно! Разве не помните, что последний раз мы встретились с вами на выставке. И тот длинноволосый в косоворотке, с которым я говорила, как раз художник, на выставке были его работы.

— А он не собирается писать ваш портрет?

Она засмеялась.

— Почему вы решили? Он пейзажист. Но и среди портретистов есть у меня знакомцы.

— А между прочим, я знаю, что портрет ваш уже написан, — сказал я внезапно.

— Вот как? Конечно, вы шутите. Кем же написан портрет?

— Догадайтесь.

— У меня есть рисунок в профиль. Но это набросок, никак не портрет. Я никому не позировала, уверяю вас.

— Но можно писать по памяти.

— Это, наверное, трудно. А кроме того, чтобы писать человека

по памяти, нужно, по-моему... ну в первую очередь, чтобы появилось такое желание. Это влюбленные пишут, а нынче любовь не в моде.

— И тем не менее такой человек нашелся.

— Так кто же он и где посмотреть портрет?

— Я вам могу показать репродукцию.

— Репродукцию? — Удивление на ее лице.

— Портрет напечатан в журнале.

— В каком?

— К сожалению, этот номер изъят из продажи, вы не могли увидеть его. Но я успел вырезать репродукцию.

— И где же она? — В голосе недоверие и волнение одновременно.

— Смотрите.— Я положил перед ней портрет.

Она рассматривала его долго. Мне показалось даже, что лицо ее побледнело.

— Но что же это...— пробормотала она.— Не понимаю. Ведь я никогда...— Она метнула на меня быстрый взгляд.

Молчание. Дыхание ее участилось.

— Это вы? — спросила она.

— Что? — сказал я.

— Я знала, конечно, что вы рисуете к своим произведениям, даже в журналах видела... но... как же это?

Снова молчание.

— Вы никогда не бывали в моей комнате. А тут комната, и кресло мое... Не мое, вернее...

— В том-то и дело, что не ваше. Вы снимаете комнату.

— И что же?

— А до вас снимали другие.

— Уж не хотите ли вы сказать... господи... Вы знаете, мне всегда казалось... казалось...— Она запиналась от волнения.— С той минуты, когда увидела вас впервые, я подумала, это неспроста... и потом... Нет, правда, что-то такое меж нами... И даже встреча здесь, в Риге. Я совершенно не удивилась, только сердце чуть из груди не выпрыгнуло. Как в окно увидела...

Я обнял ее за плечи.

— Не волнуйтесь. Не нужно вам волноваться.

— Я... я просто так... Последнее время думала о вас каждый день. Разве могла я надеяться? Ведь мы даже не были знакомы. Случайные встречи, случайные взоры. Ваши рассказы, все до единой строчки, собраны у меня. Я как девочка. И вдруг такое... Неужто вы написали мой портрет?

От ее волос исходил сухой горьковатый запах. Это был запах осенних трав, а сейчас ведь и вправду была осень. Странная, непо-

ниятная осень, выпавшая из череды годов, преподнесшая мимолетный дар, навсегда смутившая мое сердце.

— Знаете, что мне кажется? — зашептала она. — Сейчас происходит что-то необычайное. Я не хочу возвращаться в Москву, я знаю, что это не повторится. Давайте убежим куда-нибудь вместе. Я чепуху говорю, не обращайтесь внимания. Но я так счастлива. У вас теплые руки. Почему вы странно одеты? Знаете, сколько я думала о вас? Я даже молилась. Я ставила свечку для нас с вами.

— Когда? — прошептал я.

— На рождество. Я ни о чем не просила, я только поставила свечку.

— Вы ходите в церковь?

— Нет, не хожу. Но тогда захотелось. Если бы друзья узнали, они бы меня засмеяли. Никто с наших курсов не ходит в церковь. Немного погодя.

— Неужто вы правда до меня снимали эту комнату?.. Нет, не отвечайте. Пусть это будет сон... Мне кажется, все это сон. Завтра проснусь и никогда больше вас не увижу. Или увижу такого, как раньше, проходящего мимо с вежливым вниманием во взоре. Нет, правда, я ничем не хочу вас связывать. Когда вернемся в Москву, вы можете вести себя как прежде. Не подходить ко мне и не здороваться даже. Все равно мы останемся вместе. Все равно наша связь нерасторжима, ведь правда? Как я хочу посмотреть свой портрет! Он очень хорош, даже на репродукции. Это такой подарок. Вам надо писать! У вас талант художника.

Мучительно болела голова. Я потер пальцами виски.

— Знаете, — сказала она, — у меня сумасшедшая мысль. Давайте поедем куда-нибудь вместе. У меня есть немного денег и еще несколько дней в запасе. Я предупредила на курсах.

— Куда же нам ехать? — спросил я.

— Да хоть бы недалеко. К морю. Впрочем, что я болтаю. У вас своя жизнь. Простите меня.

— Вы не представляете, с каким удовольствием уехал бы я сейчас с вами за тридцать земель. Да боюсь, не получится.

— Не получится, — согласилась она печально.

— И не от нас с вами это зависит.

— Да, да, конечно...

— Скажите, какое сегодня число?

Она сказала.

— А год?

Глянула с удивлением, но назвала и год. Я был готов ко всему, но по моей спине пробежал озноб. А не разыгрывают ли все же меня, мелькнула сумасшедшая мысль.

— Как вы очутились в этом доме? — спросил я.

— Очень просто. На вокзале спросила, где можно остановиться и чтоб недорого стоило. Мне указали на этот дом. Его держит какой-то Грот.

— Раймонд Грот?

— Да, Раймонд Грот, антиквар. Действительно, он сдает приезжим недорого.

— Вы видели этого Грота?

— Конечно. Он дал мне ключи, а сам бывает здесь редко.

— Как он выглядит?

— Обыкновенно. В пенсне, с золотыми зубами.

— Молодой человек?

— Что вы? Лысый, с брюшком.

— А не переехать ли вам в другой дом? — неожиданно предложил я. — Там, где я остановился, достаточно места. Я предоставлю вам комнату. Не нравится мне дом этого Грота.

— Мне тоже. Тоскливо и пусто. Не понимаю, почему он называет себя антикваром. Здесь нет ни одной антикварной вещи.

— Итак, решено. Долго ли вам собираться?

— Совсем недолго.

— Я выйду за дверь и подожду, пока вы оденетесь.

— Хорошо.

Я постоял в полутемной прихожей, а потом услышал слабый голос:

— Можно. Входите.

Я открыл дверь и застыл на пороге. В комнате никого не было. Она совершенно пуста, в ней негде прятаться, и все же я подошел к кровати, заглянул под нее.

— Где вы? — спросил я в недоумении.

«Внимание! — раздался металлический леденящий душу голос, он шел откуда-то с потолка. — Зона соединения времен ограничена стенами комнаты. Если бы вы вышли с партнершей на улицу, разные тайм-потенциалы уничтожили бы вас обоих. Поэтому объект общения удален из зоны вашего внимания. Говорил автомат контроля 13—16. Всего доброго».

Я вышел на улицу. В голове стоял туман, телом владела слабость. У костела Екаба меня поджидал Раймонд Грот.

— Послушайте, что за глупость, — сказал он. — Я недоволен. Куда вы потащили девушку? Хотите, чтоб у нее свихнулись мозги? Между прочим, за включение автомата контроля с меня снимут очки. Подводите, старина. Я думал, вы человек разумный.

— Вот что, экспериментатор, — сказал я, — прежде чем я поверю, что все это правда, представьте доказательства.

— Какие вам еще доказательства! — воскликнул он. — Я перед вами, и все тут.

— В таком случае сделайте мне одолжение.

— Слушаю, старина.

— Не разлучайте меня с этой девушкой.

Он присвистнул.

— Каким же образом! Переселить вас туда? Но это невозможно. Поверьте, старина, это совсем не в моих силах. Я ведь всего лишь студент. А кроме того, ваше место там занято. Не забывайте, у вас есть предшественник. Она влюблена в него, а не в вас. У меня тоже имеются предшественники в разных веках. Например, в семнадцатом. По этой причине командировка туда мне заказана. Я и не раусь. Мало ли времен на свете?

— Этот человек мне дорог, — сказал я.

— Ну и прекрасно! Носите портрет.

— Вам знакомы человеческие чувства?

— Вполне знакомы.

— Ну так сделайте что-нибудь!

— Я и так сделал для вас немало. По крайней мере, ничего не скрываю. Я говорю с вами на равных, старик, а мог бы обойтись как с подопытным кроликом.

— Вы и так обходитесь со мной, как с кроликом. И не только со мной.

— Ничего подобного! Я всегда придерживался того мнения, что все люди во все времена равны.

— Хорошо, — сказал я, — что же дальше?

— Завтра эксперимент кончается. Я рассчитываю на побочный эффект.

— К черту ваши эффекты. Я увижу ее?

— Завтра вечером. Только прошу вас быть осмотрительным. Вы же заметили, что автомат контроля следит. Положим, вы обведете меня, но автомат провести невозможно. И не дурите девушке голову, пожалейте ее.

— Что же я должен делать?

— Что угодно, только не раскрывать ваших карт.

— Зачем же вы мне их раскрыли?

— Старина, повторяю вам в сотый раз, я хочу быть на равных. А кроме того, рассчитываю на побочный эффект. На все эти психометрические замеры во время ваших бесед мне положительно наплевать. И так давно известно. Девятнадцатый не противопоставлен двадцатому. Мне нужно совсем другое.

— Вы так «откровенны» со мной, что об этом «другом», разумеется, не проговоритесь.

— Всему свое время! И это раскрою вам, старина. Потерпите,

— В таком случае, спокойной ночи.

— И вам спокойной.

— Постойте. Скажите, Раймонд Грот, в каком времени вы проживаете? И хорошо ли вам там? Будьте со мной на равных.

— Тсс! — Он приложил палец к губам. — Вот об этом ни слова. Закрытая информация. Тут я бессилён, старик.

— В таком случае пропадите вы пропадом, — сказал я.

Утром я отправился на вокзал встречать Иманта. Поезд не опоздал. Прошла вереница прохожих, но Иманта я не увидел. Что ж, ожидал подобного. Некоторое время я бродил по улочкам, а потом позвонил на Эрглю в надежде, что пропустил Иманта. Телефон молчал. Где же Имант? Если бы он не уехал вчера, то, без сомнения, позвонил бы мне из Москвы, после десяти я был дома.

Я все кружил и кружил по городу, а потом сел на электричку и уехал в Юрмалу. Тут я бродил по берегу моря, наблюдая крикливую суету чаек и вдыхая острый морской воздух. Пообедал в кафе и даже просидел два часа в кино. Мне нужно было скоротать время до вечера.

Наконец он пришел, и малиновое яблоко солнца увелось на белой глади залива. Я позвонил из автомата в Москву. Трубку снял Имант. Голос беспечный, веселый.

— Привет! Я звонил тебе вечером, не застал.

— Во сколько?

— Часов в семь.

В семь часов я разговаривал с Имантом из вокзального автомата.

— А не я ли тебе звонил?

— И ты мне звонил?

— У меня даже такое впечатление, что вчера мы с тобой говорили. Что ты собирался приехать в Ригу.

— В Ригу? Что ты имеешь в виду?

— Ты не помнишь, что мы с тобой говорили?

— Когда?

— Вчера вечером.

— Весь вечер я был в гостях, а звонил тебе перед выходом из дома в семь часов.

Имант не из тех, кто станет разыгрывать дурака. Значит, все так и было. Я звонил Иманту, просил приехать, он согласился, а на самом деле он вовсе не говорил со мной и приехать не обещал. Быль и небыль одновременно, Фокусы Раймонда Грота.

— Ладно, Имант, — сказал я устало, — приезжай побыстрее.

— У тебя голос странный. Что-то случилось?

— Все в порядке, — сказал я и повесил трубку.

У кого просить помощи? Да и в чем мне могли помочь, какая беда приключилась? Не было никакой беды. Напротив, интересное происшествие. Но я не верил до конца во все эти чудеса. Подозревал мистификацию, но не мог понять, с какой целью она устроена. С другой стороны, никаких сомнений не было в том, что в пустом доме на улице Вестурес я встретил ту, с которой писан портрет. Я вспоминал ее речь и находил, что она говорит медленней, плавней, чем принято говорить в наше время. Она употребляла много слов, которые звучали для меня архаично. Вместо «плохо» она говорила «дурно», а вместо «необыкновенно» «необычайно». Иногда ее речь казалась даже несколько громоздкой. Воспроизвести это на бумаге мне не удалось. Когда я потом перечитывал записки наших бесед, понимал с сожалением, как трудно передать то явственное, но одновременно неуловимое, что отличало ее говор от нынешнего...

Так что же? Как мне вести себя? Не хватало совета друзей, но я уже понял, что окружен невидимой стеной и не в силах через нее пробиться. Оставалось ждать. Оставалось ловить мгновения, когда я мог увидеть ее...

— Я вас ждала,— сказала она.— Через час мой поезд.

— Вы уезжаете? — спросил я.

— Да, возвращаюсь в Москву. Куда вы вчера пропали? Я вышла из дома, а вас уже не было.

— Обстоятельства...— пробормотал я.— Право же, не сердитесь, мне трудно все объяснить.

На ней было темное длинное платье, волосы пучком стянуты на затылке. В такой одежде она выглядела немного старше. Бледное серьезное лицо выражало волнение и беспокойство.

— А вы? Скоро ли назад в первопрестольную?

— Через несколько дней.

— Ну что ж, надеюсь, увидимся там. Случайно. На выставке или в концерте...

— Да, да...— ответил я,— впрочем...

— Что? — спросила она немного испуганно.

— Вы правы в том, что случившееся здесь неповторимо.

— Но почему? — спросила она еле слышно.

— Не знаю, что и сказать... Я вас об одном прошу, если случайно в Москве встретимся, не сердитесь, что пройду с независимым видом.

Она поежилась.

— Обстоятельства?

— Да. Но хочу признаться, что встреча с вами для меня немалое... может быть, главное событие в жизни.

Она усмехнулась горько.

— Вы шутите. О каком событии речь, когда в Москве вы собираетесь вовсе не узнавать меня.

— Этот приезд в Ригу... как вам объяснить? Я ведь тоже в некотором роде инкогнито. Я в эти дни вовсе не я.

— Вы говорите загадками.

— Но одно, без сомнения, верно. Я много думал о вас, смотрел на ваш портрет.

— Портрет! А знатья со мной не хотите.

— Только с вами я и хотел бы знатья.

— Я глупости вчера говорила. Предлагала куда-то ехать. Простите меня, я потеряла голову. У вас совершенно другая жизнь. Зачем вам дружба с какой-то курсисткой? Но эта встреча... Все так неожиданно. Сначала я даже вообразила, что вы приехали вслед за мной специально. Все мы полны мечтаний, но жизнь — это совсем другое...

— Вы и представить не можете, как порой жизнь обгоняет любые мечты,— сказал я

— Мечты...— проговорила она тихо.— Какие уж тут мечты...

Я взял ее за руки, они были холодные от волнения.

— Послушайте,— сказал я,— у меня нет никаких прав разговаривать с вами откровенно. Но поверьте, только самые необычные, фантастические обстоятельства разъединяют нас с вами. Но, впрочем, и они не в силах так сделать, чтобы я перестал думать о вас.

Она подошла к окну.

— Я тоже... тоже всегда буду помнить эти дни...

Молчание.

— Это прощание...— сказала она,— странное прощание, когда и встреча-то не вполне состоялась. Я ничего не понимаю. Впрочем, зачем размышлять. Значит, так угодно судьбе.

— Судьбе...— усмехнулся я.

— Кому же еще? — спросила она.

Раймонду Гроту, хотел сказать я, но тут же подумал, почему бы судьбе не выступить и в таком обличье?

— Ну, мне пора,— проговорила она.

— Одна просьба,— сказал я.— Позвольте мне вас не провожать, а уйти несколько раньше.

— Я и не рассчитывала на такую услугу,— ответила она,— сейчас подъедет извозчик. Да, впрочем, вот он уже подъезжает.

Свеча догорела, и в комнате стало темно, только с улицы пробивался свет фонарей. Я подошел к окну и увидел, что прямо напротив дома, занимая почти всю ширину мостовой, остановился роскошный лимузин.

— Извозчик...— пробормотал я.— Это за вами?

— Я говорила с ним днем. Он заломил целых три гривны. Тут и пешком совсем близко, но у меня тяжелый портплед, я накупила книг, они так дешевы в Риге.

Болела голова. Я пытался разглядеть силуэт человека за рулем машины. Зачем остановился здесь этот автомобиль? Я никогда не видел такой красивой, сверхсовременной машины. Ей кажется, что это извозчик. Кто же из нас видит не так?

— Странный, однако, извозчик,— сказал я неопределенно.

— Да, они не похожи на наших московских. У этого целое ландо. Я видела тут извозчиков с громадными каретами, их нанимают кататься у моря.

— Знаете,— сказал я внезапно,— давайте я все-таки поеду с вами на этом «извозчике».

— Буду очень рада,— ответила она просто.

Отчаянно колотилось сердце. Каждую минуту я ожидал, что комната вдруг опустеет и металлический голос объявит, что «объект удален из сферы внимания». Но этого не случилось.

Я взял ее сумку, и мы вышли из комнаты.

— Хотела проститься с хозяином,— сказала она,— но он, чудак, объявил, что прощаться не любит, ни с кем не прощается, и просил плотнее прикрыть дверь.

Мы спустились по каменным ступеням и подошли к машине. Я еще раз подивился ее сияющим формам. Выскочил водитель и распахнул перед нами дверь.

— Прошу вас, прошу! — бормотал он, неловко кланяясь.

Это был Раймонд Грот.

— Господин Грот? — удивленно сказала она.

— Ах, сударыня! Я решил сделать сюрприз и отвезти вас в своем экипаже. Зачем тратить деньги?

— Но я договорилась с извозчиком.

— Извозчик уже отправлен, он получил свои три гривны.

— Любезно с вашей стороны,— сказала она недоуменно.

— Садитесь, садитесь!

— Позвольте, но чем я обязана?

— Да просто вы мне симпатичны, и все! Могу я отвезти вас в поездку в своем экипаже?

— Отчего же...— Она посмотрела на меня вопросительно.

Я решительно запихнул сумку внутрь машины.

— Хороший у вас экипаж,— сказала она.

— А лошади! Я домчу вас в одно мгновение! — Раймонд Грот засмеялся.

— Я не спешу, до отправления еще целый час.

— В таком случае, поведем медленно,

Машина тронулась. Я напряженно смотрел в окно, мимо проплыл собор Екаба и дома «Три брата». Машина бесшумно и плавно шла к Домской площади. Внезапно я почувствовал, что ее холодная рука легла на мою ладонь.

— У меня к вам просьба. Подарите ту репродукцию, ведь настоящего портрета я, кажется, не увижу.

— Хорошо,— сказал я,— но она не со мной, я оставил ее на улице Эрглю.

— Есть еще время заехать,— сказала она.

Я размышлял недолго.

— Господин Грот, нельзя ли завернуть на улицу Эрглю? Всего на минуту.

— Не было бы ничего проще,— ответил он,— но до отправления поезда осталось десять минут.

— Как! — воскликнула она испуганно и стала рыться в сумочке в поисках часов.— Боже мой, в самом деле! А мне казалось, еще целый час.

— У меня очень точные часы,— сказал Раймонд Грот,— да вот и на соборе, взгляните.

— Да-да,— заговорила она быстро,— ошиблась, теперь бы не опоздать.

— Почему бы вам не поехать завтра? — спросил я внезапно.— Ведь вы свободны несколько дней. О билете я побеспокоюсь.

— Весьма сожалею,— вмешался Раймонд Грот,— госпоже надо ехать. Не хотел ее беспокоить, но получена телеграмма.— Он протянул белый листок бумаги.

Она прочла и задумалась.

— Что-то важное? — спросил я.

— Подруга, та, о которой вам говорила, просит быстрее приехать.

Он может сотворить телеграмму хоть от германского кайзера, подумал я.

— А вот и вокзал,— сказал Раймонд Грот.— Прощайтесь, до отправления поезда осталось немного.

И тут я сказал:

— Придется нам попрощаться с вами, поскольку я тоже намерен поехать в Москву.

— Ваш поезд отправляется с другого перрона,— быстро ответил он.

— Но я поеду этим поездом.

— Увы, ваши поезда отправляются в разное время,— сказал он печально.

Она следила за нашим разговором с недоумением.

— А где же ваш автомат контроля? — спросил я. — Почему он не напоминает про разные тайм-потенциалы?

— Вы заставляете меня напрягаться, — сказал он тихо.

— О чем вы говорите? — спросила она.

— Этот господин и является создателем тех необыкновенных обстоятельств, которые разъединяют нас, — сказал я. — Он пытается нас разлучить.

— Напротив, — возразил он. — Я устроил вам встречу.

— Так и оставьте нас вместе.

— Но это ведь невозможно.

— Сожмите мою руку, — сказал я ей, — крепко держите. Пусть он попробует нас разлучить.

— Да не я, не я, — возразил он. — Время опыта на исходе. Напрасно вы затеяли это, старина, я вовсе не собирался расстраивать вас, но время опыта на исходе. Отпустите-ка лучше руку.

— Нет, — сказал я и сжал ее руку, вцепился в нее, словно утопал или висел над пропастью.

— Милый... — прошептала она, и голос ее прозвучал словно на отдалении.

— Ну вот... — сказал он. — Разожмите пальцы. Теперь-то что вам держать?

— Руку... — пробормотал я.

— Нет никакой руки. Да и нет никого. Опыт закончился, вас разъединили.

Рядом со мной на сиденье было пусто. Но я мог поклясться, что ее рука все еще лежала в моей, и я стискивал ее что было силы.

Он приблизил ко мне печальное лицо.

— Старина, успокойтесь. Уж лучше бы вы попрощались со мной. Ведь навсегда расстаемся. Вы думаете, так уж легко расставаться? Право, вы мне симпатичны, я даже слегка завидую вам. Живете в такое тихое время. Зачем вы говорили открыто при девушке? Ей все это непонятно. Придется теперь позаботиться о том, чтобы она позабыла свой рижский визит. Но ведь на это уходят силы, энергия. Возможности наши не бесправедны.

Ее рука лежала в моей.

— С вами-то проще. Век научной фантастики. Летающие тарелки, бермудские треугольники. Так что и мой визит не слишком большое для вас потрясение. А кроме того, здесь есть расчет на побочный эффект.

Я совершенно отчетливо чувствовал, как ее холодные пальцы теплеют в моей крепко сжатой ладони. Я даже нащупал на одном из них кольцо, металл тоже теплый.

— Это один из рядовых опытов по сочетанию времен. Делаются разного рода замеры, очень много замеров. Это примерно то же, что запустить в ваши дни атмосферный зонд. Я имею в виду класс опыта. Но я успел им доказать, что мой опыт не так уж прост. Я обещал им побочный эффект и выторговал более выгодные условия, чем обычно. Как правило, зона соединения времен весьма ограничена. Мне дали комнату в особняке на улице Вестурес, на улицу выходить было нельзя. Но, как видите, мы прокатились до самого вокзала. Вы считали, что едете в машине, она — в экипаже. На самом деле ни то, ни другое. Нам дали блуждающую зону, старина. На это уходит не так мало энергии, поверьте. Но время опыта продлить невозможно, нам скоро придется расстаться.

Ее рука совсем уже теплая, и, кажется, она слегка отвечает на мое пожатие...

Он посмотрел на часы и поежился.

— Ужасно тяжело переносу перекидку. Знобит. Потом три дня буду еле двигать ногами. Перепрыгнуть столько веков, это, знаете... Беспокойное занятие, старина.

Я молчал.

— Вы не могли бы выйти из машины? — спросил он. — Очень неприятно исчезать на глазах.

Я боялся, что как только окажусь на улице, ощущение ее руки, зажатой в моей ладони, исчезнет. Но этого не случилось.

Он опустил ветровое стекло.

— Прощайте и помните обо мне. Я надеюсь на вас, старина...

Он кивнул головой и тронул машину. Мерцая красными стоп-сигналами, она покатила тихо, и я увидел, как у ближайшего поворота вокруг нее разошлось сияющее фиолетовое облако...

Прошло несколько дней. Вернулся из Москвы Имант, но я не рассказывал ему ничего. Хотелось подумать. Тем более что я получил записку от Раймонда Грота. Да-да, небольшое послание, обнаруженное мной в бутылке из-под мартини, той самой, которую я принес из бара после первой встречи со странным юношей. Стоило некоторых трудов извлечь из бутылки записку, а гласила она следующее:

«Старина! По моей мысли, побочный эффект заключается в том, что вы напишете рассказ обо всем, что случилось. Ведь вы приехали в Ригу создать небольшой шедевр для одного сборника? Вот и садитесь за машинку. Вы напишете прекрасный рассказ! Он войдет в хрестоматию, а мы, потомки, будем его читать. Не кто иной, как Раймонд Грот — это действительно мое имя, — будет причастен к созданию классики. Я верю в вас, старина! Мне кажется, вы способны на большее, чем вялые писания, которые производили до сих

пор. Напишите правду! Никто, разумеется, не подумает, что это правда, но в этом есть своя игра. Знали бы вы, сколько правды написано пером разных писателей, при том что это считается досужим вымыслом. У вас есть возможность попасть в хрестоматию подобных произведений. Итак, вперед! Вставляйте в машинку лист и создавайте шедевр. В этом и заключается побочный эффект. Ваш Раймонд Грот».

Он ошибался. «Побочный эффект» заключался в том, что в сознание мое навечно вошло ощущение встречи с ней. Ее рука навсегда осталась в моей. Стоит закрыть глаза, задуматься, как тотчас ее пальцы проникают в мою ладонь. Они уже согрелись и никогда не бывают холодными. От них исходит магнетизм, некий призыв, напоминание. Все остальное кажется не таким уж значительным. Не знаю, сколько лет проживу с таким чувством, но кажется, это будет всегда. Раймонд Грот наградил меня недостижимым, а недостижимое горит над нами, как звезда далеких миров.

**ВАЛЕРИЙ ГЕНКИН
АЛЕКСАНДР КАЦУРА**

Лекарство для Люс

Пьер неотрывно смотрел на тающее тельце девочки. Темные ямки ключиц, тонкие ручки с узелками суставов. Игла капельницы кажется огромной и жестокой в ниточке вены. Голубые глаза безмятежны, в них он старается не глядеть. «Именно таких — белокурых и голубоглазых, словом, североевропейский тип — чаще поражает этот ужасный недуг. Редкая болезнь, господин Мерсье, особенно у нас во Франции. Не ждите повторной вспышки, увезите дочь куда-нибудь в жаркий сухой климат — в Северную Африку, например, или в Мексику».

Он не внял совету врача год назад, когда болезнь только слегка коснулась его Люс. Он был занят. Работал. И вот машина как будто готова. Они проделали щель, через которую человек сможет протиснуться туда, в неведомое время. А Люс...

— Как себя чувствуешь, Люси? — доктор Жироду тоже избегал прямого взгляда в лицо девочки. Поневоле привыкнув за долгую практику к хладнокровной регистрации симптомов боли и страдания, он не мог смотреть на ребенка, улыбающегося за несколько дней — или часов? — до конца.

— Спасибо, доктор. Я сегодня так хорошо плавала. Вода была теплая-претеплая. И ракушку нашла вот такую.— Руки Люс оставались неподвижны, лицо сияло.

На тумбочке в углу — красный прямоугольник истории болезни. «Может быть, вас утешит известие, что девочка не сознает своего положения. Она живет воображаемой жизнью — играет, бегает, как вполне здоровый ребенок. Только все это мысленно. Она будет с восторгом рассказывать, какую красивую бабочку поймала, хотя подвижность у нее сохраняют только губы и веки. Эйфория на пороге смерти».

Доктор вытянул из красной папки листок с результатами последних анализов.

— Не хочу вас обманывать надеждой. На этой стадии мы вряд ли увидим что-нибудь утешительное.— Он близоруко поднес листок к одутловатому, в прожилках лицу.

— Господин профессор, мадам Жироду просит вас к телефону.— Закованная в крахмал сестра профессионально суха, однако видно, как тревожно расширены ее зрачки.

Старик бормочет что-то извинительное и выходит с листком в руках.

Пьер снова мысленно перебирает варианты. Лететь за лекарством одному? Но сможет ли он передать всю картину болезни. Послать Люс? Но куда? Где очутится беспомощный ребенок, не способный даже самостоятельно двигаться? Это лишь другой вид смерти. За тысячу лет от дома. На двоих машина не рассчитана, что, впрочем, к лучшему. Он имеет право рисковать только собой. Ведь аппарат даже не испытали. Что ж, вот подходящий случай. Нужно решить, куда лететь. Точность перемещения — и пространственного, и временного — невелика. А залететь слишком далеко — страшно. Скажем, десять тысяч лет! Какой будет цивилизация в это фантастически далекое время? Ну хорошо, он выберет век, он попадет туда. Но главное — как вернуться? Неопределенность обратного пути куда больше. И если высокая точность неважна при движении в будущее, то вернуться он должен в срок, чтобы не опоздать к умирающей Люс.

Минимальный прыжок машины — половина тысячелетия. Этого должно хватить. Пьер перевел взгляд на красный коленкор: «Люс Мерсье, 6 лет. История болезни. Основной диагноз...»

Он бросил свой старенький, не раз битый «Пежо» в Форж-лез-О и оставшийся путь до виллы Дю Нуи прошел пешком. Ветер тихонько тащил по дороге кленовые и каштановые листья. Уже в сумерках Пьер увидел знакомую позеленевшую черепицу. Он поправил на

плечах лямки рюкзака, поставил ногу на осыпающийся фундамент ограды и ухватился за ржавые чугунные прутья.

Какая, однако, нелепость. Он вынужден... Да, просто-таки вынужден воровать собственную машину. Разумеется, они делали ее вместе, и вклад Шалона и Дю Нуи велик. И в расчетах, и в деньгах, тут ничего не скажешь. Но идея? Впрочем, идея тоже не его. Пьер вспомнил Дятлова. Вспомнил теплый от вечернего солнца камень, втащить который на холмик ему помог Жак Декур. Дятлов. Одобрил бы он поступок Пьера? Пожалуй, да. А если он погибнет и погубит машину? Именно это втолковывали ему весь вчерашний вечер Дю Нуи и Шалон, когда он заикнулся, что хочет воспользоваться аппаратом. Они говорили, что система стабилизации толком не проверена, что он неведь куда забросит машину, вряд ли уцелеет сам и ничем, естественно, не поможет несчастной девочке. Что ж, логика как будто на их стороне. Но что такое логика, если есть хотя бы ничтожный шанс, крохотная надежда? Пусть ему суждено погибнуть. Он умрет с сознанием, что использовал этот шанс. Ему не прожить на земле без Люс.

Аппарат помещался в ротонде — летней деревянной постройке в дальней части парка. Когда Пьер взламывал дверь, сухое дерево скрипело и стреляло. К счастью, сегодня кроме садовника Дю Нуи глухого Гастона на вилле никого не должно быть. Пьер уже сидел в машине, когда раздалась торопливые шаги. Он сдвинул рычажок дистанции к минимуму и выглянул наружу. К ротонде, тяжело дыша, бежал Гастон.

— Мсье! — кричал он в ужасе. — Мсье! Нельзя!

Он неуклюже прыгал на подагрических ногах, вытянув вперед правую руку. Позади ковыляющей фигуры вспыхнули фары автомобиля.

Пьер захлопнул дверцу.

Крошечная пролысина в чащобе леса была так плотно огорожена жимолостью, что Пьер счел всякую маскировку машины излишней. Сунув под рубашку пакет с красной коленкоровой папкой, он начал пробираться сквозь кусты в ту сторону, где лес казался чуть светлее. Гулко ахало сердце.

Судя по холодным каплям росы, редко пробивающемуся полному лучу солнца, треску птиц, нежным клочкам тумана, зябкому запаху ромашек было раннее летнее утро. Озноб от внутреннего возбуждения и ледяных уколов ресинок гнал его вперед. Через час он согрелся, умерил шаг, успокоился. Успокоившись, начал рассуждать, а приведя в порядок мысли, испугался. Километр за километром шел он по лесу, абсолютно лишенному следов человека. Лежащие на земле деревья гордо поднимали могучие комли с ветвистыми

корнями — доказательство, что они упали сами, от старости, или были свалены бурей, не изведая грубых ударов топора.

Еще через час, когда тревога перешла в страх, заросли расступились и открылась даль: бескрайняя поляна в цветах, пологий склон травянистого холма, а на гребне — замок, каких немало повидел Пьер в среднем течении Луары. Крепостная стена срезает верхушку холма, над стеной — башни с черными пятнами бойниц. На густой синеве неба замок проступает светлым изломом.

Вглядываясь в это творение человеческих рук, которому теперь уже не менее тысячи лет, Пьер испытал огромное чувство облегчения. Он скинул реповую куртку, расстелил ее на просохшей траве и прилег, положив рядом пакет.

Разбудили его звуки, совсем не похожие на шум леса: металлическое бряцание, глухой топот, скрип, нестройный гул голосов. Из-за выводка молодых дубов шагах в двадцати от Пьера на дорогу выезжал отряд всадников. В парном строю на тяжелых крупных конях ехали воины в кожаных куртках с нашитыми блестящими бляхами. В правое стремя каждого упирался тупой конец пика, украшенной узким, языком фляжка. За пикейщиками ехали двое на сухих легконогих скакунах. Один — с массивной золотой цепью поверх стального нагрудника — энергично жестикулировал. Павлинье перо на шапочке рыцаря беспокойно вздрагивало, когда тот поворачивал голову к собеседнику. Последний был одет в темно-лиловый балахон с откинутым капюшоном, над которым сияло выбритое круглое пятно на макушке.

Немного отстав от двух всадников, тряся на муле рыжий монах, колотя понурое животное босыми пятками. Следом за ним тонкий юноша в блекло-зеленой куртке и красных чулках тянул в поводу долгогривого красавца-коня, к седлу которого были приторочены шлем с белым плюмажем и треугольный, в ссадинах щит.

Наконец показался последний всадник — огромного роста бородач в кольчужной рубахе. От луки его седла тянулся аркан, накинутый на шею старика в лохмотьях со сбитыми в кровь босыми ногами.

Повинуясь изгибу тропы, участники процессии поворачивались к Пьеру спиной и, постепенно уменьшаясь, терялись в поле, оставив крепкий запах конского пота, звуки невнятной речи и память о затравленном взгляде пленника из-под грязных седых косм.

Какой же это век? Смутные обрывки сцен из прочитанных в детстве романов плясали вокруг рыцарей Круглого стола, Роланда, Тристана, Оттона, Айвенго, но сказать определенно, какому времени принадлежат люди, только что проехавшие мимо него, Пьер не мог.

Он встал на ноги и, осторожно отогнув колючие ветки, сделал шаг в сторону дороги.

— Эй!

Мгновенно ослабев от страха, Пьер обернулся. В нескольких шагах от него стоял мальчишка, точная копия только что проскакавшего оруженосца. Он задумчиво грыз ногти и смотрел на Пьера.

— Ты откуда? — Мальчишка, улыбаясь, ждал ответа.

— Я? Я... оттуда.— Пьер махнул в сторону леса. Потом, собравшись с духом, выпалил: — Чей это замок?

— Замок, что ты видишь перед собою, принадлежит благородному и достопамятному рыцарю, вонтелю Святой земли и гроба господня, грозе мавров и сарацин, моему сеньору барону Жилю де Фору, и все эти земли и угодья принадлежат ему, а я — его кравчий и спешу в замок, чтобы поспеть к началу пира, который мой господин дает в честь своих гостей графа де Круа и аббата Бийона, только что проследовавших по этой дороге со своими слугами, пажками и оруженосцами... — тараторил паренек, а Пьер с изумлением сознавал, что тот говорит по-французски, хотя и с очень странным произношением. — А ты, наверно, колдун?

«Интересно, — думал Пьер, втолковывая кравчему благородного и достопамятного барона, что он просто мимопроезжий чужестранец, — интересно, во времена крестоносцев уже сжигали колдунов или инквизиция была учреждена позже?»

— И пусть не удивляет тебя моя одежда, — настойчиво говорил Пьер, — ибо такое платье в обычае на моей родине.

— Жаль, что ты не колдун. У нас есть одна колдунья, вот было б здорово, если бы вы встретились — устроили бы турнир, кто кого переколдует. Но ты все равно приходи в замок, ты, верно, голоден и устал от дальнего пути, а наш господин любит не только колдунов, но и путешественников, если только они добрые христиане, а ты ведь христианин — ты не похож ни на мавра, ни на еврея, ни на жителя страны Синь. А может быть, ты жонглер или трувер?

Пьер на мгновение задумался. Жонглер? Кажется, так называли бродячих комедиантов. Какая ирония судьбы! Мальчишка почти угадал. Но время ли сейчас признаваться в своем актерском прошлом?

— Нет, я не жонглер.

— Конечно, я и сам вижу, ведь у тебя нет ни арфы, ни обезьянки. Ну, я побежал. Приходи на закате, пир будет в разгаре. Спроси Ожье де Тьерри, это мое имя. Я проведу тебя в зал и найду угол, откуда все хорошо видно. Прощай!

Ожье де Тьерри дунул напрямик к замку, не разбирая дороги. Камзол его слился с густой зеленью дерна, и Пьеру казалось, что две тощие красные ноги сами бегут по склону холма, смешно сгибаясь и разгибаясь.

Пьер возвращался к машине. Какая-то сила тянула его туда вопреки логике и здравому смыслу. Ведь ни доблестное крестоносное воинство, ни все колдуны этого скудного, жестокого, пестрого и наивного мира не помогут ему доискаться до причины ошибки и устранить ее. Мысль о Люс сжимала сердце. Он шел и плакал и искал хоть какую-нибудь зацепку, чтобы оправдать себя и жить, хотя бы и здесь, в этой варварской каше из холопов, воинов и попов. Тогда, в сорок четвертом, он нашел себе оправдание — он бежал, спасая записи Дятлова, бежал, чтобы уберечь бланш, а Декура с отрядом оставил пробиваться в горы. Тогда он тоже шел и плакал, и лес был чем-то похож на этот, хотя там были предгорья Альп, а здесь, судя по словам мальчишки, Нормандия.

Он вышел к знакомым зарослям жимолости. Сейчас он вытащит из машины рюкзак с консервами, разведет костер, поест, а уж потом обдумает свое положение. Низко нагнувшись и выставив перед собой локти, он нырнул в зеленую гущу, проскользнул на ту сторону и выпрямился. Прямо на него уставился апоплексического вида рыжий детина в коричневой рясе. Дитина сидел на пне, прислонившись спиной к обшивке аппарата, и тарачил на Пьера круглые пуговичные глазки.левой рукой он придерживал на колене оловянную кружку, а правую воздел над головой, сжимая полуобглоданную кость. Тут же на траве и поваленной лесине лежало и сидело человек шесть бородатых парней в зеленых длинных кафтанах, а посреди поляны над догорающим костром висел черный котел, в котором ухало и кряхтело какое-то варево.

— Ваде ретро, Сатанас! — неожиданно высоким голосом провещал монах и костью нарисовал в воздухе крест.

Зеленые кафтаны повскакали и, разинув рты, уставились на Пьера.

— Что-то твоя латынь его не берет, дядя,— сказал один из них, толстяк с рыжей кустистой бородой. В его окорокоподобной руке была зажата деревянная мешалка, которой он только что орудовал в котле.

— Сгинь, сатана, рассыпья,— отбросил монах латынь, продолжая крестить воздух, между тем как его товарищи, потеряв, видно, веру в столь прямое и быстрое действие крестного знамения, приступили к Пьеру.

Очень быстро он был скручен, обмотан колкой веревкой и брошен в развилку корней большого дуба, росшего на самом краю поляны как раз напротив машины.

— Не тебе ли принадлежит эта штука? — начал допрос монах, указывая той же костью через плечо, в то время как рыжебородый кулинар поддел котел своей мешалкой и, ловко сняв с огня, опустил его на траву.

Кто ножом, кто ложкой стал выуживать из котла куски мяса и деловито чавкать. Худой паренек наполнил дымящейся похлебкой большую миску и поставил ее перед монахом.

— Спасибо, чадо. Накормить слугу господа — значит услужить самому господу.— Монах извлек из складок рясы изгрызанную ложку и припал к своей лохани.

— Так что же ты молчишь? — отдуваясь обратился он к Пьеру.— Или язык твой прилип к гортани твоей от страха перед гневом господним?

Язык Пьера отнюдь не прилип к гортани. Напротив, он обильно омывался слюной, и свирепый мясной запах терзал Пьера больше, чем страх перед чьим бы то ни было гневом.

— По-моему, это исчадие ада хочет жрать,— сказал толстяк-повар.

— Ты прав, Крошка, клянусь мощами святого Ингордана. Надо его накормить, ибо сказал принявший за нас муки на кресте: просящему у тебя дай!

Крошка пошарил в траве и выудил еще одну деревянную миску, правда, поменьше. Наполнив ее, он сунул туда деревянную же двузубую вилку и отдал подскокившему худому парню, который поставил еду перед Пьером и ловким движением ножа освободил ему руки.

— Ешь, ешь,— разрешил монах, увидав нетерпеливое движение Пьера.— Может, эта похлебка из козленка и не похожа на адское пойло из серы и змеиного яда, которым, как я слышал, питаются слуги преисподней, но ничего другого предложить тебе не можем.— И он закинул голову в смех, открыв ослепительную молодящуюся глотку.

Пьер жевал горячие куски нежного мяса, запивая их бульоном прямо через край миски. Носители зеленых кафтанов настроены были благодушно. Увидав, что Пьер покончил со своей порцией, тот же услужливый паренек нацедил кружку из бочонка и поставил ее рядом с опустевшей миской. Пьер отхлебнул горьковатой жидкости и услышал монаха.

— Ну, чадо, расскажи, как попал ты во владения нашей вольной ватаги, что это за железная труба и почему на тебе платье, изобличающее принадлежность к колдовскому сословию? А мы послушаем твой рассказ за кружкой доброго пива, сваренного лучшим пивоваром Нормандии — Теофилом Липкие Штаны.

— Я,— начал Пьер,— чужестранец, путешественник.

— Откуда и куда ты путешествуешь?

— Оттуда — туда.— Пьер неопределенно махнул рукой и добавил, кивнув на машину: — А это мой экипаж... карета, что ли, колесница...

— Ну да, помело! Ха-ха-ха! — загоготал Крошка, а за ним и остальные.

В следующее мгновение грянул пронзительный свист, и между кустов просунулась плоская румяная рожа с реденькими метелками усов.

— Это отряд де Тардые, — сообщила рожа. — Едут сюда, их человек сорок.

Разбойники пришли в движение. Побросав кружки, они схватили лежавшие здесь же в траве короткие мечи и луки. Крошка и монах вооружились суковатыми дубинами.

— Кто их ведет? — деловито спросил монах.

— Кроме де Тардые я не заметил рыцарей.

— Все равно их слишком много. Будем уходить. И прихватим с собой этого. — Он ткнул пухлым пальцем в то место, где только что сидел Пьер. Но Пьера там уже не было.

Через минуту поляна опустела. Пьер выбрался из своего гнезда между корней того же дуба, но с противоположной стороны — сюда он метнулся, улучив мгновение, когда все разбойники были заняты поисками оружия и расспросами часового, — и, окончательно освободившись от веревок, подошел к машине и забрался внутрь. Вскоре, волоча рюкзак за ляжки, он уже готовился спрыгнуть на землю, но из-за кустов донесся храп и топот множества лошадей, а на поляне появились двое в кольчужных рубахах и принялись расстилать цветастый ковер как раз там, где несколько минут назад лежал Пьер, опутанный пенькой. «Смена декораций», — подумал он, опускаясь на порожек люка. Свесив ноги, он потянулся к нагрудному карману за сигаретой.

Между тем на поляну вступил черноволосый рыцарь, из-под низко обрезанной челки угрюмо смотрели темные красивые глаза. Он вел за руку молодую женщину в наряде, блестевшем, как елочный шар. Она взошла на ковер, перед краем которого рыцарь остановился и, низко склонившись, проговорил:

— Здесь, Алисия, ты сможешь отдохнуть и подкрепиться, чтобы усталость не помешала тебе насладиться праздником и, что не менее отраднo, доставить гостям наслаждение лицезреть совершенство столь полное, как твоя красота.

«Здорово заворачивает», — одобрил Пьер, на которого никто еще не обратил внимания.

— Благодарю, сэр Морис. Я действительно утомлена. Но не голодна.

— Может быть, глоток теплого вина с пряностями?

— Вина? Пожалуй. — Алисия опустила на гору подушек, сваленных посреди ковра. — Немного мальвазии с корицей и кардамо-

ном.— Она томно улыбнулась и, угнездившись в подушках, медленно подняла глаза.

Под ее взглядом Пьеру стало неуютно. Через секунду на него уставился рыцарь с челкой, а затем и все присутствующие на поляне.

— Как интересно,— хихикнула вдруг Алисия и, вновь обретя капризную серьезность ломачи, обратилась к Пьеру: — Простите нас, любезный съёр рыцарь, за бесцеремонное вторжение в ваши владения. Мы, славный защитник гроба господня съёр Морис де Тардые и я, Алисия Сен-Монт, дочь графа Вильруа де Сен-Монта, направляемся к замку высокородного барона Жила де Фора, дабы принять участие в турнире и празднестве, которые он устраивает по поводу — впрочем, я не помню в точности, по какому именно поводу он дает этот праздник,— и вот мы остановились отдохнуть на этой дивной поляне, чтобы восстановить телесную бодрость, утраченную в известной мере вследствие тягот обременительного для слабой женщины путешествия, не зная, впрочем, что место это уже занято достойным рыцарем, носящим столь странное облачение...

«Боже,— думал Пьер,— а эта-то за кого меня принимает? Нет, дудки, за рыцаря я не сойду — придется еще ломать копыя в честь прекрасных дам. Лучше работать колдуня, у меня для этого явно больше данных».

— ...И соблаговолит назвать нам свое имя, дабы мы могли приветствовать его, как того заслуживает носитель столь славного имени.— Тут Алисия несколько запуталась и снова хихикнула, после чего ожидающе заморгала.

Вместо ответа Пьер выпустил густую струю синеватого дыма.

— Святая Мария, да вы колдун,— оживилась дама, не выказав, однако, никакого страха.— Съёр Морис, я никогда не видела колдунов, а вы?

— Мне, Алисия, всякое приходилось встречать в Палестине и других местах. Но если тебя заинтересовал этот... Почему бы нам не пригласить его в Лонгибур?

— Прекрасная мысль! — захлопала в ладоши женщина, сверкая камнями перстней и браслетов.— Не откажите в любезности даме, благородный съёр,— говорила она уже Пьеру,— согласитесь сопровождать нас в замок барона, где вам, ручаюсь, окажут самое изысканное гостеприимство, которого заслуживает столь могущественный чародей.

Пьер продолжал молчать. Де Тардые сказал что-то своим людям, и те, взяв машину в полукольцо, стали приближаться к сидящему Пьеру. Он швырнул рюкзак обратно в машину, встал и захлопнул люк.

— Ну-ну,— сказал он,— я иду.

Сохранять достоинство мага под недружелюбными взглядами латников было нелегко. В это время к Алисии подошел паж. Над серебряным подносом с двумя кубками висел пар.

— Принеси еще,— бросила Алисия пажу, протягивая Пьеру тяжелый металлический сосуд.

Он растерянно держал его двумя руками, пока такие же кубки не появились в руках Алисии и де Тардые.

— Пусть вам сопутствует удача! — звонко сказала Алисия.

Пьер выпил вино. Теплая сладкая волна прошла по телу.

— Садись, съер чародей, и расскажи нам о своих чудесах, а еще лучше — покажи что-нибудь не слишком страшное.

«В романах в таких случаях на помощь приходит солнечное затмение. А мне и затмение, начнись оно через минуту, все равно не поможет. Предсказать его я не могу, а тем более шикарно обставить». Пьер опустил на ковер рядом с томно вззирающей на него дамой, тоскливо огляделся, достал зажигалку и неуверенно щелкнул. Алисия равнодушно посмотрела на язычок пламени и прилегла на подушках.

Пьер ошалело вертел головой. Кучка воинов закусывала холодным окороком. Пели птицы.

Очнувшись от задумчивости, Морис де Тардые встал и, буркнув: «Разбудить Алиску», направился к лошадям.

Они проделали уже знакомый Пьеру путь по трепетному летнему лесу, и Алисия непрерывно болтала, мучая удилами красивого гнедого мула, а рыцарь Морис де Тардые молчал, бросая на Пьера неприязненные взгляды. Молчал и Пьер, трясая на могучем пегом жеребце позади паж, и мысли его были расплывчаты и печальны. Ехавший впереди кавалькады воин поднес к губам рог и затрубил у подъемного моста замка Жюль де Фора.

Сотни коптящих факелов гнали к потолку темень, и та сгущалась сверху, в сплетении балок. Узкие щели окон рождали сквозняки, от которых языки светильников раскачивались, внося тревогу, размывая предметы, лишая четкости жесты. Прямо на Пьера смотрели удлинённые глаза узкого белого лика с бескровной полоской губ. За ним лучами расходились мечи и копья, схваченные щитом мрачной геральдики: ворон, несущий в когтях череп. Страх, отодвинутый было добряками-разбойниками и болтовней Алисии, с новой силой сжал сердце Пьера при виде этого лица, осененного птицей смерти и остающегося недвижимым в мятежном метании теней.

Когда Пьер чуть свикся с желто-красными полутенями и оторвался от магнетических глаз, перед ним мало-помалу стали материализовываться реальные предметы: убегающий к возвышению дубовый стол, gobelены с неуклюжими собаками, соколами и трубящими

в рога рыцарями, огромный очаг, черной пастью жующий оленью тушу. Достигнув возвышения, стол подныривал под стоящего поперек собрата меньшей длины. За этим последним расположились хозяин и знатнейшие гости, среди которых оказались давешние утренние знакомцы — рыцарь с цепью и поп в лиловой рясе. За спинами публики попроще, сидящей на скамьях у длинного стола, шныряли и скалились вислоухие собаки.

Хозяин замка барон Жиль де Фор, чье лицо заворожило Пьера, сидел, склонившись низко над столом, и неподвижно глядел перед собой, слушая, как тучный дворецкий с резным посохом в руке говорил ему что-то о новоприбывших. Потом барон медленно поднялся, сошел по трем высоким ступеням с помоста и двинулся навстречу Алисии и Морису. Слух Пьера не мог выделить из общего гула, какими словами обменялись хозяин и гости. Жиль де Фор повел Алисию к своему столу, за ними в сопровождении дворецкого шел Морис де Тардые. Пьер почувствовал себя неуютно, стоя у дверей. «Большого почета тут не жди, — думал он, заходя за каменный выступ близ очага, — колдун у них по социальной шкале где-то между конюхом и свинопасом. Тем более такой завалящий — кроме фокуса с зажигалкой и сигаретой ничего не показал». В этот момент кто-то потянул его за полу куртки. У локтя Пьера сиял черными глазами Ожье, кравчий сеньора замка.

— Молодец, что пришел. Сейчас будет самое интересное. Садись за стол.

— Скажи, Ожье, нельзя ли мне пристроиться где-нибудь в сторонке, ну хотя бы здесь? — Пьер показал на темную нишу за очагом.

— Здесь так здесь. — Ожье поманил поваренка, поливавшего оленью тушу вином из насаженного на палку ковша. — А ну-ка, Жермен, посади этого человека.

Жермен прикатил две деревянные колоды. На одну из них уселся Пьер, а на другую Ожье поставил тарелку с жареной дичью и кружку темного вина.

И снова мир распался на пятна и звуки. Вереницы слуг меняли блюда, гул наполнял сводчатую залу, и не мог Пьер расчленить этот великолепный оркестр звуков, красок и данжений на вульгарные элементы, лишённые поэзии и высокого значения: хруст, соление, урчание, шарканье, шмыганье, скрип, работа челюстей, локтей, подбородков, а вот холеная рука в перстнях и сапе ползет по малиновому бархату, оставляя тусклый жирный след.

И вдруг — тишина и неподвижность. На возвышении у резного кресла барона выросла тощая фигура в рубаше из красных и зеленых ромбов с желтой обезьянкой на плече. Венок из темных прихвядших роз лихо сдвинут набекрень, лисье личико сосредоточенно, в левой руке — маленькая арфа. Уперев согнутую ногу в чурбак и

утвердив арфу на колене, жонглер тронул струны. Резкий тревожный звук полетел к темным сводам.

— Небывальщину заморскую я не стану вам рассказывать, храбрые рыцари и прекрасные дамы, а послушайте побывальщину родной земли, милой Франции. Я песню заведу о храбром витязе, вам о Роланде пропою блистательном, служившем императору христианскому и победившем с Карлом тьму язычников, слуг мавританца-нехристя Марсилия.

Щелкнув по носу разошедшуюся не в меру обезьяну, певец снова бряцнул арфочкой и продолжал:

Король наш Карл, великий император,
Провоевал семь лет в стране испанской,
Весь этот горный край до моря занял...

Зачарованно внимая стихам, Пьер вспомнил, как сбегал с уроков, предпочитая скучному Роланду пыльную зальцу кинематографа «Мираж» с Гретой Гарбо на экране и тонкой рукой Симоны, сжимавшей острыми пальчиками его локоть.

Жонглер тем временем проигрывал всех героев. Тяжелым взглядом обвел он сидящих за малым столом рыцарей:

«Бароны, я от вас совета жду,
Кого послать к Марсилию могу».

Вот Ганелон, предложенный Роландом на опасную должность посла, вырастает в гневного пророка собственной мести:

Роланду молвит он: «Безумец злобный,
Из-за тебя к Марсилию я послан,
Но коль вернуться мне господь поможет,
Тебе за все воздам я так жестоко,
Что будешь ты меня до смерти помнить».

Деловито разработан план злодейской операции. Изменник Ганелон и Марсилий, склонившись над картой — или Пьеру так кажется, — водят пальцами по пергаменту. Вот оно, ущелье Сизы. Карл арьергард оставит у теснины, в нем будут граф Роланд неустрашимый и Оливье, собрат его любимый, и двадцать тысяч воннов-французов. На них... Ганелон шевелит пальцами, губами: он вычисляет. Мордочка жонглера напряглась...

На них сто тысяч ваших мавров двиньте.

За столом движение. Им, рыцарям, да и всякому ясно, как это много — сто против двадцати. Они давно уже знают, чем все кончится, но забыли. Они все переживают заново. На лицах напряженное внимание. Беспризорный олень сохнет в очаге. К Ронсевальскому ущелью, где встал лагерем отряд Роланда, спешат толпы мавров. В доспехах сарацинских каждый воин. У каждого кольчуга в три ряда. Все в добрых сарагосских шишаках, при валенсийских копьях и щитах... О, рыцари знают толк в оружии. Они понимающе перегляды-

вяются и чмокают губами, они живут этим. А он, Пьер, сбежал в кино с Симоной.

Окончив коллеж, он болтался без дела. Иногда помогал дяде продавать цветы. Но вот Симона привела его в театр Шатле, в студию самого Жан-Поля Моро. Тому был нужен мим. Он оглядел хрупкую, гибкую фигуру Пьера и удовлетворенно хмыкнул. Моро оказался прав: у Пьера обнаружился дар. Жан-Поль открыл ему бесконечный мир знаков, образующих язык пантомимы: зыбкий, как волны, шаг, птичий порыв кисти, скорбь белой маски лица.

Началась «странная война». Моро забрали в армию, и Пьер привязался к старому актеру Этьену Жакье. Жакье дал ему роль в готовящемся спектакле. Отрава Драматического театра оказалась еще острее. Сладкой тайной звучали для Пьера имена Станиславского, Мейерхольда, Пискарева. О Станиславском рассказывал Владимир Соколов, который вел занятия по сценическому мастерству. «Смотрите сюда.— Соколов поднимал над головой коробок спичек.— Сосредоточьтесь на этом предмете. А теперь представьте, вы — спички!» Деревенея, Пьер ощущал себя тонким, оструганным. Он лежит в холодном сумраке, прижатый к жестким своим собратьям, и его далекий маленький затылок обмазан горючей коричневой массой. Но вот брызнул свет, огромные пальцы хватают его, затылок больно чиркает о шершавую стену. Шипение и жар окутывают голову, чернеет и гнется тело.

Этьен Жакье стал для Пьера пророком.

— Мальчик мой,— говорил он во время бесконечных прогулок по весеннему Монмартру,— театр — это корабль. Вольный ветер раздувает паруса занавесей, колосники — наш рангоут, сеть задника и канаты — такелаж. Софиты — это горящие иллюминаторы, и даже галерка созвучна галере. Каждый вечер ее заполняют рабы и пираты, жаждущие чуда — свободы и нежности. И спектакль снимается с якоря, чтобы подарить им это чудо... Театр выше жизни, Пьер. Я выхожу на сцену, чтобы не участвовать в грубой комедии, которую называют реальной жизнью.

Накануне его дебюта война перестала быть «странной». Немцы хлынули на Париж.

Пьер стоял в толпе на Елисейских полях. Старик в берете поворачивал:

— Франция, наша Франция... — по его щекам катились слезы.

«Человек одновременно актер и зритель в театре жизни. Он живет и наблюдает себя со стороны. Живет, но знает, что умирает. Жизнь — это игра в предание смерти». Какими мудрыми казались Пьеру эти слова Жакье. Но однажды он спросил, не правильной ли было бы на время оставить театр и сражаться.

— Весь мир сейчас сражается,— отвечал Этьен,— и весь мир играет. Я знаю, мы кажемся чудовищами, озабоченными только своим делом — делом комедиантов, безразличных к борьбе. Но у нас свое поле боя — сцена. Ставка в нашей игре — величие духа родины. Духа Мольера, Корнеля, Расина. Мы поднимем на щит героическое прошлое Франции.

Слова старого актера убедили Пьера. Со страстью включился он в постановку «Сида».

— Премьера будет 14 июля,— говорил Этьен, захлебываясь от возбуждения.— Представляешь, какой эффект!

За неделю до премьеры к Жакье пришел немецкий полковник.

— Комендатура,— сказал он,— возлагает на вас ответственную и почетную миссию: постановку оперы «Золото Рейна».

— Но я никогда не ставил опер, я не смогу! — возразил бледный Жакье.

— Ваша скромность делает вам честь, мсье, но в настоящую минуту она совершенно неуместна.

— Я... я очень занят. Я ставлю «Сида».

— Корнель подождет,— спокойно ответил немец.— Вы будете ставить Вагнера.

Через неделю, 14 июля 1940 года, Пьер навсегда ушел из театра. Он выбрал другое поле сражения.

Идет бой. Каждый из двенадцати пэров дает урок маврам. Перед Роландом вырастает волосатый язычник Шернобль. Сейчас, сейчас обрушится на него страшный удар Роландова меча — Дюрандаля. Рассказчик подкрадывается к этому мгновению, как лис к курятнику:

Прорезал меч подшлемник, кудри, кожу,
Прошел меж глаз середкой лобной кости,
Рассек с размаху на кольчуге кольца
И через пах наружу вышел снова...

Жонглер взял с хозяйского стола кубок и отпил вина.

А потом уже обыденно будничная работа, и голос его ровен, а жесты ленивы. И рубит он, и режет Дюрандалем, большой урон наносит басурманам, и руки у него в крови, и панцирь, конь его залит от ушей до бабок. А рядом грубоватый Оливье крушит неверных обломком копья. И певец снова воодушевляется. Он вращает над головой арфу и говорит, отвечая на вопрос Роланда, почему столь необычно его, Оливье, оружие: «Я бью арабов, недосуг мне доставать из ножен меч!» Добрый смех приветствует рассказчика. Все пьют, и он пьет. И хохочет со всеми: «У него нет... ха-ха-ха... Времени у него нет, некогда ему... Ха-ха, он их оглоблей!»

И вдруг посерьезнел.

Взглянуть бы вам, как колья там кровавят.
Как рвутся в клочья и значки и стяги,
Как в цвете лет французы погибают!
Ждут матери и жены их напрасно,
Напрасно ждут друзья за перевалом.
Аой!

Роланд трубит в свой рог, призывая дядю-императора на помощь. И голос певца напряжен и звонок и полон боли и отчаяния, потому что медлит Карл, дурачимый Ганелоном, мешкает с выходом на подмогу.

Уста покрыты у Роланда кровью,
Висок с натуги непомерной лопнул.
Трубит он в Олифен с тоской и болью.

Но нет еще Карла, а рядом умирает Оливье. Ах, край французский, милая отчизна, увы, твоя утрата велика!

Глаза Алисии блестят слезами, мужчины хмурятся и закрывают лица.

Последний бой. Роланд с архиепископом Турпенем принимают удар четырехсот сарацин. Натиск отражен, и среди тысяч трупов лежит умирающий Роланд. И он поет элегию своему верному Дюрандалю, перед тем как его уничтожить. Жонглер, перебирая струны, заводит речитатив:

Мой светлый Дюрандаль, мой меч булатный,
Как ты на солнце блещешь и сверкаешь!..

И мужчины уже не скрывают слез.

Тщетно бьет Роланд мечом о скалы. Сокрушается камень, но не зубрится Дюрандаль. И, обессилев, вручает рыцарь свою перчатку архангелу Гавриилу, уносящему его душу.

Певец умолк. Молчала восхищенная зала. Наконец поднялся Жиль де Фор:

— Отдохни, Жоффрау, отдохни и подкрепи себя пищей. Потом ты окончишь свою песнь, ибо нам кочется знать, как принял великий Карл известие о смерти любимого племянника, как отомстил он грабам, как осудил изменника Ганелона и что случилось с прекрасной Альдой — нареченной невестой Роланда. Но чтобы ты знал, сколь любим мы твое искусство, вот тебе награда. Прими ее сейчас, не будем дожидаться конца твоего рассказа — я уверен, он будет не хуже начала. — Жиль де Фор нагнул голову и снял с себя тяжелую золотую цепь.

Жоффрау опустился на колени и сорвал с плеча обезьянку, чтобы та не мешала барону.

— Спасибо, съёр рыцарь, мы с Матильдой старались.

Барон расплылся в улыбке, оживившей его тонкие бледные губы, и, надев цепь на шею певцу, слегка подтолкнул его к подоспевшему дворецкому, который повел Жоффрау вдоль длинного стола.

Однако высокородные гости, успевшие осушить слезы, а заодно и кубки, как бы незначай расставляли локти, так что бродяге-актеру не сразу нашлось место. Наконец он пристроился в самом конце стола возле юного пажа графа де Круа. Пьер с интересом рассматривал жонглера из своей ниши: талант поразительный. Уж он-то знал в этом толк.

Между тем пир разгорелся с новой силой. Женщины, по наблюдениям Пьера, не отставали от мужчин, уписывая пироги с начинкой из жаворонков, зайчат на деревянных спицах, нежных карпов, запеченных в дубовых листьях, жареную свинину с репой, заливая все это тягучим красным вином. Наконец слуги обнесли всех медными тазами с водой для омовения рук. И потекла беседа.

— Не удивительно, что подвиги Роланда находят отзвук в сердцах рыцарей: он им образец и доблести, и долга, и верности. Но что в рассказе нашего жонглера могло привлечь прекраснейшую даму? Ведь женская душа устроена не в пример грубым мужским натурам — туго натянутой струной откликается она на человеческие муки, а искусный Жоффруа так живо изобразил страдания искалеченных и умирающих бойцов, что это не могло не причинить вам боли, благороднейшая Алисия, — сказал де Тардьё.

— Вы правы, Морис, — отвечала Алисия, — я сострадала Роланду и Оливье, но в этом и наслаждение от искусства, подаренного нам Жоффруа. Через страдание мы постигаем блаженство.

Граф де Круа поднял пьяную голову:

— А я, благородные съёры, об одном сожалею: не волен я кинуться в страшную сечу и спасти храбрейшего из храбрых... Объясните мне, гордые рыцари, почему не могу я быть вместе с Роландом? Где тот конь, что отвезет меня в Ронсевальское ущелье? — В глазах де Круа заблестели слезы.

— Нет таких коней, граф, — сказал де Тардьё, — судьба же Роланда прекрасна и возвышенна.

— Судьба, судьба, — пробормотал де Круа, — я не верю в нее и не желаю ей подчиняться.

— Не кощунствуй! — сурово промзнес аббат Бийон. — Господь справедливо распорядился за нас, нам же остались деяния к вящей его славе. Ни прошлое, ни будущее не в нашей власти.

— А вы, святой отец, — заговорил Жиль де Фор с некоторой нотой брезгливости, — что вы нашли в словах Жоффруа?

Аббат вскинул голову и с достоинством ответил:

— Что могу я черпать в этой славной песне, кроме благочестия и веры в силу господя, вложившего Дюрандаля в Роландову десницу, дабы тот поразил язычников. И, укрепившись в вере, я возвращаюсь из тех героических дней в наше брненное настоящее, чтобы — увы! — убедиться, что даже цвет рыцарства начинает забывать о

святом своем предназначении, о беспощадности к слугам дьявола...

— Что вы имеете в виду, отец Бийон? — мрачно перебил его Жиль де Фор.

— Не настаивайте на ответе, ибо я слишком чту законы гостеприимства, чтобы ответить на ваш вопрос без криводушия и лукавства, и слишком сильна во мне вера...

— Укрепленная фигляром Жоффруа?

— ...и слишком сильна во мне вера, — не замечая издевательской реплики, продолжал Бийон, — чтобы укрыть от вас свои мысли.

— Так откройте их, святой отец, откройте их! Тем более что я заранее знаю, о ком пойдет речь.

— Да, о ней, о гнусной колдунье, о сатанинской змее, свисшей гнездо в сердце рыцаря, некогда благочестивого и безупречного.

— Радуйся, монах, она уже в подземелье!

— Это ты должен ликовать, что одержал победу над бесом искушения.

— А я ликую! Я ликую, ха-ха-ха. Видит бог, как я весел. — Барон сгреб со стола серебряный кубок, мгновенно наполненный верным Ожье, и осушил его залпом.

Лицо Бийона, багрово-красное от вина и гнева, поворачивалось, излучая в зал самодовольство. Взгляд его споткнулся о Пьера, пробежал чуть дальше и вернулся. В следующий миг аббат нагнулся к Жилю де Фору и забормотал что-то ему на ухо. Хозяин замка повернулся в сторону очага, глаза его впились в Пьера. Вздрогнула и остановилась картина. Лысина дворецкого, склоненная к белому пятну на фоне резной высокой спинки. Остраненная улыбка Мориса. Изумленные брови Алисии. Туповатое любопытство в пьяных глазах графа де Круа.

— Эй, взять его! — Жиль де Фор тянул палец к очагу, а правая рука с кубком снова вознеслась к услужливому ковшу кравчего.

Пьер увидел вырезанный тенью острый кадык под серебряным донцем.

— К Урсуле его! Ей там скучно. Ха-ха-ха!

Два жарких потных тела стиснули его между собой, потащили к стене. Метнулась рука Алисии — и опустилась, перехваченная Морисом де Тардьё. За креслом хозяина скорчилась заплотой худенькая фигурка Ожье. Стало совсем тихо.

— А теперь послушаем конец твоей истории, Жоффруа, — сказал барон, отвернувшись от Пьера и опустив руку.

Что произошло дальше с Марсилием и Ганелоном, Пьер не услышал. Его вывели через вдруг обнаружившуюся боковую дверь, а потом стащили по узкой лестнице из дожины крутых каменных ступеней в подобие каменного мешка, где вместо дверей была скольз-

заящая вверх-вниз решетка из деревянных брусьев, а окон не было вовсе. При тусклом свете факела, воткнутого в железное кольцо, Пьер увидел на полу кучу соломы и ворох тряпья. Решетка рухнула, и топот стражей замер наверху.

Пьер постоял с минуту и направился было к соломе, как вдруг куча тряпья шевельнулась, поднялась над полом и обернулась скрюченной старухой, с лицом, почти совершенно закрытым прядями нечесанных длинных волос. Она отвела космы со слезящихся глаз, с едва заметным удивлением глянула на Пьера и снова опустилась на пол, сцепив грязные руки и выставив острые, прикрытые бурой мешковиной колени.

Пьер тоже сел, скосив на старуху привыкшие к полутьме глаза. Тени, пробегая по ее лицу, оживляли его, сообщая выразительность бровям и губам. Нарисованная игрой факела мимика оборачивалась живым движением, откликом собеседника, ведущего откровенный и доверительный рассказ. Рассказ этот звучал тепло и человечно под многими метрами земли и камня, хотя голос был глух и бесцветен.

— Я читаю по твоим глазам, чужеземец в чудной одежде, что тебе отаратителен вид твоей сестры по заключению,— начала старуха и, не обращая внимания на протестующий жест Пьера, продолжала голосом настолько слабым, что только безнадежная тишина подземелья позволяла Пьеру слышать ее речь.— Я расскажу тебе о своей жизни, ибо ты — последний, кто выслушает меня в этом мире. Знай, выхода отсюда нет ни тебе, ни мне: если мы не умрем от голода и жажды, то добрый барон облегчит наши муки и прервет страдания плоти и терзания душ милосердным топором или очистительным пламенем костра. Ты вздрогнул, чужеземец, ты не хочешь умирать. Ты молод. Но думаешь, я отжила свое? Знаешь ли ты, что я моложе тебя, что мне нет еще и тридцати зим? Да-да, и пятнадцать раз не пробуждалась к жизни земля по весне с тех пор, как барон увидел на охоте девочку Урсулу, плетущую венок из первоцвета. Был апрель, зеленый апрель был тогда, и барон был весел и молод, и собаки его окружили меня и лаяли, а я смеялась. Я брала их за шерсть у шеи и заглядывала в желтые глаза, и они затаили, и виляли хвостами, и лизали мне ноги. «Что ты сделала с моими собаками, девочка?» — кричал барон, а я смотрела на него и смеялась, и думала, что если я возьму его за голову, как большого пса, и загляну в его сверкающие глаза — а как они сверкали тогда, в апреле! — то он упадет на колени и, как пес, потянется к моим ногам. И когда я подумала об этом, он затих, опустил свою плетку, подошел ко мне с безумным лицом и упал на колени. Он полз за мной, сминая траву и первые ландыши и пачкая мокрой землей свои бархатные штаны. Но я убежала и спряталась. А потом все рассказала отцу, и он избил меня тяжелой рукой кузнеца. И не велел выходить из дому. А как я

могла сидеть в доме, когда пастуха Жилья укусила змея, и он распух, как подушка, и мне пришлось держать его за руку три часа, пока отравы не вышла. А потом у Марьяны были трудные роды. А еще через несколько дней кривому Гастону дикий кабан распорол живот. И никто не мог обойтись без Урсулы, а отец не пускал их в дом, и я убегала, когда он напивался и спал. Я приходила к ним и касалась их ран, и гладила живот Марьяны, и раны их затягивались, а я смотрела им в глаза, и они вытирали слезы и улыбались. Только потом мне хотелось спать, и ноги дрожали, как будто я бегом бежала от деревни до замка и обратно.— Голос старухи шелестел, становился временами невнятным, но опять обретал силу.

Когда она вдруг умолкла, Пьер насторожился — тишина стала нестерпимой.

И снова Урсула заговорила:

— Меня никто не боялся и не считал колдуньей. Все в деревне знали, что это сила перешла ко мне от матери, а к ней — от ее матери, и так было всегда. И когда капеллан из замка пьяный упал с лошади и сломал руку и долго болел, его принесли ко мне, и рука его стала здоровой к вечеру, а он сказал, что на мне лежит божья благодать. А потом капеллан увидел, как я велела нашему псу Вингу принести горшок с бальзамом, и тот принес его в передних лапах. И капеллан уже не говорил про божью благодать. Он сказал, что я ведьма, что во мне сидит дьявол и что теперь его ждет адское пламя, потому что он позволил ведьме его лечить. А меня, сказал он, надо забить камнями. Но люди не дали меня в обиду. Капеллана чуть не растерзали, но я упростила их отпустить его. А когда он уходил, я спросила, почему сын плотника Иисус мог исцелять прокаженных, возлагая персты на язвы их, а дочь кузнеца не может залечить рану своей рукой?

А потом он все-таки нашел меня, барон Жиль де Фор. Да я и хотела, чтоб он меня нашел. У него были сумасшедшие глаза и тонкие красные губы — как две змейки. Он искал меня, но никто не говорил ему, где я. Тогда он велел схватить пастуха Жилья, когда тот гнал стадо мимо замка. Он показал ему щипцы и раскаленную маску с шипами, и Жиль испугался. Барон приехал один, без слуг, без воинов. Он плакал и звал меня в замок. А мне так хотелось в замок, но я боялась отца. И я сказала, что не поеду. Тогда он сказал, что убьет отца. Он стоял и грозил, а я знала, что он его не тронет. Это сейчас он зол и морщинист, а тогда он был статен и весел, только бледен был так же, и губы были такие же тонкие, словно две змейки. Он вернулся в замок, и на следующий день я прибежала к нему сама. А отец сошел с ума и спалил кузню. Но что мне был отец! Я любила своего барона, он хохотал и говорил: ведьмочка моя. И мы были счастливы год за годом, и было таких лет десять. А потом он поехал

воевать гроб господен. Вернулся через год совсем больным. Горел весь и сох, а тут еще рана на бедре открылась — воспаленная, неза-
леченная. Смердела так, что стоять рядом никто не мог, слуги воро-
тили нос, а лекарь сказал, чтоб звали капеллана. А я приходила к
нему, ласкала его. И рана затянулась, жар спал, и сила вернулась в
его тело. А от меня сила ушла. Вся сила моя, а с ней и красота, и
молодость — все в эту рану ушло навсегда.

И мой жар пропал, и руки мои уже не исцеляют, и дух мой не
властен над человеком и зверем. А он, встав, сказал: «Уйди, Урсула.
Ступай к отцу, Ты стала старой и безобразной». А я была молодой,
пока во мне жила моя сила. Мать моя до сорока восьми лет была
свежа, как девочка, и осталась бы такой, но ласничий графа Турпена
застрелил ее из арбалета, когда она собирала травы у Круглого озе-
ра. А я стала старухой за те дни, когда лечила моего тонкогубого.
Я заплакала и пошла к отцу, но он прогнал меня. «Ты не дочь моя,
ты баронова подстилка,— кричал он,— а дочь моя Урсула давно
умерла. Она была молодой, а ты — гнусная старуха. Посмотри, как
ты безобразна». И взял меня за шею и наклонил над бочкой с водой,
которая стояла у крыльца еще с тех пор, как я жила там, и я увидела
свое лицо и испугалась, а он все наклонял мою голову, и лицо мое
уже касалось тухлой воды, а пальцы его как клещи сдавили затылок.
Но мимо проходил Жиль — пастух. Он отбил меня у старика. Но и
Жиль не узнал меня. «Оставь старуху, Кола»,— сказал он отцу. А я
подошла к нему ближе и сказала, что я Урсула. Та самая, которая
спасла его от укуса гадюки, та самая, которую он все это время
тайно любил. «Урсула умерла,— сказал пастух,— я сам убил ее».

И я вернулась в замок. Но барон не допустил меня к себе.
Только разрешил жить в дальней башне и велел меня кормить.
И с тех пор я живу без любви. Кому нужна любовь старой ведьмы...

Пьер сжался, оцепенев.

— А завтра — смерть, вечный покой, вечные муки. Барон те-
перь,— в голосе старухи появились злобные нотки,— он теперь же-
нится на племяннице этого борова Бийона. Я всегда не любила попов,
а этого ненавижу. Подлый аббат требует моей смерти, я знаю. Но
они просчитались! Ненависть вернула мне силу, я выйду отсюда и
убью их всех, убью, убью...— Старуха выла высоким голосом, и
Пьера охватил ужас.— Я снова чувствую жар в моих руках,— шипела
Урсула и тянула к нему скрюченную лапу.

Он вздрогнул от ожога. Старуха сидела неподвижно, отвернув
лицо. На его колене расплывалось пятно горячей смолы, упавшей с
факела.

И вдруг на Пьера нахлынуло неистребимое, сумасшедшее жела-
ние рассказать кому-нибудь, хотя бы этому нахохлившемуся монстру,
туло смотрящему во мрак, рассказать все-все: о неповторимом за-

паху кулис; о черной клеенке эсэсовских плащей на площади Этуаль; о том, как рвутся легкие, когда бежать уже не можешь, но бежишь; о том, как опустели глаза Базиль, когда Буше принес известие о смерти Колят; о том, как умирал Базиль и свистело его простреленное горло; о драгоценной коричневой тетради; об испуганных объятиях Бланш; о Люс, которая звонко смеялась и говорила: «Я сегодня бабочку поймала — в-о-о-т такую», — и показывала неподвижными руками.

— Я вообще считаю, что в этой затее «французского редута» к востоку от Роны много звона и мало толку. — Тяжелое лицо Дятлова в полумраке блиндажа казалось неподвижным.

Пьер сидел в углу перед ящиком с патронами и набивал пулетные диски, стараясь не упустить ни слова.

— Вы полагаете, мы вообще тут сидим зря? В чем же вы видите ошибку, господин Дятлов? — Д'Арильи вытянул журавлиные ноги и упер их в ящик, блестя на Пьера идеально начищенными сапогами.

— В месте и способе ведения боевых действий. Здесь в горах максимум на что мы годимся — это сковать несколько тысяч немцев. Разве это стоящее дело для трех тысяч партизан плюс рота альпийских стрелков?

— Могу добавить, что сегодня к нам присоединились еще остатки одиннадцатого пехотного полка и саперная рота из Армии перемирия. Они не выполнили приказа Петена разоружиться, переправились через Рону у Валанса и явились в Васье.

— Прекрасно. Однако им не следовало переправляться.

— Прикажете идти на Париж?

«Неужели, — думал Пьер, — Базиль не чувствует, что д'Арильи над ним издевается. Ведь он смеется над Дятловым, эта аристократическая каланча».

— На Париж бы неплохо, — гудел ровный голос Дятлова. — Но Париж далеко. А вот оседлать дороги от Прованса на север и рвать составы, идущие в Нормандию, — этого от нас ждут и союзники, и де Голль.

— Я непременно передам генералу, что у него такой верный единомышленник. А пока, поскольку до де Голля еще дальше, чем до Парижа, я приглашаю вас от имени Эрвье в Сен-Мартен. Сегодня в двадцать ноль-ноль. Судя по болтовне Декура, там будут обсуждаться идеи, близкие к вашим. К тому же приехал связной из Тулузы. Кстати, русская. Поэтесса. Впрочем, эмигрантскую поэзию вы, конечно, не любите.

— Где уж нам, медведям, — и добавил по-русски: «У нубийских черных хижин кто-то пел, томясь бесстрастно: я тоскую, я печальна оттого, что я прекрасна».

— Как вы сказали? Это русские стихи?

— Эмигрантская поэзия. Автор решил, что в Африке все черное, даже хихины. И у этих хихин бродит черная же, очевидно, дама, испытывая мучения, но вместе с тем оставаясь холодной. И, прогуливаясь в таком противоречивом расположении духа, упомянутая особа поет, ставя словами песни в известность случайных прохожих — разумеется, тоже черных, — что причина переживаемого ею угнетенного состояния заключается в высокой степени ее внешней привлекательности. Однако, если в двадцать ноль-ноль нас ждет Эрвье, то пора ехать. — И, надев широкий ремень с кобурой, Дятлов открыл дверь.

Изумленный Пьер смотрел ему вслед.

— Каков медведь, а? — сказал д'Арильи, когда Дятлов вышел. — Да ты в него влюбился, что ли? Смотри, станешь красным. У них там все красные, так же как в Нубии все черные. — И довольный, д'Арильи вышел вслед за Дятловым, оставив Пьера набивать пулетные ленты.

Из дома Эрвье, где помещался штаб, расходились уже близко к полуночи. Было тихо. Немцы не стреляли, только изредка пускали ракеты. Дятлов стоял у палисадника и ждал Сарру Кнут — связного из Тулузы, чтобы проводить ее в дом Колет. Оттуда обе женщины завтра утром отправятся на запад. Так решил Эрвье. Маленькую Бланш Дятлов отвезет мадам Тибо — старуха не откажется взять внучку. При мысли о том, что Колет уедет, Дятлов испытывал жалость, почти страх: она попадет в самое логово немцев, а его с ней не будет.

Сарра Кнут вышла вместе с полковником. Эрвье подвел ее к Дятлову и сказал:

— Базиль, скажете Денуру, чтобы он вывел женщин к дороге на Шатильон. У заставы их встретит Буше, там они останутся до ночи. Затемно он выведет их к Дрому и переправит на тот берег. До Монтелимара они пойдут одни, а оттуда через Ним поедут в Тулузу, если поезда еще ходят. Проститесь с Колет и возвращайтесь к себе — бо-ши что-то зашевелились. Клеман принял радиogramму от Сустеля. По их данным, к Веркору движется танковая дивизия Пфлаума. Предполагают, что в Гренобле ее переформируют, пополнят из резерва и направят в Нормандию. Вряд ли они будут с нами связываться, но...

Эрвье поцеловал руку Сарре, махнул Дятлову и исчез в доме.

В лунном свете Сарра казалась моложе, чем когда он увидел ее в штабе. Тогда он дал ей лет пятьдесят: лицо болезненное, с черными подглазьями, волосы почти седые, голос низкий, хотя и звучный. Говорила она немного медленнее француженок, не по незнанию

языка, конечно, а, видимо, по складу характера, с некоторой обстоятельностью и московской округлостью. Сейчас она молчала, и профиль ее был чист и молод.

— Сколько вам лет, Сарра? — спросил он по-русски.

— Узнаю соотечественника. И не только по языку. Ни один француз не спросит женщину, даже такую старуху, как я, о ее возрасте. Мне сорок. Но уж коли мы говорим по-русски, то называйте меня и настоящим моим именем — Ариадна. Ариадна Александровна Скрябина.

— Дятлов, Василий Платонович. А почему Сарра Кнут? Впрочем, это не мое дело.

— Я не делаю из этого тайны. Я пишу, вернее, писала стихи. А имя отца слишком ко многому обязывало.

— Скрябина? Александровна? Так вы — дочь?

— Да, его дочь.

— И давно вы во Франции?

— С восемнадцатого года. Мне тогда четырнадцати не было. Но Россию помню. Больше всего Москву. Арбат, Пречистенку. Кончится война, поеду в Москву. А вы откуда родом?

— Я из поморов. Но учился и жил до войны в Ленинграде.

— Как Ломоносов. Вы случайно не физик для полноты сходства?

— Именно физик. Правда, очень односторонний. Мозанкой не занимаюсь, стихов не сочиняю. Но люблю и слушаю с удовольствием. Прочтите что-нибудь свое.

— О, момент не слишком располагает к стихам, но... Вы первый человек отсюда, который услышит мои стихи.— И она негромким, но внятнм низким голосом произнесла, почти пропела:

Московская земля.

Реки излучина.

А в памяти гудят колокола.

С какою силой я сегодня поняла —

Судьба и время

неразлучны...

Когда она кончила читать, Дятлов помолчал, а потом попросил еще.

— В другой раз, вы не обижайтесь. Я сейчас не могу.

Колет уже легла. Она выскочила в рубашке, с торчащими, как у подростка, ключицами и прильнула к Дятлову, не замечая его спутницы.

— Базиль, Базиль, какой ты молодец, что пришел. Ты голодный? Ой, здравствуйте, проходите, сейчас я зажгу свет, только опущу шторы и закрою Бланш. Пойди, Базиль, посмотри на нее. Она сегодня так плакала. Мишо сказал, это зубки режутся.— Колет говорила без остановки.

Такой и запомнил ее Дятлов — в белой полотняной рубашке, полуробенка, смотрящую обращенными вверх, в его лицо, заспанными глазами и бормочущую быстро-быстро: «Она так плакала... зубки режутся...»

Восемь дней он ничего не знал о ней, а на девятый, когда немцы уже перекрыли все проходы и танки Пфлаума, двигаясь от Гренобля на юг, утюжили деревню за деревней, подползая к рубежу Сен-Мартен — Васье, на правом фланге которого держал оборону отряд Дятлова, к нему пробрался Буше и рассказал, что Колет, Сарра и еще четыре франтирера были схвачены в Тулузе во время облавы. Колет застрелили при попытке вырваться, остальных забрали гестаповцы.

Взвизгнув, решетка поползла вверх, и Пьер очнулся. Этот звук после стольких часов тишины — неужели ночь прошла? — показался и страшным и желанным. На пороге возникли те же два воина. Потоптавшись, один из них буркнул беззлобно, даже с некоторым, как показалось Пьеру, сочувствием:

— Ну, Урсула, надо идти.— А потом Пьеру, уже безразлично: — Вставай.

Старуха молча шагнула в проем за решетку. Пьер вышел следом и увидел, вернее почувствовал по метнувшемуся свету и короткому шипению, как страж выдернул факел из кольца и швырнул в воду. Ступеньки были высокими, Урсула подхватывала расползающиеся тряпки, тонкие грязные лодыжки мелькали перед глазами Пьера. На последней ступеньке она обернулась и сказала громким хриплым шепотом:

— Это конец, чужеземец! Готовься к смерти, молись своему богу!

Пьер попятился. Но старуха уже мчалась вперед.

Коридоры замка были темны. Оранжевые пятна редких факелов создавали иллюзию сна, и Пьер шел легко и плавно. Реальность вернулась ярким солнечным светом, заливавшим двор, где широким кругом стояли слуги, воины, монахи, дети. Взгляд вырвал из толпы знакомые лица. Вот испуганно поникшая мордочка Ожье рядом с бородачом-гигантом, который вчера волочил на аркане босоногого оборванца. А вот и сам оборванец, но руки его уже свободны, и в глазах не мука, а живое гнусное любопытство. Разбойник-поп с красными наливными щеками высунулся из толпы своих зеленокафтаных приятелей, а за его плечом маячит Крошка, приоткрыв щербатый рот. Здесь же на корточках пристроился паж Алисии, а рядом — полненький олень, как его, ах да, Жермен. И тучный дворецкий, и вертлявый Жоффрау... Отдельной группой на небольшом помосте стояли хозяин замка, аббат Бийон, граф де Круа, Алисия Сен-Монт и Морис

де Тардые. Низко нагнув капюшон, в смиренной позе застыл перед аббатом рыжий монах в веревочных сандалиях.

В центре круга подобно вершушкам прясел торчали из куч хвороста два столба. Рыжий монах подошел к Урсуле и что-то забормotal, суя ей крест. Напряженная спина старухи не шелохнулась. Стражи медленно повели ее к одной из куч, на скате которой Пьер заметил широкую доску с набитыми поперечинами — нечто вроде трапа, ведущего к столбу. Старуха покорно ступила на трап. Пьер смотрел на нее как завороченный и не сразу понял, что монах с крестом уже стоит перед ним и шевелит толстыми губами. Урсула сбросила драный балахон и осталась в тонкой белой рубахе. Она прижалась спиной к столбу, и пока стражи обматывали ее веревкой, Пьер успел увидеть, как под отброшенными ветром седыми волосами гордо блеснули глаза.

Справа и слева, качаясь, поплыли лица, куча хвороста выросла и заслонила небо. Две сильные руки подперли поясницу и вознесли его, вновь открыв голубое окошко. Ноги в рифленых туристских ботинках уцепились за шершавый дощатый скат.

— Им номине патрис эт фили эт спиритус санкти...

Позвоночник и затылок уперлись в столб.

Две серые приплюснутые фигуры медленно приближались к горе хвороста. Прозрачный огонь факелов едва виден в солнечном свете. «Какой бездарный конец», — подумал Пьер и закрыл глаза.

— Стоп! Стоп! Все не так! Что за чучело мне подсунули? Помощника ко мне! Костюмера! Где помощник, я вас спрашиваю?

Истошный голос неся снизу. Пьер открыл глаза. Маленький патлатый человечек неистово рубил ладонью воздух и топал деревянными башмаками по древним плитам замкового двора.

Невесть откуда явился длинный нескладный мужчина в серых помятых штанах, в детских сандалиях с дырочками и начищенном медном шишаке. Он замер перед патлатым, приоткрыв рот и быстро двигая кадыком.

— Кто это? — визжал человечек, тыча пальцем в Пьера.

— Н-не знаю, — выдавил длинный, хлопая ресницами.

— А кто знает?

Длинный молчал.

— Что ни день, то скандал. Вчера какой-то хулиган палил из пицали по Лонгибуру. Пицаль в двенадцатом веке! А этот откуда взялся? Кто его одевал? Где костюмер?

Из толпы выдвинулась хрупкая девушка в платье служанки.

— Ваша работа? — Патлатый мотнул головой в сторону Пьера.

— Нет, — тихо ответила девушка.

— Так кто смеет мне мешать, черт побери! — Он быстро пере-

ступал деревянными подошвами, переходя в гневе с фальцета на бас и обратно.

— Видите ли, Реджинальд Семенович,— начал было длинный, но человек остановил его жестом.

— Давайте его сюда,— сказал он устало.— И ее тоже.

Веревки отпустили обмякшее тело. Пьер сполз по хворосту.

— Кто вы такой? — спросил Реджинальд Семенович.

— Я Пьер Мерсье.

— Какой еще Мерсье,— застонал патлатый.— Урсула, звездочка моя, откуда он взялся?

Пьер оглянулся на старуху. Но старухи не было. Молодая горбоносая красавица с живым интересом смотрела на него желто-кари-ми глазами.

— Понятия не имею, котенок. Я думала, это твой новый ход.

— Господи, какой еще ход! Белены вы объелись, что ли? И вы, и вы...— Реджинальд Семенович тыкал пальцем в тихо приблизившихся Жюль де Фор, Мориса де Тардьё, Бийона, Алисию.— Так кто же вы такой все-таки? — Он снова повернулся к Пьеру.

— Я уже сказал, мое имя — Пьер Мерсье. Могу только добавить, что я мирный путешественник. А вы кто?

— Я? — задохнулся человек.— Вы не знаете меня? — Он взглянул на Пьера с неподдельным изумлением. Потом приподнял подбородок, слегка наклонил голову и произнес с расстановкой: — Я — Реджинальд Кукс.

— Видите ли,— сказал Пьер,— я прибыл из такого далека, что ваше имя вряд ли что скажет мне.

Лицо длинного в шашке исказилось в приступе суеверного ужаса. Он наклонился к Пьеру и громко зашептал:

— Бог с вами, это же Реджинальд Кукс, главный режиссер Второй зоны Третьего вилайета.

— Режиссер? Вилайета? — Пьер с трудом ворочал мозгами.— Простите, меня только что хотели сжечь, и я как-то еще не совсем...

— Вот что значит вжиться в образ! — восхищенно пробормотал аббат Бийон.

— Но ведь как будто к тому и шло,— сказал Пьер, слабо улыбаясь.

— К тому шло,— повторил Жюль де Фор,— ха... ха... — И он зашелся тяжелым басом.

К нему присоединился завистливый дискант Реджинальда Семеновича Кукса, главного режиссера Второй зоны Третьего вилайета. Через секунду грохотала вся площадь: визжали мальчишки во главе с Ожье, ржали парни в зеленых кафтанах, церковным колоколом бухал разбойник-монах, сверкая зубами, смеялась Урсула, а Алисия, держась рукой за бок, вытирала глаза розовым кружевным платоч-

ком. Последним пришел в движение длинный в шмшаке. Его тонкое бляение разнеслось по двору, когда другие уже затихали.

Отсмеявшийся Кукс вновь подступил к Пьеру:

— Так откуда вы прибыли, мирный путешественник?

— Из этого... Из Форж-лез-О.

— Ничего не понимаю,— скривился Кукс.— А вы, Аристарх Георгиевич?

Длинный изобразил скорбную мину.

— Стойте, кажется, я знаю.— К ним, тряся полами коричневой рясы, пробирался монах. Его круглые пуговичные глаза светились.— Как же я сразу не понял, что это за штука,— говорил он.— Отсутствии движителей...

— Какая штука? — спросил Кукс.

— По-моему, этот парень пришлепал к нам из другого времени.

— Что? Как? — Кукс даже привстал на цыпочки.

— Это правда,— сказал Пьер.— Но ради бога, скажите, какой у вас век?

Все растерянно молчали. Первым откликнулся Аристарх Георгиевич:

— Шестой век Великой эпохи.

— Скажите, э... от рождества Христова это сколько?

Монах посмотрел на Пьера с удивлением и ответил:

— Двадцать пятое столетие, семьдесят восьмой год.

— Двадцать пятое! — закричал Пьер.— Все-таки двадцать пятое! Боже правый, значит, машина... значит, Дятлов... мы!... — И он замолк, жадно озирая обступивших его людей.

— А откуда же вы, если не секрет? — Аристарх Георгиевич от нетерпения переступал с ноги на ногу.

— Из двадцатого. Вот к вам...

Реджинальд Кукс присвистнул:

— Экая даль. Надо отдать вас в хорошие руки. Аристарх Георгиевич, любезный, свяжите нас с Агентством по туризму.

— Сию минуту.— Помреж снял сверкающий шмшак и, пристроив его под мышкой, крупно зашагал прочь. Все между тем сделались очень ласковыми к Пьеру. Морис де Тардые положил ему руку на плечо и говорил, что глубоко сожалеет о резких словах, сказанных им тогда на поляне. Алисия крутила пуговицу на куртке Пьера и восклицала:

— Подумать только! Ну просто не могу себе представить!

Тут снова показался Аристарх Георгиевич. С ним шел молодой человек в белой блузе и белых штанах. Он приветливо глянул на Пьера:

— Меня зовут Гектор. Мне выпала честь сопровождать дорогого и почетного гостя, многоуважаемый...

— Пьер Мерсье,— сказал Пьер.

— Многоуважаемый Пьер Мерсье. А сейчас не желаете ли отдохнуть с дороги?

Они шли по красной каменной галерее. Сквозь щели густо лезла трава. Провал слева внизу — сплошное зеленое буйство. «Джунгли какие-то»,— подумал Пьер.

— Такой пейзаж нынче моден,— пояснил Гектор.

Второй день этот голубоглазый красавец сопровождал Пьера повсюду.

— Скажите, я сделал ошибку? Мне не следовало прилетать?

— Нет, Пьер, вы не сделали ошибки,— равно, дружелюбно сказал Гектор.— Я представляю вас членам Совета, вашему делу дадут ход. А вы пока отдыхайте.

Показалась низкая дверь из разошедшихся досок, схваченных фигурными железными полосами. Гектор взялся за ржавое кольцо. Из открывшейся темноты пахнуло погребной сыростью.

— Прошу,— сказал Гектор.

Пьер согнулся и шагнул. Еще шаг. Брызнул свет. Большой белый мяч летал под низким синим небом. Несколько девушек бросились к ним навстречу.

— Это Пьер,— сказал Гектор.— Он из двадцатого века.

Всеобщий вздох изумления. Но не чрезмерного, как показалось Пьеру. Одна — кареглазая, красивая — подошла ближе. Впрочем, они все были красивыми. Пьер растерянно молчал.

— Меня зовут Полина,— объявила кареглазая.— Или просто Ина.

— А меня Елена,— сообщила смуглянка в голубой тунике.

— Пьер.

— Да, я уже знаю.

— Откуда?

— От Гектора. Он же только что вас представил.

— Ох, правда.

Его окружили, забросали вопросами.

— Вы видели когда-нибудь Пруста? А правда, что Набоков всегда жил в гостиницах? А Маяковский... Фолкнер... Бруно Травен... А Хлебников... О, Хлебников!

— Да бог с вами,— отбивался Пьер,— я многих этих имен и не слышал. Я, знаете ли, далек от литературы. Пруста, правда, читал, но видеть не мог — он ведь умер, когда меня еще на свете не было. И вообще я всю жизнь, если не считать войны, прожил в одном городе, в Париже...

— Париж! — вздохнула Полина.— Ах, вы расскажете нам о тогдашнем Париже.— Она тронула его за руку и произнесла с чувст-

вом: — Пьер, правду скажи мне, скажи мне правду, я должна, я хочу все знать!

Пьер испуганно отшатнулся.

— Да что вы, голубчик. Это же Превер. О нем вы слышали?

— Превер? — обрадовался Пьер. — Превера я знал, — добавил он тихо, но в это время другая девушка, та, что спрашивала о Маяковском, запрокинув лицо, спасенное от чрезмерной красоты слегка вздернутым носом, вдруг продекламировала:

А может, лучшая потеха
перстом Себастиана Баха
органного не тронуть эха...

— А меня больше всего интересует Станислав Лем, — сказала девушка по имени Асса.

— Кажется, я где-то слышал это имя.

— Всего лишь слышали? То, что вы говорите, ужасно. — И она ушла.

— Ну вот, навалились на бедного путешественника, — сказал Гектор. — А он еще не пришел в себя после темницы Жюль де Фора.

— Почему темницы? — спросила курносая.

— Какая темница? — подхватил хор.

— Пьер вынырнул из времени совершенно неожиданно и угодил в поле «Славное игрище в Лонгибуре». Там его приняли за лазутчика, введенного Куксом для оживления игры, и с радостным усердием водворили в подземелье.

— Какой ужас! — прошептали девушки.

Пьеру, впрочем, показалось, что их шепот-возглас был слишком мелодичным, чтобы выражать искреннее беспокойство.

— Бедняжка, — сказала Ина. — Вы, должно быть, очень перенервничали.

— Ничего страшного, — бодрился Пьер. — Все было очень интересно. Пока меня не потащили на костер...

— Ах, костер! Ай, ай! — Лица девушек выражали совершенное сочувствие.

— Ина, — сказал Гектор, — мы идем к Харилаю. Не знаешь, где он?

— У него роль механика в «Среде». Фу, там дышать нечем, надеюсь, вы туда ненадолго. Возвращайтесь потом к нам! Ну пожалуйста!

Девушки, кланяясь одна за другой, побежали вверх по косогору. И только смуглянка в тунике смотрела вслед Гектору и Пьеру.

— Они тоже во что-нибудь играют? — спросил Пьер.

— Конечно. Игра называется «Матушка филология».

— Странное название. Что же они делают?

— Пишут. Литературные манифесты, критические статьи. Приду-

мывают школы, течения. Дают им имена. Назовут, скажем, одних романтиками, а других — утилитаристами. А потом бьют романтиков за безответственное стремление к безграничной свободе и неумную жажду обновления, а утилитаристов — за близорукое пренебрежение высокими страстями и легкомысленное неприятие мировой скорби.

— И этим занимаются такие славные девушки?

— Да, они зубастые. Играют весело, от души.

Они вернулись к дверце, которая с этой стороны оказалась похожей на легкую садовую калитку. Пьер доверчиво шагнул в темноту, ожидая увидеть уже знакомую каменную галерею и глухие заросли. Но вместо этого он очутился на сером асфальте у гранитного парапета, за которым свинцово лоснилась вода, играя чешуей нефтяных пятен.

— Не удивляйтесь, дружище. У нас особые двери. Они свертывают пространство, сразу соединяя нужные точки. Сейчас мы в поле игры под названием «Среда, среда, среда...».

На другой стороне реки за таким же парапетом громоздились здания. Часток труб, напоминающий гигантский крейсер, закрывал горизонт. Черно-белые столбы дыма вырастали из них и густо вспучивались под низким облачным небом.

— Здесь играют в отсталую индустрию,— говорил Гектор.— Наиболее увлекательные пассажи — отравленные реки, порубленные леса, изведенное зверье. Красные книги, штрафы, дебаты о безотходной технологии, проповеди об озоне, под шум которых живая природа потихоньку уступает место окружающей среде.

На той стороне приоткрылась дверь в бетонной стене и показался человек в спецовке. Пьер и Гектор столкнулись с ним на середине чугунного моста.

— Здравствуй, Харилай,— сказал Гектор.— Это Пьер из двадцатого века.

Харилай протянул тяжелую руку. Пожимая ее, Пьер заметил большой гаечный ключ, торчащий из кармана потертого Харилаева комбинезона. Механик улыбался озабоченно и вопросительно.

— Да, он прилетел,— сказал Гектор,— и мы сами не знаем, как.

От Харилая исходила какая-то основательность. Пьер вдруг подумал, что этот человек поможет ему. И пока Гектор излагал существо просьбы Пьера, тот впивался глазами в лицо Харилая, стараясь прочесть его решение и в то же время внушить ему ответ.

— Это очень серьезное дело,— веско сказал механик.— По всей видимости, придется...

Пьер почувствовал, что задыхается.

— ...придется безотлагательно сыграть во Всемирный Совет.

Они возвращались в игру Гектора «Агентство по туризму».

— Пора обедать,— сказал Гектор.— Какую кухню предпочтете сегодня, дружище?

— Все равно.

— Напрасно, напрасно. Я вижу, последние слова Харилая оставили у вас неприятный осадок. Ну ничего. Ресторан «Сакартвело» — вот что поправит вам настроение. Застолье грузинских князей.

Ближайшая дверь вывела их в платановый лес. Дощатый стол на небольшой поляне был уставлен тонкогорлыми глиняными кувшинами. Многоцветье фруктов и овощей напомнило Пьеру сентябрь где-нибудь в Савойе. За столом сидело с полдюжины усачей в наглухо застегнутых красных рубахах и схваченных тонкими поясами темных кафтанах с расходящимися полами. Раздались шумные крики. Один из пировавших, худой, легкий, как перышко, взвился навстречу.

— Добро пожаловать, гости дорогие! — закричал он, топорща усы и вращая зрачками горячих глаз.

Пахло ароматным дымом: в стороне над открытым очагом на огромном вертеле жарился баран. Пьеру сунули в руки костяной в серебряном окладе рог, полный красного вина, пододвинули завернутые в тонкую лепешку ослепительно белый сыр и пахучую умытую траву.

— Кушай, дорогой,— сказал сосед, горбоносый смуглый старик.— Гость в доме — радость в доме. Здоровье дорогого гостя.— Старик поднял свой кубок.

Пьер ел дымящуюся баранину, запивал ее нежным вином. Ему было хорошо.

В самом маленьком духане
ты товарища найдешь.
Если спросишь «Телнани»,
поплывет духан в тумане,
ты в тумане поплывешь...

И Пьер подтягивал за тягучим тенором:

Тайе-тайе-тайе-воте-тайе-йа...

Замирал, когда врывался бас:

Дын-ды-лава...

Гектор рассказывал пирующим про маленькую Люс. Князья смотрели на Пьера маслинами глаз, кечали головами и цокали языком.

— Сколько же у вас игр?

— Много. Очень много. Не знаю точно. Впрочем, детали касаются тех, кто играет в статистику,— ответил Гектор.

— Интересно бы узнать их названия.

— Почему же только названия? Можно и посмотреть, и поиграть. Для начала могу познакомить вас со списком игр нынешнего сезона. Хотите?

Гектор подошел к ближайшему толстому дереву и, найдя дупло, удовлетворенно хмыкнул. Запустил руку в темную дыру и протянул Пьеру свернутый в трубочку лист бумаги.

— Изучайте.

Пьер уже давал себе зарок не выказывать удивления, однако вид у него был озадаченный.

— Все та же свертка пространства,— пояснил Гектор.— Дупло сыграло роль дверцы между моей рукой и библиотекой Совета нашей зоны.

— Но почему там оказался именно нужный вам список?

— Та же телепатия, только на железных принципах биомашинной технологии.

— Понятно,— неуверенно пробормотал Пьер и развернул пожелтевший листок. В десятке столбцов рукописной вязью теснились слова.

— Не удивляйтесь виду списка. В быту никто не желает иметь дело с кристаллами, голографией и прочей головомолной техникой. Всем подавай фольклор в коже с серебряными застежками или пергаментный свиток.

— И на всех хватает?

— Справились. Дома книг у нас в общем-то нет. Разве что в играх, где это необходимо. А так — протянул руку к ближайшей дверце и взял нужную книгу в библиотеке. Они там продублированы в соответствии со средней частотой запроса.

— Одним словом, в книги вы тоже играете.

— Угадали. Есть и такие игры, «Пожар в Александрии», например, или «Имба-читальня».

— Имба?

— Так назывался древний русский дом.

— А почему читальня?

— Когда-то в России шла борьба с неграмотностью — постойте, это ведь было как раз в вашем веке,— и книги, насколько я помню, хранились в бревенчатых домах — избах...

— Вот эта игра,— сказал Пьер, просматривая список. В том же столбце он прочел:

Трансвааль в огне
Дирижабль Нобиле
Белый квадрат на белом фоне
Базар в Коканде
Маки
Большой футбол...

Пьер поднял голову.

— Тут все двадцатый век?

— Да, а вот двадцать первый.— Гектор провел пальцем по строчкам: — Экологический коллапс, Мафусайлов век, Марсманские хроники... А вот двадцать второй, двадцать третий...

Взгляд Пьера блуждал по листку, выхватывая разбросанные по векам игры: Ронсевальское ущелье, Тысяча видов Фудзи, ГЭС на Замбези, Бирнамский лес, Лагерь таборитов...

— А это что? — воскликнул он вдруг, возвращаясь к двадцатому веку.— Макй! Вы играете в макизаров? Это про наше сопротивление бошам?

— Да, а чему тут удивляться? Двадцатый век у нас в почете. Он признан одним из переломных в истории. Хотите посмотреть «Макй»? Правда, это в другой зоне, у нас в этом сезоне все больше по русской истории.

— Да. То есть нет. Не сейчас, по крайней мере.

В окоп, где сидели Дятлов, Декур и Пьер, прыгнул д'Арильи, умудрившийся сохранить щегольство даже во время непрерывных боев последней недели. Он шел в штаб к Эрвье и решил дожидаться темноты. Д'Арильи немедленно схлестнулся с Декуром, а мрачное молчание Дятлова, ради которого — это уже начинал понимать Пьер — аристократ всегда разглагольствовал, подливало масло в огонь.

— Попран рыцарский дух, веками, как драгоценное вино, сохраняемый цветом европейских наций, оберегаемый от тупых буржуа, темного пролетариата, извращенных интеллектуалов...

— Добавьте сюда плутократов, евреев и коммунистов,— вставил Декур,— и Геббельс будет вам аплодировать.

— Безвкусно манипулируя символами, рожденными в служении богу и чистой любви, Гитлер опошлил идею рыцарства, низвел священные ритуалы на уровень балагана.

— И это все, что вас не устраивает в нацизме? Будь они пообразованней, поутонченней, средневековые побрякушки не тасовались бы с такой наглостью, это не травмировало бы ваш вкус, и фашизм бы вас устроил, а? — Декур начинал распалываться.

— Не придирайтесь, Жак. Я бьюсь с ними от имени светлых идеалов рыцарства.

— Вы бьетесь с варварством сегодняшнего дня от имени варварства прошлого.

— Ого! А вы? Я-то знаю, за что умру. И знаю, как это сделать — у меня хорошие учителя: Тристан и Гавэйи, Роланд и Ланселот, Сид и...

— Зигфрид.— вставил вдруг Дятлов.

— Да, и Зигфрид.

— Вот и славно, д'Арильи. Вот и договорились.— Декур говорил беззлобно, но с неприязнью.— Вас не переубедишь, а вот Пьеру, которого вы пичкаете рассказами о славном французском рыцарстве, неплохо бы понять, что феодальная символика фашизма не случайна. Есть в рыцарском кодексе та апология ограниченности, которая питает нацизм. Причем немецкое рыцарство так же мало отличается от французского, как люди Кальтенбруннера от говорорезов Дарнана.

Д'Арильи резко выпрямился, и его узкая голова поднялась над бруствером.

— Спрячьте голову,— сказал Дятлов.

— Хотя бы в храбрости вы не откажете французскому рыцарю?

— Не откажем, не откажем,— заторопился Дятлов,— нагнитесь только.

— А умирать надо без звона, д'Арильи.— Декур перевернулся на спину и принялся задумчиво жевать травинку.— Вы спрашивали, во имя чего я согласен умереть? Видите ли, я склонен смотреть на себя, как на лист большого дерева. И если лист отрывается и падает на землю, он удобряет почву. Качество почвы зависит от качества упавших листьев. А чем плодороднее земля, тем прекрасней будущий лес. Будущий, д'Арильи!

— Этак вы договоритесь до того, что во имя будущего процветания надо угробить как можно больше хороших людей,— нашелся д'Арильи.

— Надо не надо, а в истории так и получается.

— Ну, а вы, Дятлов,— д'Арильи не выдержал и обратился к нему прямо,— вы, конечно, согласны с нашим собратом-марксистом? Что скажете?

— Скажу, что справа в трехстах метрах танки.

Пьер увидел несколько коробочек с лягушачьей камуфляжной раскраской. За ними густо шли эсэсовцы.

— Не менее роты,— сказал Декур.

— Давайте лучше посмотрим базар в Коканде. Или вот — «Коммунальная квартира». О чем это?

— Забыл. Школьные знания быстро забываются.— Гектор смутился.

— А играм учат в школе?

— Не совсем так. Школа и сама игра. Вернее, часть ее. Игра шире. Ведь игра — это жизнь.

— Возможно, вы правы,— сказал Пьер.

— А знаете, как называлась моя начальная школьная игра? «Розовый оболтус». — Гектор от души хохотнул. — В средней школе я играл в «Чуфетину», а вот высшая называлась вполне серьезно: «Пилигрим с Альтира». Нас учили этике общения с пришельцами. Ох и весело же мы играли! И знаете, кто был отчаяннее всех, тот многого достиг. А кто смотрел в рот учителям и хватал пятерки, те оказались в сетях привычных, проверенных знаний, разучились спорить. А когда спохватились, хотели выпутаться — было поздно. У нас даже закон был, преследующий дидактиков, заглушающих творческие задатки малышей. Ну вот, однако, и базар. Заглянем, а там и в «Коммунальную», согласны?

Пьер кивнул. Они прошли ворота, выбеленные известью, и окунулись в цветную, громкую, жаркую круговерть. Кричали люди и ослы, пели нищие, с минарета плыл самозабвенный голос муэдзина. Горы груш истекали желтым соком, светилась покрытая белым пухом айва, бугристые комья винограда всех цветов — от янтарного до сине-черного — нежно тяжелели в тазах. Маленькими египетскими пирамидами громоздились курага и урюк, барханам изюма, арахиса, грецких орехов не было конца. Торговцы в тубетейках и стеганых халатах, перехваченных пестрыми треугольными косынками, тягуче покрикивали, таскали бесконечные корзины, а чаще, скрестив ноги в благодатной тени просторного навеса, неспешно тянули чай из надтреснутых пиал. Пьеру захотелось пить, но Гектор, предупреждая его желание, уже вел его к чайханчику. Коричневолицый старик в грязной чалме щепотью насыпал чай в пузатый фаянсовый чайник с надбитым носиком, налил кипятку и, передавая напиток Гектору, глянул на них из-под бровей. Пьера поразила кроткая мудрая печаль его выпуклых глаз.

Гектор макрошил в тарелку белую лепешку, и они принялись за чай. Все вокруг было в движении, один осел как вкопанный стоял посредине площади. На осле сидел молодой человек с реденькой бородкой. Босые пятки его утопали в белой пыли. Он громко по-нукал животное, но то не желало двигаться. «Вот говорят, ишак — глупое создание, — весело выкрикивал молодой человек, — но этот ишак совсем не глуп, если не хочет унести меня из ваших несравненных мест!» Толпа смехом встречала каждое его слово.

— Ну как, хорошо передана атмосфера? — спросил Гектор, когда они покидали базар.

— Я не знаток Востока, но впечатление ошеломляющее.

Гектор был доволен.

— А какую помощь вы оказали бы нам, сделав замечания по играм, вам близким. Представляете, как драгоценна критика очевидца, скажем, того же движения Сопротивления для постановщика игры?

...Дятлов отбросил ненужный пистолет и тяжело опустил руки. Они приближались не спеша. У одного — лицо молодое, румяное, с рыжей щетиной. Другой — постарше, побледнее, в очках. Дятлов стал различать слова.

— Ты посмотри на него, — говорил молодой, — какая бандитская рожа. Такого и брать не хочу. Шлепну, и все.

— Давай, Фриц, давай, — улыбаясь, ответил бледный.

Молодой немец поднял автомат.

«Надо же — Фриц. Имя-то какое — нарицательное», — подумал Дятлов. Он сжал зубы, каменея желваками щек.

— Господа! — раздался вдруг звучный голос.

Дятлов вскинул веки. Немцы непроизвольно оглянулись. В десяти шагах позади них стоял д'Арильи.

— Падайте, Базиль! — закричал он.

Автомат в его руках затрясся.

— Откуда вы? — спросил изумленный Дятлов, когда стрельба смолкла. — Почему вы не в штабе?

— Потом, потом, — бормотал француз. — Надо уходить, немцы рядом.

Они подобрали автоматы убитых и быстро зашагали к отряду.

— До Эрве я так и не дошел. Возвращался к вам и...

— Понятно. Но зачем вы крикнули «господа»!

— Не могу стрелять в спину, — сказал д'Арильи.

Вечером Пьер развел маленький костер. Декур раздобыл бутылку сидра и, наливая Дятлову, сказал:

— Базиль, я слышал о твоём чудесном спасении. За тебя!

— Ну нет, — возразил Дятлов. — За рыцаря д'Арильи! Вот кто был сегодня на высоте.

И Пьер уже во второй раз выслушал во всех подробностях историю о том, как потомок графа де Круа спас потомка крепостных князя Юсупова.

— Это судьба, Дятлов, — сказал д'Арильи. Красный свет причудливо играл на его длинном лице. — Амор фати.

Дятлов хмыкнул, потом спросил:

— Ницше?

— Да, Ницше, Шпенглер.

— Фашистская философия.

— Бросьте, Базиль. Эта ваша склонность к хлестким эпитетам.

Они неприложимы к большим мыслителям.

— К Ницше — может быть. Но Шпенглер — это уже полный распад.

— Шпенглер предельно честен: он предчувствует распад Европы и пишет о нем.

— И вы верите в это, д'Арильи!

— Это факт. У нас нет будущего, Базиль.

— За что же вы тогда сражаетесь?

Француз пожал плечами.

— Ах да, вы уже говорили. Так вы цените Шпенглера за честность?

— Несомненно. Кроме того, он тонкий мыслитель и блестящий стилист.

— Но разве не стал он идеологом немецкого фашизма? И не говорите мне, что я смешиваю нацизм с немецкой культурой. Та борозда, которую распахал Освальд Шпенглер, очень удобна для прорастания нацистских идей: судьба, противостоящая причинности, общность крови, инстинкт мужчины-солдата, этика хищного зверя...

— О, вы знаток,— сказал д'Арильи.

— Кстати, наиболее интересное, что у него есть — идею замкнутых, умирающих культур,— Шпенглер заимствовал у Данилевского. Так что напрасно он считал себя Коперником истории.

— Данилевский? Никогда не слышал такого имени.

— Данилевский писал о подобных вещах еще в прошлом веке.

— Я думал, вы физик, Дятлов, а вы, оказывается, философ.

— Я всю жизнь занимался проблемой будущего,— ответил Дятлов,— а это и физика, и философия. Шпенглер назвал дату смерти Европы — 2000 год. Меня интересуют другие сроки. Я хочу знать, что будет через тысячу лет. Более того, я хочу увидеть это собственными глазами. И я думаю, мое желание выполнимо.

— Вы, русские, большие оптимисты,— сказал д'Арильи.

Они стояли перед высоким угрюмым домом.

— Нам сюда.— Гектор толкнул тяжелую створку.

На лестнице было сумрачно. Пахло кошками. Сквозь пыльные окна с остатками витражей пробивался серый свет. Они поднялись на третий этаж и остановились у облупленной бурой двери, край которой был густо усыпан кнопками. Гектор долго изучал подписи под кнопками, потом нажал на одну четыре раза. Никто не открывал. Гектор помешкал и нажал еще раз. В недрах квартиры что-то пискнуло, дверь дрогнула и открылась. Седая полная дама в халате с красными драконами молча смотрела на них.

— Мы к Николаю Ивановичу,— робко сказал Гектор.

Дама посторонилась. Гектор и Пьер вошли в пахнущий керосином и капустой полумрак. Пока они искали дорогу в темных закоулках, Пьер дважды стукнулся о сундуки, запутался в сыром белье и сбил плечом велосипедную раму. Жилье Николая Ивановича — узкая непомерно длинная комната с высоченным потолком — оказалось в конце сложной сети коридоров. Хозяин сидел у един-

стенного окна за столом, рабочим и обеденным одновременно. На углу его стыл стакан бледного чая. Меж грудями книг и стопками исписанных листков голубоватой бумаги выглядывали кусок затвердевшего сыра, банка с остатками варенья, плетеная тарелочка с растерзанным хлебом. Бритый человек в круглых железных очках близоруко сощурился, протягивая мягкую сильную руку.

Выслушав историю Пьера, Николай Иванович задумался. Гектор и Пьер сидели на шатких стульях, а хозяин, стоя у стола, рассеянно ворошил бумаги. За стеной плакал ребенок. «Несчастье ты мое»,— явственно произнес высокий женский голос. Грянули в дверь, раздался зловещий крик: «К телефону!» Пьер вздрогнул.

— Простите,— сказал Николай Иванович, выходя.

Вернувшись через пять минут, он сконфуженно объяснил:

— Домоуправ. Просит, чудак, чтобы я жильцам лекцию прочитал. О международном положении.— Он сокрушенно махнул рукой, забарабанил по столу. Потом воскликнул:— Что ж это я! Сейчас чай поставлю. Вот у меня и повидло...

— Нет, нет, спасибо. Мы только что из чайханы,— сказал Гектор.

— Ах так,— пробормотал Николай Иванович.— Ну а Харилай? Харилай что вам сказал?

— Он предлагает собрать Всемирный Совет.

— И правильно!— обрадовался Николай Иванович.— Вот и я так считаю. А вы, вы-то сами как думаете, голубчик?

Утром явился связной от соседей справа и сказал Дятлову, что они отходят на юг и через десять — пятнадцать минут с их стороны надо ждать немецкие танки.

— Мы перехватили радиogramму бошей: они собираются отрезать нас от Дрома. Речь шла о десанте.

— Похоже, только мы мешаем немцам замкнуть кольцо,— сказал Дятлов Декуру, когда связной ушел.— Пройдите по траншеям, Жак. Поговорите с ребятами. Сейчас будет... Да что там, сами знаете.

Декур исчез.

— Базиль,— сказал вдруг Пьер,— что вы тогда говорили про будущее?

— Тебе не хотелось бы слетать на тысячу лет вперед, малыш? В гости.

— Сказки, Базиль.

— Вовсе нет. Ладно, мы еще потолкуем об этом. А сейчас...— Дятлов обернулся к д'Арильи.— Уходите, право. Эрвье вас ждет.

— Подождет.

Д'Арильи остался. И был убит в самом начале боя. Тихо скользнул по стенке траншеи и сложился на дне, устроив голову на горке пустых пулеметных лент.

А когда немцев отбили, пришел Буше.

— Представь себе число песчинок на этом берегу.— Широкое движение руки над охристой уходящей вдаль полосой, и взгляд Пьера послушно оторвался от нежной зелени миртовой рощи, следуя за приглашающим жестом.— Число капель в этом море. Представь себе пустоту. Всякая мысль есть мысль о чем-то. Чтобы мысли рождались и жили...

Волны мерно ударили в берег, на секунду возникла и таяла белая молния пены.

— Мыслимые же формы суть идеи, сущности вещей. Идея блага, истины, красоты — это сущие реальности, но они бестелесны, мир их совершенен и вечен.— Курчавый бородач в белом хитоне светлыми глазами смотрел на Пьера.

«Суть, сущие, сущности». Пьер потерянно моргал.

— Не люди ли придумали эти идеи, Платон? А ведь люди не вечны,— сказал юноша с широким гладким лицом.

— Я отвечу тебе так, Харитон. Души вещей живут до своих жалких воплощений, наряду с ними и после них. А людям,— Платон поднял палец,— свойственно стремление обратить свою смертную природу в бессмертную и вечную, идеальную. Что есть счастье, свобода, жизнь человека в сравнении с государством, то есть идеей человеческого сообщества!

На всхолмни под высоким синим небом стоял белораморный храм. Шесть карнатид западного портика смотрели в море, второй портик легкой ионической колоннадой открывался им навстречу.

За спинами учеников мелькнула голубая туника Елены. Она перехватила взгляд Пьера и подошла.

— Вам не нравится?

— Что вы, напротив,— сказал он.— Где мы?

— В Пирее,— прошептала она.

— А мне показалось...

— Да ты меня не слушаешь! — загремел философ, но сразу же смягчился.— Ты, видно, утомлен дорогой, и мысли твои рассеяны. Я понимаю твоё нетерпение: попасть сюда в пору жатвы в год Великих Панафиней и пропустить облачение Паллады в пеплос — это невозвратимая потеря. Ступай же, не теряй времени.

Толпа учеников двинулась вслед за Платоном к храму, оставив Пьера с девушкой на развилке дорог. Он снова взглянул на портик, перед глазами встала картинка из школьного учебника.

— Ведь это Эрехтейон?

— Да,— сказала Елена.

— Так он ведь в Афинах. А вы сказали, мы в Пирее.

— Какой вы, право, педант. Это во Второй зоне, где властвует Кукс, там все до ниточки, до последнего гвоздика... У нас проще. Разве этот холм над морем не лучшее место для такого храма? Идемте скорее, а то мы пропустим самое интересное.

Процессию они догнали через полчаса. Ладья с желтым флагом колыбалась на плечах мужчин в складчатых хитонах. За ними, оглашая воздух ревом и блеянием, шли коровы и козы с вызолоченными рогами, гонимые юношами и девушками под жертвенный нож.

— А почему все смотрят на этот желтый флаг? — спросил Пьер.

— Перед вами тот самый пеплос — знаменитый плащ, в который облачают Афины каждые четыре года. Лучшие вышивальщицы города трудились над ним, изображая сцены гигантомахии: Геракла с натянутым луком, саму Афины, придавленную Сицилией могучего Энкелада...

В этот момент из рядов гоплитов, топотающих по свежим коровьим блинам, вышел стройный воин и, раздвинув толпу зевак, радостно бросился к Пьеру.

— Дружище, наконец-то я вас нашел! — закричал он, швыряя на землю шлем с конской гривой и прочие медные предметы. — Дать себя увести моему конкуренту! Меня же лишат премиальных, посадят на гауптвахту, отлучат от церкви и сошлют на галеры. Ну Елена, ну лань Керинейская, — говорил он уже девушке, глядя на нее с восхищением.

— Нечего возмущаться, Гектор. Забыл, как в прошлом сезоне умыкнули у нас ганимедянина? А Пьеру у нас понравилось. Платон его, правда, чуть не усыпил...

— Говорил, что ни в грош не ставит человека, когда речь идет о благе человечества? — Гектор улыбнулся Пьеру.

— Я не уверен, что правильно понял. Я немного запутался, пока слушал, — сказал Пьер.

— Еще бы! Когда мы вернемся, я сведу вас в Скотопригоньевск. Там Иван Карамазов в два счета докажет вам, что все обстоит как раз наоборот.

— Опять в российские снега? — сказала Елена. — А меня вчера звали в Четвертую зону. Там скачут на мустангах по красной степи, плывут по большой реке на колесных пароходах и поют спиритчулы. Не хотите?

— В другой раз. А сейчас мне надо сообщить Пьеру нечто важное.

Уже отойдя на порядочное расстояние, они услышали голос Елены:

— Эй, шлемоблещущий Гектор великий! Захвати свои железки, их надо сдать в костюмерную!

— Итак, Пьер, завтра первое заседание Всемирного Совета,— весело объявил Гектор.— Я должен познакомить вас с Кубилаем. Это режиссер, которому поручено подготовить вашу роль на Совете. Вечером вы немного порепетируете...

— Вы с ума сошли, Гектор. Какой режиссер? Какая роль? Нет, меня вы играть не заставите. Я должен паясничать, не будучи даже уверен, что вы мне поможете? Неужели нельзя прямо ответить, спасете вы мою дочь или нет. Снажете нет, я сяду в свою машину и уеду. Не знаю, правда, куда попаду, но вам что до этого. Вы пока сыграете во что-нибудь веселое. В инквизицию, в Бухенвальд, например.

— Ну-ну, Пьер. Успокойтесь. Уехать вам так просто все равно не дадут. Подумали вы о том, что, свалившись невесть откуда в наше время, нанесли, мягко выражаясь, чувствительный щелчок по нашим причинным цепям? Подготовительная комиссия Совета гудит, как тысяча муравейников. Полеты во времени допустимы только с причинными компенсаторами. Но ваш-то, простите, драгдулет ими не снабжен. Он, кстати, вообще больше не способен работать. Так что прекратите бунтовать.— Гектор ласково улыбнулся.

Пьер подавленно молчал.

— Да будет вам! Не отчаивайтесь. Все не так скверно. Соберется Совет, потом другой. Люди там головастые, режиссеры толковые. Придумают что-нибудь. А сейчас пойдемте к Кубилаю. Очень приятный человек, талантливый.

Знакомиться пришлось на каком-то банкете. Люди, шум. Невысокий юноша с нежно-зеленой косынкой вокруг хрупкой шеи застенчиво посмотрел на Пьера сквозь дымчатые очки, пробормотал что-то, отведя взгляд, и сделал попытку скрыться.

— Кубик, Кубик,— сказал Гектор, лоя его за руку,— как вам не стыдно. У нашего гостя трудная роль на завтрашнем Совете, а вы...

— А что я, я горжусь,— начал Кубилай, овладевая собой.— Я горжусь столь сложной и лестной задачей.— И продолжал рассыпчатым тенором: — Несомненно, мы будем много и плодотворно трудиться. Мы создадим нечто новое, глубокое, своеобразное, волнительное. Мы высекем... нет, высечем искру подлинного искусства...

Пьер потерянно смотрел на юношу, который все больше распалялся. Узкий пиджак режиссера распахнулся, щеки горели.

— Дорогой Пьер! Вы будете играть себя в предлагаемых обстоятельствах. Я вижу это,— Кубилай подхватил бокал пенящегося

вина с проплывавшего мимо подноса.—Позвольте провозгласить тост. Позвольте выразить те чувства искренней любви, которые я испытываю к вам. Вы... вы... Вот.—Он восторженно схватил руку Пьера и прижал ее к сердцу. Из-под дымчатых очков выкатилась слезинка.—Мы с вами будем играть на пичико-пичико, Пьер. За наши взаимоотношения!—Кубилай залпом осушил бокал, отбросил его протяжным движением и вдруг рухнул на колени, придавив растопыренной ладошкой орхидею в петлице.

После того как Пфлаум десантировал в самое сердце Веркора батальон парашютистов, положение стало безнадежным. Черный от горя и усталости, Дятлов послал Пьера — рацию разнесло осколком в руках Декура — сообщить Эрвье, что отряда больше не существует и с наступлением ночи он отправит оставшихся в живых полтора десятка бойцов во главе с Декуром на юг с приказом пробираться к Марселю, навстречу союзникам.

Эрвье кивнул Пьеру и продолжал диктовать Клеману радиogramму в Алжир. Она оказалась последней вестью из Веркора.

— Немецкая авиация бомбит Сен-Мартен, Васье, Ла-Шанель. Четыре часа назад с планеров десантирован батальон СС. Требуем немедленной поддержки с воздуха. Обещали держаться три недели, держимся полтора месяца. Если не примете срочных мер, мы согласимся с мнением, что в Лондоне и Алжире вовсе не представляют себе обстановки, в которой мы находимся, и будем считать вас преступниками и трусами...

Клеман поднял голову и вопросительно посмотрел на Эрвье.

— Да, преступниками и трусами. Передайте последнюю фразу дважды.

Помощь Веркору так и не пришла. Радиogramма слишком долго плутала по коридорам ведомства Сустеля, прежде чем попасть к де Голлю и его министру авиации Фернану Гренье.

Выслушав Пьера, Эрвье сказал:

— Передай Дятлову, его решение я поддерживаю. Пусть и сам уходит с остатками отряда.

Пьер вернулся в сумерках и увидел большое неловкое тело и лицо, такое же хмурое и сосредоточенное, как у живого Базиля.

— Пуля пробита горло, он не мог говорить. Только написал.— Декур вынул из планшета карту. На обратной стороне крупные буквы складывались в кривую строку: «Тетрадь Пьеру. бланш... кю...»

— Какая тетрадь?

— Вот.— Жак подал Пьеру потрепанный коричневый блокнот в коленкоре.— Возьми.

Совсем стемнело. Холмик над могилой растаял. Декур выстроил отряд, а Пьер все сидел на теплом еще валуне.

— Ты чего? — подошел к нему Жак. — Пора, до реки двадцать километров.

— Вы идите, Жак. Я, пожалуй, останусь.

— Бланш?

Пьер кивнул.

Первое заседание Совета состоялось в замке Лонгибур. Председательствовал барон Жиль де Фор. Общее руководство постановкой осуществлял главный режиссер Второй зоны Третьего вилайета Реджинальд Кукс. Взаимодействие с подсоветами всех зон обеспечивал первый помреж Аристарх Георгиевич Непомнящий.

Обстановка напоминала Пьеру его первое посещение замка — стрельчатые окна, геральдические знаки, пышно разряженная толпа. Были, однако, отличия. Не горели смолистые чадающие факелы. Прекрасный рассеянный свет стекал из-под высоких сводов, падая на причудливые одежды членов Совета и зрителей: легкие туники, пестрые майки, шляпы самых диковинных форм. Председатель светился вдруг помолодевшим лицом. Вместо тяжелой кожи и тусклого металла он был облачен в белоснежный китель с пуговицами из сверкающих камней. Пьера тоже переодели. Кубилай нашел, что его куртка никак не соответствует духу роли. Вот почему Пьера обрядили в корявые кирзовые сапоги, темно-синий резиновый плащ и солидных размеров кепку из ткани «букле». Шею его укутали пестрым шарфом с болтающимися у колен кистями. На переносице угнездились черепаховые очки.

Звякнув позеленевшим колокольчиком, Жиль де Фор открыл заседание. Поднялся аббат Бийон, теребя пушок на щеках.

— Братцы, — начал он доверительно, — сестрички мои, давайте еще раз сердечно поприветствуем отважного Пьера Мерсье, храбро пронзившего пятисотлетний слой тягучего лежалого времени, чтобы привезти нам живое дыхание уже изрядно подзабытого нами двадцатого века.

Аббат повел глазами и слабо хлопнул в ладоши. В тот же миг зал наполнился гвалтом. О! А! Ы! У! Ура! Колыхались туники, взлетали шляпы. Члены Совета вскакивали на кресла и пускались в пляс. Почтенный старец в черном балахоне и белом жабо академика достал карманную чернильницу и в припадке восторга опрокинул ее на лысую яйцообразную голову соседа. Тот немедленно принялся размазывать чернила по умылому лицу.

— Брат Цукерторт, — сказал академику джентльмен в узких полосатых штанах, укоризненно качая головой, — я вынужден буду сообщить ректору о ваших чудачествах.

Пьер безучастно смотрел на буйствовавший Совет. Ему хотелось размотать шарф и снять кепку, но Кубилай, предупреждая его движение, выглянул из-за колонны и погрозил пальцем. Пьер отвернулся и увидел Полину и ту, курносую, он забыл ее имя. Они восхищенно смотрели на него и яростно хлопали. Поневоле Пьер улыбнулся.

— Что ни говорите,— продолжал аббат Бийон, когда шум по-утих,— а мы уже ощущаем свежее, очистительное действие этого необычного визита. Прибытие дорогого гостя наполнило нашу жизнь новыми впечатлениями. Заработала фантазия, распустился букет невиданных доселе эмоций. Все это очень отрадно. Весьма! Но есть, однако, и некоторые заковычки. Я знаю, например, что представители научных игр поставлены этим визитом в тупик. Хотелось бы их послушать.

Бийон присвистнул и резко опустил в кресло.

Жиль де Фор предоставил слово академику Дрожжи.

— Друзья мои,— задребезжал старик с залитым чернилами теменем,— должен вам сообщить, что прилет этого обаятельного юноши никак не был предусмотрен нашими историческими программами и явился для нас полной неожиданностью. Причинная сеть испытала сильный удар. На компенсацию пришлось бросить четыре фундаментальные игры и одну субигру космологического ранга. С известным трудом мы выравнивали положение, и сейчас я могу доложить высокому Совету, что все причинно-космические игры проходят в запланированных лимитах. Более того, мы приобрели ценный опыт, за что приносим благодарность этому милому молодому человеку по имени...

— Пьер Мерсье,— подсказал председатель.

— Да, да,— обрадовался старик.— Но вот вопрос: как быть дальше?

— А вот как! — В центр зала выкатился краснощекий толстяк, потрясая картонной папкой, в которой Пьер узнал историю болезни Люс.— Девочка больна. Мы даем папаше это,— он взметнул вверх пухлую руку с розовой облаткой, зажатой между большим и указательным пальцами,— и... Тра-ля-ля, сажаем папашу в его машину и... Тру-лю-лю, фьты! — И, напевая па-де-де из «Лебединого озера», он запрыгал на одной ножке, изящно помахивая рукой с красной картонной папкой.

Подскакав к Пьеру, толстяк сделал ему «козу», пощупал пульс и двумя пальцами оттянул нижние веки.

— Скажите, любезнейший, «а-а-а»,— потребовал он.

Пьер обалдело раскрыл рот.

— Прескверный язык! Мы и вас, батенька, подлечим. Да, да. Три дня игры в «Осенний госпиталь», а тогда уже — тру-лю-лю,

фьять.— И толстяк исчез, послав Пьеру воздушный поцелуй.

Потрясенный простотой решения, предложенного доктором, Пьер дальнейшие выступления понимал смутно, однако у него сложилось впечатление, что идея толстяка не всем пришлась по вкусу. Тоскливое чувство стало разливаться в сердце. Из-за колонны снова выглянул Кубилай и громко зашептал:

— Ярче, ярче играйте растерянность!

Ощущение пустоты и обреченности овладело Пьером, когда он увидел обугленный остов дома старухи Тибо. Валанс вымерт на его жителях срывали злость десантники Пфлаума, ворвавшиеся в городок по трупам защитников. Они жгли, стреляли, кололи, давили. Могла ли уцелеть в этом аду шестидесятилетняя женщина с грудным младенцем? Пьер добирался до Валанса неделю. За это время оставшиеся в живых макизары оставили Веркор, просочились на юго-запад и соединились с партизанами, освобождавшими Монпелье. Немцы, расстреляв более тысячи защитников Веркора, двигались к Тулону, навстречу американскому десанту.

Кто-то тронул Пьера за рукав.

— Кого-нибудь ищете, мсье?

— Здесь жила вдова Тибо. Вы ничего не знаете о ней?

— Мадам Тибо погибла в первый же день, когда боши вошли в город.— Говоривший оказался сутуловатым стариком. Правый пустой рукав серого пиджака приколот булавкой к карману. В левой руке сигарета.— Вы разрешите? — Он потянулся к тлеющей сигарете Пьера, прикурил.— Она ваша родственница?

— Да нет.

«Почему он ничего не сказал о ребенке?» — лихорадочно соображал Пьер, глядя в прищуренные от дыма глаза старика.

— Вот и я смотрю, откуда бы у мадам Тибо взялся такой молодой родственник. Ведь она вообще осталась одна, когда ее дочь ушла к русскому пленному. Он тут появлялся недавно, хотел отдать ей ребенка — их дочь, как он сказал. Но старуха взвилась! Знать, говорит, ничего не хочу. Пусть, говорит, Колет сама придет да на коленях у меня прощения просит, тогда, говорит, подумаю.

— Ну потом-то взгляд, наверно? — голос Пьера неестественно зазвенел.— Внучка ведь.

— Плохо вы знали старуху Тибо, молодой человек. Если она что сказала, то как отрезала. Муж ее покойный, Жан Тибо, говорил...

— И что же он, этот русский, так и ушел с ребенком?

— Жена нашего кюре взяла девочку к себе. Уж так он ее благодарил, так благодарил.

— И где она сейчас? У кюре?

— Кюре нашего расстреляли. А девочка осталась у его жены, мадам Бетанкур. Утром я их видел. Нас всего-то здесь осталось человек тридцать. В доме кюре сохранился радиоприемник. Мы слушаем. Американцы уже в Монтелимаре. Через день-два будут здесь.

— Извините, вы не покажете мне, где дом кюре?

— Покажу и провожу, молодой человек. Так вас, стало быть, интересует не старуха Тибо, а ее внучка? Что? Вы не расположены говорить. Напрасно. Сейчас-то как раз нужно говорить. Как можно больше. Мы столько лет молчали, знаете, или говорили шепотом. Я устал молчать, молодой человек. Хочется кричать о том, что было. Здесь, в Валансе. Здесь, во Франции. Здесь, в этом мире. Когда кричишь, начинает казаться, что это не страшно. Не так страшно, как когда молчишь. Или когда шепчешь. Мы и говорим, наверно, чтобы отогнать страх. А храбрецы молчат. Вы храбрец, мсье.

Увидев стройную тонконогую женщину лет сорока, пленавшую ребенка, Пьер понял, что забирать Бланш — безумие. Но и оставить дочь Базиля он не мог. И Пьер остался. Три года он прожил рядом с мадам Бетанкур и Бланш, помогая им, чем мог, а когда в 1947 году вдова кюре скончалась от сердечного приступа, уехал с девочкой в Париж поступать в университет. В Веркоре осталась его юность, его боль и две дорогие ему могилы — Василия Дятлова и Люс Бетанкур.

Мяч в последний раз стукнулся о машину и отскочил в кусты. Цыплячья шея Харилая торчала из черной судейской фуфайки. Он достал свисток и трижды озабоченно свистнул.

— Продолжаем заседание!

Пока члены Совета гоняли мяч, Пьер скромно стоял на краю поляны. Был теплый день. Хорошо, Кубилай пошел на уступки: отменил шарф и очки. Правда, тут же сунул Пьеру холщовую торбу с бородатой рожей на одной стороне и кудлатой певичей на другой.

— Цукерторт, на кого вы похожи! Заправьте футболку, — сказал Харилай и, встав на широкий пень, призвал собравшихся к энергичному и деловому обсуждению проблемы.

Истерический выкрик прервал председателя. Какая-то женщина бросилась к Пьеру:

— Долой! Долой фальшивую радость! Долой проклятые игры! Долой режиссеров! Судью на мыло!

Она сорвала с головы парик. Потом еще один. Еще. «Сколько их у нее?» — изумился Пьер. Два крепких молодца подхватили

кричавшую под руки. В одно мгновение они скрылись за деревьями.

— Талантливо сыгран стихийный протест, не правда ли? — спросил очутившийся рядом Гектор.

— Боже мой! — прошептал Пьер. — Она играла?

— Конечно. Такова ее роль.

— А эти, которые ее увели?

— У них своя роль, — терпеливо разъяснил Гектор.

Председатель снова овладел вниманием собрания.

— Итак, я предлагаю высказаться главному техническому эксперту инженеру Калимаху.

— Тот факт, — решительно заговорил Калимах, — что этот аппарат сработал, находится в вопиющем противоречии с наукой. — Инженер обернулся к Пьеру. — Сей сундук на гусеничном ходу мог закинуть вас черт знает куда, мог разрезать пополам — половину бросить в двадцать третий век, а другую — в двадцать седьмой. Он мог вообще растащить вас по атомам — на каждую секунду по атому. Вы, дорогой мой, вытянули один шанс из миллиарда.

Пьер виновато улыбнулся.

— Вы сами это построили? — Инженер небрежно кивнул на машину.

— Не совсем, — сказал Пьер. — Это длинная история. Идею машины выносил один человек. Василий Дятлов. Но построить ее он не успел. Дятлов погиб. Перед смертью он передал мне свои записи. Потом я с двумя друзьями... — Он замаялся.

— Расскажите подробно, — потребовал председатель, — это интересно.

Как быстро Париж стал прежним, довоенным Парижем. Только чуть сосредоточенней. Только куда голоднее — двести граммов хлеба в день. Из них половину он отдавал Бланш. Но без Шалона и Дю Нуи было бы совсем тяжело. Когда после занятий он забегал за девочкой и вел ее в Люксембургский сад, увалень Шалон встречал их, случайно, конечно, как он всегда подчеркивал, либо у входа, либо на главной аллее и тащил за собой, бормоча:

— Тут, понимаешь, Альбер оказался... У него новая девушка. Он хочет ее показать тебе.

Или:

— У Альбера сегодня праздник. Он расстался с Жюли и хочет нас угостить.

Альбер Дю Нуи встречал Бланш безупречным поклоном, сверкал зубами и пробормотал, сажал ее на плетеный стул и грозно кричал:

— Самую большую чашку кофе со сливками и самое вкусное пирожное для мадемуазель!

Когда Пьер намекал, что ему неловко, Дю Нуи говорил:

— Оставь свою пролетарскую заносчивость. Считай, что ты экспроприруешь моего отца.

К выпуску стало ясно, что сближает эту троицу многое. Лидером незаметно стал Шалон. Он увлек их в организацию Ива Фаржа. А когда Пьер показал ему тетрадь Дятлова, Шалон сказал, что отныне ему понятно, зачем он живет, а также зачем живут они — Пьер Мерсье и Альбер Дю Нуи. Смысл этот явствовал из такого сообщения:

— Ну что ж, это... Ясное дело, а? И вообще...

Они работали. Бланш росла. И когда в апреле 1961 года мир с восхищением встречал Гагарина, Бланш стукнуло семнадцать лет, Шалон написал последнее уравнение, а Пьер и Альбер расшифровывали последние расчеты вычислительного центра компании «Дю Нуи и сын». Стало очевидным: идея Дятлова не блеф. Время не более властно над человеком, чем пространство.

Как они ликовали! Альбер привез ящик шампанского, Пьер позвонил Бланш, чтобы она приезжала на виллу Дю Нуи, где они обычно работали, Шалон приволок старика Гастона, садовника. Они пировали всю ночь и решили отдохнуть недели две, а потом уже взяться за постройку самой машины. Тогда казалось, еще немного, ну, скажем, год, и... Кто знал, что от цели их отделяют семь мучительных лет.

Отдыхать они все вместе поехали в Сен-Мартен. Пьер любил горы, и потом он хотел показать Бланш могилу ее отца. Он провез их по знакомым местам, рассказал о Дятлове, д'Арильи, Декуре и обо всех-всех. В Валансе они зашли в дом, где когда-то жил кюре, и Бланш вспомнила этот дом и его хозяйку, Люс Бетанкур. За ними увязался парнишка с велосипедом. Он влюбился в Бланш сразу, бесповоротно. Водил ее в кино, на танцы. Потом аккуратно доставлял в кабачок, где Пьер с Шалоном и Дю Нуи сидели по вечерам в блаженном безделье. Накануне их отъезда он подошел к Пьеру и звонким голосом попросил руки Бланш.

— Ну, а она, что она тебе сказала? — спросил Пьер.

— Она велела подойти к вам, мсье, и сказала, что сделает так, как вы сочтете нужным.

— Сочту нужным? — Пьер опешил.

У Бланш и раньше были приятели, но она расправлялась с ними без его помощи. «Может, она влюбилась в мальчишку? — подумал Пьер. — Он симпатичный, простой. Смотрит на нее с обожанием.»

— Вот что, дружок, зови-ка сюда Бланш. Я сочту нужным всыпать ей как следует, чтобы она не морочила голову такому славному юноше.

Бланш появилась только поздно вечером.

— Что за фокусы? — спросил Пьер тоном скрипучего папши. — Зачем ты мучаешь бедного парня?

— А что ты ему ответил?

— Обещал отстегать тебя крапивой.

— Что ж, приступай.

Тут только до Пьера начало доходить, что Бланш, возможно, и впрямь влюбилась. Что ей уже семнадцать. Что в последние месяцы он почти не разговаривал с ней серьезно, считая ребенком, а она... Она ведь скоро уйдет. Не с этим, так с другим.

— Ты стала совсем взрослой, дочка. Если он так тебе нравится, я не буду возражать, я...

И тут что-то произошло. Бланш билась в рыданиях и выкрикивала горькие упреки:

— Ты хочешь избавиться от меня. Ты обрадовался... Хорошо, я уйду. Ты никогда, никогда меня не любил. А я... Я всегда мечтала, что ты будешь приезжать от Дю Нуи и Шалона домой, и я буду... — Бланш плакала неудержимо, как ребенок. — И не смей называть меня дочкой! Ты мне не отец. Я никогда не считала тебя отцом! Ты — Пьер. Мой Пьер. Ты был моим Пьером. А теперь...

Они вернулись в Париж и скоро поженились. А через два года Бланш умерла от родов. Дочку Пьер назвал Люс, в память госпожи Бетанкур, спасшей ее мать.

Игре в Совет не было конца. Какие декорации! Версальский регулярный парк и тучные колонны египетских храмов, шатры Тамерлана из белого войлока и зал заседаний ООН, ночлежка из пьесы Горького и уют-компания ракеты Земля—Альтаир. За всем шутовством Пьер с трудом улавливал ход дела. Обдирая шелуху лицедейства с речей и реплик, вопросов и заявлений, аргументов и возражений, исходящих то от упакованных во фраки дипломатов, то из уст трясущих кружевами вельмож, а то и услышанных в бормотании шамана догонов, когда отблески ритуальных костров ложились на маслянистое зеркало Нигера, Пьер пытался удержать в памяти суть того, что произошло на последних заседаниях, то бишь в предшествующих актах, картинах, сценах и явлениях.

— В хрониках не отмечен факт создания машины времени в двадцатом веке, — назидательно поднимал палец худой мужчина со скучным взором, явившийся на Совет в калошах и пальто на вате. — Теоретические работы группы Шалона при «Эколь Нормаль» быстро зашли в тупик и сейчас представляют интерес лишь для

играющих в историю науки. Поэтому возвращать туда, в двадцатый век сей агрегат весьма опасно, чревато, я бы сказал... Как бы чего не вышло. И вообще, перемещения во времени с момента законченного введения таковых в обиход подвержены были и есть строжайшей регламентации соответствующим Уложением, какового Уложения параграфы 76 и 144 недвусмысленно полагают невозможным...

Пьер потерял мысль, но Гектор перевел ему, что оратор указал на нежелательность возвращения Пьера и машины в двадцатый век, поскольку это может перекроить всю историю, в то время как появление его, Пьера, в их времени теперь уже вполне безопасно, а стало быть, он может оставаться здесь как угодно долго.

— А закон статистического подавления мелких возмущений? — ехидно бросил на ходу ловкий усач в оперенном берете. — Отпустить его, без машины конечно, а девочку — вылечить. Пусть ее, чего там, — и ускакал, нахлестывая ворону лошадь.

— Предлагаемое деяние означало бы непозволительное вмешательство в ход исторического процесса, — бубнил тот, в калошах, поглаживая зачехленный зонтик, — а потому считаю своим долгом предостеречь. Быть надлежит предельно осторожным, а вы, сударь, — он повел головой в сторону исчезнувшего всадника, — манкируете, да-да.

— Но раз история не сохранила факта создания машины в двадцатом веке, стало быть, следы ее были уничтожены, что я и предлагаю сделать, оставив машину здесь и возвратив нашего гостя в его мир после небольшой процедуры, избавляющей его память от лишнего груза, — вставил Харилай. — А девочку, что ж, я думаю, девочку надо вылечить, а?

— Фи, не нравится мне эта ваша «небольшая процедура», Харилай. — Это говорил Николай Иванович. — Пьер, я уверен, даст слово, что прекратит работу над машиной. Правда, если он сам захочет подвергнуться...

— Чтобы избегнуть, так сказать, соблазна, — подхватил Харилай.

— Вот именно. А сам факт исцеления одной девочки не страшен по той же причине подавления мелких возмущений, — закончил Николай Иванович.

— Протестую! — не унимался владелец зонтика. — Почему из миллионов обреченных в этом суровом веке мы должны спасти одну, именно эту девочку?

— Что говорить об абстрактных миллионах! Добро всегда конкретно. Самый естественный поступок — вылечить девочку и вернуть ей отца, предоставив истории развиваться естественным путем.

— Но на естественном пути ребенок и должен погибнуть...
И так без конца.

Доктор сдержал слово, и Пьер провел несколько дней в «Осеннем госпитале»: кленовые листья, рябина, заморозки по ночам и слабый запах прелм в парке, где молчаливо и печально стояли белые античные боги. Дважды его навещала Урсула. Они ходили по зябким аллеям, и Пьер чувствовал легкое головокружение. Прощаясь с ним после второй их встречи, она сказала:

— Ну вот, Пьер. Теперь вы никогда не будете болеть — в том смысле, который имеет слово «болезнь» в вашем веке.

Ночь после госпиталя ему выпало провести в бунгало южно-африканского магната. Широкая лежанка, застланная шкурами, деревянные маски над камином. Спать не хотелось. Пьер сидел в кресле, смотрел на огонь и вспоминал отсветы костра на лице Дятлова в последнюю его ночь, за несколько часов до того, как он послал Пьера в штаб с сообщением об отходе отряда.

— Что происходит,— говорил Дятлов,— когда глубину океанской впадины измеряют тросом? Рано или поздно трос обрывается под собственной тяжестью. То же происходит с причинными цепями. При очень большой длине они изнемогают и рвутся. И тогда новый мир становится независимым от старого. Это значит, что, улетев на тысячу лет вперед, можно встретить культуру, забывшую своих отцов, столкнуться с дикостью, каннибальством...

— Значит, д'Арильи прав? — спросил Пьер. — Нет смысла стараться ради будущего?

— Вообще нет. Разрыв преемственности не фатален. Чтобы передать будущему эстафету разума, нужно просто хорошо строить. Не пирамиды — общественный порядок, противостоящий дикости. Но и слетать туда, к потопкам — тоже ведь очень заманчиво.

— Нам отправиться туда? Может, реальнее, ждать их к нам?

— Для этого нужна машина. Откуда взять машину им, если ее не сделаю я, ты, твой внук... Двигаться по времени запрещает причинный парадокс. Вот улетишь ты лет на сорок назад и отобьешь невесту у собственного дедушки. Как тогда родится твоя мать?

— Действительно,— пробормотал Пьер.

— К счастью, мы живем в вероятностном мире. Значит, можно лететь в такие далекие времена, где вероятность воздействия на причинную цепь, могущую парадоксально изменить наше время, ничтожна. Недавно я прикинул кое-что. Изолировать аппарат от причинного окружения впрямую невозможно — такой энергии не сыскать во всем нашем мире. Но есть другой путь: не через барьер, а сквозь него. Энергии немного, а эффект! — Дятлов засмеялся, похлопал по вещевому мешку. — Здесь описан этот путь...

— Скажите, Гектор, когда наконец соберется последнее заседание? Боюсь вас обидеть, но эти игры, эти чудеса так далеки от меня. Проходит неделя за неделей, а там... Люс.

— Напрасно волнуетесь, дружище. Если Совет примет решение помочь вам, то вас вернут в тот же момент времени в прошлом, из которого вы отправились к нам. Но ваше раздражение, Пьер, оно необоснованно. Вот уже сто пятьдесят лет мы играем.

— Но ведь бывают минуты, когда вам не до игр? Бывают и здесь несчастья, утраты друзей, родных, любимых... И потом, простите мне высокопарность, но где же собственное лицо вашего времени? Один мой друг, знаток театра, говорил, что великий актер не имеет собственного лица, собственной души. Это и позволяет ему без остатка воплощаться в иной образ, в чужую душу, в другую жизнь. Но ведь это страшно — не иметь собственной души, своего лица...

— Что вы называете лицом времени?

— Ну, свою поэзию, свою философию, научные открытия, страсти, страдания — свои, не заимствованные у других эпох.

— Все это отлично вписывается в систему игр. Научные открытия? Так входят в роль, что заткнут за пояс Эйнштейна. Стихи? Так разыграются, что твой Байрон! Важно, чтобы режиссер и актеры были талантливы. Вспомните, ведь и в вашем веке жили великие актеры — разве их страдания на сцене не были прекрасны?

— Это так, но они потому и были прекрасны, что походили на жизнь. А у вас и жизни-то... нет.— Пьер испуганно взглянул на Гектора.

— Наш друг хотел сказать, — вмешался Харилай, — что трагедия — необходимый компонент положительного развития общества. Но, милый Пьер, если игра стала нашей жизнью, разве жизнь стала от этого менее насыщенной? Менее полнокровной? Менее достойной? Напротив, каждый из нас проживает множество жизней, имеет столько судеб, сколько им сыграно ролей. Индивидуальность не страдает. У нас есть гениальные универсалы: Дубовской — Галстян был великолепен в образе Иосифа Прекрасного, вызывал слезы своим Борисом Годуновым, пять лет играл гарибальдийца, ранчиро с Дальнего Запада, космолетчика, поселенца на Обероне, да что там говорить... Все дело в умении отдаться игре. И она станет жизнью. Неотличимой от настоящей.

— Может быть, вы и правы, Харилай. Но мне не по себе, когда я думаю, что вы не игру сделали жизнью, а жизнь — игрой. Вот вы сказали, этот актер вызывал слезы. Значит, зрители плакали по настоящему?

— Конечно же по-настоящему. Что может быть проще настоящих слез при игре в театр! Это умеет любой ребенок,

Последний акт разыгрывался в просторной избе на окраине села. По широким лавкам под тускло блестящими окладами рассаживались, побрякивая шпорами ботфортов, задумчивый Харилей, оживленный Гектор, рассеянный Николай Иванович и еще человек пять-шесть — члены Совета, которых Пьер хорошо помнил по прошлым сценам. С печи на шитье мундиров таращились хозяйские дети, допущенные в избу. Сам же хозяин с прочими домочадцами был удален по этому случаю в сарай позади дома. Пьера усадили на трехногий стул у стены, откуда хорошо было видно всех. И вроде собрались начинать, да мешкал Харилей, пока не дождался еще одного: шумно дыша взошел в горницу на коротких пухлых ногах тучный старик в белой фуражке, один глаз закрыт черным шелком, другой смотрит сонно. Дверь прикрыл — и в угол, за печку, в складное кресло. Глаз рукой загородил и вроде дремать начал. Пьер почувствовал глухое раздражение. От привычного лицедейства веяло жутким холодом. Сейчас, в этой избе они решат. Чужие. Даже лучшие из них — Гектор, Харилей, Ина.

Он начал свою речь в ослеплении. На ощупь. Он не видел их. — Я виноват перед вами, — говорил он, — я ворвался в ваше время, чем-то нарушил спокойное течение вашей жизни, ваш уклад, привычки. Простите. Правда, я летел с надеждой спасти самое дорогое мне существо, маленькую девочку, чья судьба затеряна для вас в безмерной толще прошлого. Я надеялся. И мне стыдно сознавать, что я стал жертвой собственного эгоизма, надумав решать свои проблемы с помощью других эпох, чужих, как мне теперь начинает казаться. Там, в прошлом, я думал, что мы должны помогать друг другу. Мы — вам, тем хотя бы, что стараемся сделать своих детей лучше, сделать вас лучше, ведь вы — наши дети. А вы могли бы помочь нам своей мудростью. Я верил, ваша мудрость и сила столь велики, что вы сможете помочь самозванному гостю из древней, страдающей, а в ваших глазах — просто мрачной эпохи. Помочь, несмотря на его личную незначительность, слабость. Однако мое самоуничтожение кажется мне ошибочным. Глядя на вас, я начинаю понимать, что и опыт нашего времени бесценен. Он утрачен вами, это сделало вас другими, чужими...

Я смотрел на вашу жизнь и думал: да живете ли вы? Вы способны чувствовать боль, но боль эта не настоящая. Вы проливаете кровь, иной раз ручьями, но это шутейная кровь, одно из чудес хитроумной технологии. Вы изобрели новые слезы и муки, но это стерильные слезы, сделанные гением химии, они не оставляют следов-морщинок на безукоризненной коже. А муки так точно рассчитаны психологами, что превратились в род щекотки. Ха-ха, как больно, хи-хи, как печально, го-го, как тяжко... И вот я, ископаемое, подумал: не есть ли это чудовищный обмен? Абсолютное равноду-

шие предельно сытых людей? И еще я подумал: боже мой, так вот какое будущее нас ожидает! Мы, напрягая все силы, боролись... нет, боремся в трудном, кровавом, жестоком, горящем нашем двадцатом веке. Да, в грязном и подлом веке, но вместе и таком светлом из-за свершений его лучших людей, его настоящих героев, из-за высоких движений души, неодолимого стремления людей к справедливости. Мы боремся против крови, огня, мук... И я вижу, их нет. Нет настоящих. Есть поддельные. Но для чего? Да, и тепло, и сыто, и всего вдоволь, и выдумка безгранична, но объясните мне, для чего? Нет, наши слезы, наши страдания предстают теперь киними. Надо ли избавляться от них? Может быть, они делают жизнь подлинной? Простите, я запутался...

Страшная это пропасть — половина тысячелетия. Наверно, я ошибаюсь, я просто не в силах понять истинных глубин вашей жизни. Она должна быть прекрасной и цельной. Видимо, всё там, дальше, за этими играми. Может быть, с высоты своих знаний вы поймете меня, покрытого шерстью пришельца, который вторгся в ваш мир не для забавы, поверьте, а из страха за маленькую девочку. И еще я сделал это в слепой, но твердой убежденности, что люди далекого будущего не только намного разумнее нас, но и намного добрее. Эта вера и заставила меня дернуть рычаг той неслучайной в ваших глазах колымаги, в проводах, кристаллах и железе которой билась, однако, гениальная мысль, стучало живое сердце моего друга, товарища по борьбе с варварами нашего времени Василия Дятлова. Его внучку и мою дочь я и прошу вас спасти.

— Прелестно, голубчик, ну распотешил старика, ну спасибо! — Сухонький длинноносый человек в камергерском мундире опустил слуховую трубку и кинулся обнимать Пьера. — До слез довел, шельмец. Ай-ай-ай, а Кубилаша-то где? Где негодник прячется? Дайте-ка я его поцелую.

Вынырнувший из-за мундирных слим Кубилай почтительно взял старичка под локоток и повел в сторону.

— Мда, неплохо сыграно. Немного резковато по нынешним меркам, но... Весьма, весьма, — вытянув гусиную шею из золотого стоячего ворота заговорил незнакомый Пьеру генерал. — Мне вот что представляется, господа Совет. Не посмотреть ли нам судьбу нашего гостя и его дочери в реальной истории? Может статься, там и есть решение, а?

— Там-то решение есть, куда ж ему деваться, — заметил багроволицый кривоногий старик, поигрывая темляком изогнутой сабли, — да только прилично ли это, милостивые государи, узнавши судьбу человека и чад его, ему таковой не открыть? А открыть так уж совсем невозможно.

— Полно, вздор все это. Важно не сокрыть судьбу от Пьера Мерсье, а привести его в состояние резиньяции, так сказать, дабы с покорностью ее пинки и уколы принимал,— задумчиво поднял палец Николай Иванович.

Наступила пауза, во время которой Пьер подумал, что еще одной говорильни не выдержит и либо взбунтуется, либо действительно впадет в состояние резиньяции. Зная Пьер немного лучше русскую историю, он понял бы, что в разыгрываемой сцене все, до того сказанное, значения не имело никакого, и с большим вниманием следил бы за дремавшим в складном кресле стариком с повязкой на глазу.

Речь Пьера привела в восторг и Гектора. Сияя, он толкал локтем корнета, в котором без труда можно было узнать Полину.

— Посмотри, что Кубилай сотворил с этим новичком! Отличный парень этот Пьер. Веселый, а?

Ина вспыхнула:

— Ты сказал веселый? А по-моему, вы с Кубилаем настоящие ослы. Вам не приходило в голову, что Пьер не играл? Ему больно. Очень больно.— В глазах Ины застыли слезы.— Только, пожалуйста, не думай, что и я сейчас играю. Лучше скажи: долго там еще намерены его мучить?

Гектор растерянно посмотрел на девушку.

— Ты всерьез? Не может быть. Ведь все уверены, что Пьер в полном восторге.— Гектор замолчал. И вдруг побледнел от внезапной догадки: — Слушай, а если... А что, если он вообще не уверен, что мы дадим ему лекарство?

— А я тебе что говорю.

— Ой-ой-ой! У Кубилая ведь еще десяток сцен в программе. Надо срочно кончать все это.— Гектор схватил Ину за руку и, грубо нарушая торжественное течение высокого Совета, полез по рядам.

Между тем два седоусых унтер-офицера установили на постаменте ящик красного дерева с большой серебряной трубой. Подле ящика тотчас возник вертлявый субъект в табачном сюртуке. Поклонившись в сторону печки, субъект утвердил сверху ящика черный диск и покрутил торчащую сбоку ручку. Чарующая, чуть угловатая музыка вошла в избу сразу со всех сторон.

— Симфоническая поэма Людмилы Кнут, в девичестве Люс Мерсье,— торжественным фальцетом объявил владелец табачного сюртука, когда музыка умолкла.

— Алонзий Макушка собственной персоной,— прошептал Николай Иванович на ухо Пьеру.— Главный историк режиссерского консулата.

— Мысль о том, что решение наше надлежит выводить из естественного течения истории,— заговорил Макушка нормальным голосом,— подвигла меня на исследование некоторых обстоятельств, приведших тому триста лет к появлению хронолетов Владимира Каневича. Избегая частностей, могущих утомить высокое собрание, сообщаю главное следствие произведенной экзаменацион, состоящее в том, что поименованный Владимир Каневич приходится по материнской линии правнуком Людмилы Кнут, в девичестве, как уже указывалось, Люс Мерсье.

В это время Пьер заметил, как Гектор что-то горячо втолковывает Кубилаю, оторопело смотрящему то на Гектора, то на него, Пьера.

Выдержав паузу, чтобы позволить всем оценить важность сказанного, Макушка продолжал:

— Дочь присутствующего здесь Пьера Мерсье есть необходимое звено в цепи событий, приведших, во-первых, к появлению у нас человека из далекого прошлого, поскольку таковое вызвано ее тяжелым недугом, во-вторых, к созданию машины времени, ставшей тривиальным предметом материальной культуры нашей эпохи. Цепь эта разорвана сейчас, и мы держим в руках ее части, раздумывая, соединить их или оставить эту цепь разъятой.

Я веду вас вдоль этой цепи, милостивые государи: в первой половине трудного века, известного невиданными бурями в жизни общества, потрясениями умов и государств, родился и погиб в зените дарования Василий Дятлов. Вот первое звено. Через тридцать без малого лет его друг, стоящий перед вами, с двумя помощниками сделал первый, несовершенный по нашим меркам, аппарат, воплотивший идею Дятлова. Аппарат этот перенес своего создателя к нам. Это — второе звено. Здесь цепь обрывается. Ибо третье звено — Люс Мерсье — умирает в своем двадцатом веке.

Макушка снова прервался. Кубилай с Гектором и Иной пробрались к сидящему за печкой старику.

— Если Люс Мерсье останется жива,— продолжал историк,— то через много лет выйдет замуж за внука погибшей вместе с ее дедом Сарры Кнут, дочери русского композитора Александра Скрябина. Она сама станет известным музыкантом, а ее правнук Владимир Каневич создаст аппарат, способный вернуть Пьера Мерсье к его дочери, а дочь — к жизни. Я кончил.

В наступившей тишине Пьер услышал тихий скрип за печкой. Грузная фигура старика распрямилась, он отнял руку от лица, извлек из шлица мундирного сюртука гигантский платок и отер лоб. Потом заговорил размеренно и вятно.

— Благодарю всех, господа. Благодарю вас особенно.— Он слегка поклонился Пьеру.— Как только что было отмечено, аппарат

Каневича — это живая часть нашей культуры. Мы без нее — не мы. Раз был в истории Владимир Каневич, значит, история уже распорядилась за нас. Мы не делаем благодеяния, мы спасаем друг друга. Спасая прошлое, мы спасаем себя. Отказать Пьеру Мерсье — значит взорвать наше собственное существование. Человечество едино не только в пространстве, но и во времени. («Боже мой, — сверкнуло в уме Пьера, — он буквально повторяет Базиля»). Однако, что это я? Пространство, время... А душа-то человеческая? К ней, к душе прорваться надо. И пусть бездна лет, пусть неразличимы вдали их лица. Можем ли мы смотреть на них в перевернутую подозрительную трубу с холодным, жестоким сочувствием, равноценным презрению? Нет, господа! Прав, навсегда прав Федор Михайлович. Не на муках и страданиях строим храм. Быть в силах и не помочь младенцу? Да можно ли помыслить такое! Мне остается только в согласии с историей и ролью в этой пьесе сказать: «Господа! Властью, данной мне отечеством, приказываю...»

Синеющее окно вспыхнуло румянцем. В избу вошел темнолицый пожилой человек в длинной белой рубахе. Стало тихо.

— Пьер Мерсье, человек из прошлого, здравствуй!

Стен не было. Было бескрайнее поле. И тысячи лиц, лишенных грима. Человек протягивал Пьеру руки:

— Не сердись на наших детей, Пьер Мерсье. Это удача, что ты попал к ним. Они показали тебе нашу Землю. Они полюбили тебя.

— Дети? — пробормотал Пьер. — Вы сказали — дети?

— Да, Пьер. Это их дом, их школа. Они кажутся тебе взрослыми, но взгляди в них сейчас, взгляди внимательно.

— Боже мой, дети! — Пьер переводил взгляд с кудрявого, расплывшегося в улыбке Гектора на вдруг застеснявшуюся Алисию. Маленький Кукс пригладил вихры и смотрел на Пьера серьезно и напряженно, как отличник на доску с текстом трудной задачи. Кубилай лучился любовью и нежностью, а Турлумпий, щекастый Турлумпий пялил свои пуговицы так же, как на поляне при их первой встрече.

— Уже много лет, как Земля отдана детям, — говорил старик. — Сначала с ними жили педагоги и воспитатели. Но потом необходимость в этом исчезла. Взрослые стали даже мешать свободному развитию детей, их творчеству. Выяснилось, что лучшей формой такого развития является игра. Игра для нас — путь к знанию, утверждение личности, постижение живой истории. В нашем мире нет зла, рожденного темными движениями человеческой души, и мы оказались бы бессильными перед космосом, не постигни мы опыта борьбы прошлого. Но закалка против зла — не главная цель игры. История человечества, и твоего века тоже, Пьер, учит не

только борьбе, но и состраданию. И, отдаваясь игре до конца, наши дети постигают главную науку — науку добра. Дети встретили тебя, они же отправят тебя домой. Они вылечат твою Люс.

— И все это они сделают сами? Дети?

— Не совсем. Мы поможем им. Хотя главное они уже сделали. Мы не сразу узнали о твоём прибытии, и на плечи детей легла эта задача — понять, что они встретились с человеком из далекого прошлого. Мне приходилось заниматься психологией людей вашего времени, и я знаю, как нелегко перешагнуть лежащую между нами пропасть. Твой приезд стал экзаменом для их умов и для их сердец. Мне кажется, они выдержали экзамен. Правда, тебе пришлось немало испытать, но это не вина детей, а скорее их беда — слишком уж широка оказалась эта пропасть. И все-таки они приняли правильное решение.

— Но что происходит с ними потом, когда кончается детство? Почему они скрыли от меня ваш большой мир?

— Вырастая, мы покидаем Землю и...— Старик повел рукой.

Открылся синий проем, и Пьер увидел пляску хвостатых звезд, толчею планет, блеск парящих в космосе величественных сооружений.

— Наш мир мог испугать тебя. Дети не хотели причинить тебе боль. Пусть, увидев лишь верхушку айсберга, ты получил превратное представление о нашем времени. Горька была твоя речь на Совете. Но помнишь, ты сказал — истинные глубины нашей жизни могут быть дальше, за этими играми. Так и есть, Пьер.

— Так вы не дадите мне взглянуть на ваш взрослый мир? Это запрещено?

— Мы ничего не запрещаем. Но подумай, прежде чем решиться. Ты можешь испытать такое потрясение, что никогда не оправившись. Пожелай ты остаться у нас навсегда, я бы не отговаривал тебя. Но были люди, сильные люди, рожденные после тебя, Пьер, которые, прожив с нами краткий миг, возвращались домой и навсегда оставались несчастными. А ведь ты хочешь вернуться...— Старик отступил на шаг.— Теперь я оставляю тебя на время.

Он ушел, а Гектор, Ина, Асса, Харилай и другие, сияя, бросились к Пьеру:

— Ну вот, ну вот, что я говорил, что я говорила...

Пьер напрягся, ожидая, что вот-вот услышит властное указание Кукса или Кубилая: «Ярче, ярче изображайте восторг!»

Но и Кубилай и Кукс прыгали рядом и кричали:

— Ну вот, я же говорил! Я говорил!

Ах, какие были проводы!

Ставил, конечно, Кукс, забияка и большой любитель покомандовать. Толстяк, сидевший на последнем Совете за печкой, скинул повязку — мешала — и топал впереди парадирующих войск, воздев треуголку на шпагу и вопя что есть мочи: «Виват!» Бивак разбили у стен Лонгибура. Пьер сидел на слоне, Пальцы ласкали твердый цилиндрок в кармане куртки — маленький пенал со щепоткой оранжевого порошка, врученный ему нынче утром доктором из «Осеннего госпиталя». Пока пили-ели (Кубилай все норовил с Пьером чокнуться и поцеловаться, но не дотянулся — высоко), площадку огородили, увиди лентами, обставили флажками, и грузинский князь в рог затрубил. Граф де Круа и Морис де Тардьё пустили коней в галоп, сейчас сшибутся, затрещат копыта, рассыплются, и — за мечи! Нет, передумали. Алисия им язык показала и по хоботу — к Пьеру, с венком из ромашек. И села рядом. Елена в пурпурной стóле перебирала струны кифары. Проскальзывая длинными ногами, шел клетчатый Арлекин, смотрел провалами глаз, изгибал шею. Как ударом хлыста, сорвало Пьера с места. Он сполз по крутому боку, вскочил на стол:

— Там, у нас в Шатле, это делали так!

Он пустил волну по рукам — туда, обратно, снова туда. И вдруг застыл в мучительном изломе.

— Еще, еще! — редела толпа, а мим — Пьер узнал Жоффруа — глядел на него с восторгом темными кругами на меловой маске.

Кукс и Кубилай, отталкивая друг друга, бросились к нему — позвать руку, помочь слезть. Кубилай оказался проворней:

— Голубчик, это... это... Нет слов. Вы — гений. Умоляю, на одну минуту. Вот это движение... — и увлек Пьера в сторону.

Поляна за стеной жимолости раздалась, чтобы вместить всех. На трибуне скрипел Алоизий Макушка:

— Дорогие сограждане! Мы собрались здесь в эту торжественную минуту, чтобы проводить, как говорится, в дальний путь нашего, так сказать, замечательного и, я не боюсь этого слова, старого друга, — и бил пробкой о графин.

Из машины, весь в мазуте, вылез Калимах и поставил на землю большую медную масленку.

— Ты у меня полетишь, — мычал он, хмуро прицеливаясь разводным ключом к торчащему болту, которого раньше, Пьер мог поклясться, в машине не было, — как пить дать, полетишь.

— Свечи прокалил? — подошел Харилай. — Прокалили свечи-то. Отсырела, небось, стояла сколько...

— И то, прокалить, — согласился Калимах. — Тащи паяльную лампу.

Что-то острое уперлось Пьеру в бок.

— Считаю своим долгом предостеречь,— зашептал старый знакомый в калошах, убирая зонтик,— шум, пение... Чего ж тут хорошего. Произнесение речей при большом скоплении публики. Это знаете, чревато. Полезайте-ка вы в машину и — скатертью... то есть счастливый, как говорится, путь. И вам хорошо, и нам спокойней. К обоюдному, так сказать. А то как бы они того... не передумали, а? — и, не выдержав, прыснул.

Пьер еще увидел прощальный взмах Гектора, немного растерянные лица Полины, Ассы. Он вытер щеки.

— Не скучай, Пьер! Счастливо!

— Счастливо и вам! Спасибо за все.

Люк захлопнулся.

— Мсье! — кричал Гастон. — Стойте! Нельзя!

Кто-то толкнул садовника в спину. В ротонду ворвались Шалон и Дю Нуи. Скрипнул, распахиваясь, люк. Показалась нога в рифленном ботинке. Потом рука и, наконец, смущенное лицо Пьера.

— Ты сошел с ума! — закричал Шалон.

— Пьер, милый, разве так можно, — сказал Альбер.

— Да что вы, друзья, — медленно и тихо сказал Пьер. — Я только хотел попробовать...

Но Шалон уже вытаскивал из машины рюкзак и, поднимая его, взглянул в глаза Пьеру:

— Попробовать? А это что?

— Простите меня, — еще тише сказал Пьер.

— Слава богу, хоть ты жив. Ты включал ее?

Пьер смотрел на них сквозь слезы, не слыша слов.

— Ничего, ребята, не огорчайтесь.

— Так она не работает?

Пьер покачал головой.

— Ты не находишь, что он какой-то странный? — повернулся Дю Нуи к Шалону.

— Он потрясен неудачей, Альбер. И нам это тоже предстоит пережить.

— Простите, я очень тороплюсь, — сказал Пьер. — Подбросьте меня до Форж-лез-О, я там оставил машину.

Он не сводил глаз с тщедушного тела, страшной иглы. Ему казалось, что миновала вечность с тех пор, как он уронил оранжевую крупинку в колбу капельницы, хотя на самом деле не прошло и половины суток. Пьер брал руку девочки пытаться ощутить намек на ответное движение. Но нет, ничего не изменилось. Ничего. Утренний луч играл на красном коленкоре истории болезни.

— Ну, как ты сегодня себя чувствуешь? — Доктор вытянул из папки листок.

— Ой, мы опять с папой купались. И ракушку нашли огромную, во! — Руки Люс дрогнули.

Доктор снял очки и поднял листок к глазам.

— Господин профессор, вас к телефону, — объявила сестра.

— Что? А? Послушайте, мадам Планше, что вы мне подсунули? — Он свирепо ткнул пальцем в листок. — Чей это анализ?

Лицо сестры покрылось пятнами, близкими по цвету к кресту на ее наколке.

— Это анализ Люс Мерсье, господин профессор. Я сама, — она сделала паузу, — сама вложила его в историю болезни пациентки.

— А в лаборатории не могли напутать? — спросил доктор, смягчаясь.

— В лаборатории сегодня не было других анализов, господин профессор. Вас ждет у телефона мадам Жироду, господин профессор.

— Не было других анализов? — Доктор надел очки. Он увидел прирастающего Пьера и повернулся к ребенку. Знают ли они, какое чудо произошло? Какая милосердная воля вернула девочку этому человеку, а ей подарила настоящий мир, с настоящей травой, с морем, в котором можно по-настоящему плавать, в котором водятся живые рыбы и полным-полно огромных раковин.

— Ах да, иду, иду. Дождитесь меня, Мерсье. Я сейчас вернусь, только поговорю с женой. Дождитесь меня непременно.

ЭДУАРД ГЕВОРКЯН

Правила игры без правил

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Цепочка дорожных столбиков таяла с каждой минутой — наползал туман. Дорога исчезла, только фары высвечивали два расплывчатых овала. Я медленно катил вперед, потом осмелел, поддал газу и чуть не проскочил развилку.

Видимо, здесь раньше стоял шлагбаум. Расплющенный узел поворотной штанги был вмят в асфальт, словно по нему проехал каток.

Через несколько минут лучи фар скользнули по бетонной стене

и уперлись в решетчатые ворота, сваренные из толстых металлических прутьев. Я вышел из машины, пошарил по стене, но звонка не обнаружил.

Меня ждали к утру. Я не рассчитывал на торжественную встречу, но у ворот должна быть охрана или хотя бы привратник.

Ночевать в машине не хотелось, поворачивать обратно — тем более. Несколько минут я топтался у ворот, потом достал фонарь. Почти к самой стене подступали кусты, трава у решетки вытоптана. Я посылал сигнал. Или туман заглушает звук, или спят крепко. Еще бы не спать за такими воротами! Я злобно пнул решетку.

Ворота ржаво скрипнули и медленно распахнулись.

Это называется строгая изоляция!

Минуту или две я стоял перед воротами, ожидая прожекторов, сирены, окрика на худой конец. Ничего не дождавшись, взял с заднего сиденья портфель, сунул в карман плаща коробок с электроникой и, обойдя врытый перед воротами рельс, пошел по выложенной плитам дороге, подсвечивая себе фонарем.

Дорога кружила меж толстенных деревьев, некоторые росли прямо на ней, в бетонных кольцах. Я обошел ствол, уперся в другой и обнаружил, что это не дерево, а мужчина в темном плаще.

— Чего надо? — грубо спросил он.

Я полез в карман за удостоверением. В ту же секунду руку плотно зажали. Справа от меня оказался еще один. Сопя в ухо, он деловито вывернул мне и вторую руку. Нейтрализовать его ничего не стоило, но я решил не обострять отношений.

— Удостоверение в правом кармане, — миролюбиво сказал я.

— Что — в правом кармане?

— Видите ли, я инспектор по школам и приютам.

Державший меня отпустил руки, буркнул что-то и исчез.

— Извините! — сказал мужчина в плаще. — У нас режим, а вас ждали к утру.

— Понятно, — согласился я. — Проводите меня к директору, если он не спит, разумеется.

— К директору? Да хоть сейчас. Собственно говоря, я директор. Пойдемте, что нам здесь стоять, в сырости!

Он повернулся и пошел в темноту. Я подобрал фонарь и, стараясь не отставать, молча удивлялся. Режим, видите ли! А ворота не запирают, и директор сам ловит посторонних.

Здание школы возникло сразу, черным квадратом; местами сквозь узкие вертикальные щели пробивался слабый свет. Директор лягнул связкой ключей и завопил у замка. Мне показалось, что дверь была открыта и ключами он гремит для вида.

В длинном светло-зеленом коридоре было пусто. На дверях по обе стороны не было ни надписей, ни номеров. Коридор ломал-

ся под прямым углом и шел к лифту. Я знал, что воспитатели и часть охранников живут на первом этаже, на остальных двух — воспитанники.

Директор остановился у ближайшей к лифту двери, толкнул ее и вошел. Я последовал за ним.

Когда я вошел, директор уже сидел за столом у зашторенного окна. Стол, несколько кресел и шкаф в полстены — вот все, что было в комнате.

Между тем директор вываливал из стола папки, бумаги, извлек наконец толстую прошнурованную книгу и придвинул ее ко мне.

— Вот, — облегченно вздохнул он, — можете начинать.

— Прямо сейчас? — спросил я, демонстративно глянув на часы. Он поднял голову, кашлянул и засмеялся.

— Совсем заработался. Не хватает рук, не хватает средств, бюджет трещит, дотации мизерные. Все приходится самому... Сейчас вас проведут в гостевую, у нас, извините, без роскошества.

— Вы не беспокойтесь, — сказал я, — это не тотальная ревизия, а календарная инспекция по выборочным школам. Иногда федеральные власти вспоминают, что в их ведомстве не только больницы и тюрьмы, но и спецшколы. Похожу, полистаю бумаги, и... все.

Вздоха облегчения я не услышал. Директор испытующе глядел на меня. Я зевнул и тут же почувствовал, что сзади кто-то есть, но оборачиваться не стал.

— Проводите инспектора в гостевую, — сказал директор.

— Там кондиционер не работает, — прохрипел кто-то.

Теперь я оглянулся. Лысый верзился в форме охранника.

— Как это не работает?! Где Пупер?

— Спит.

Пока они выясняли, кто, чем и когда должен заниматься, я осторожно покопался в кармане, еще раз зевнул и аккуратно всадил «кнопку» в ножку директорского стола. Наконец директор уговорил лысого разбудить Пупера и, в свою очередь, уговорить его включить кондиционер. Лысый пообещал директору наслать на него Пупера и мотнул головой, приглашая меня следовать за ним.

Директор задумчиво пожевал губами, глядя вслед лысому.

Я пожелал директору спокойной ночи и, не дожидаясь ответа, вышел. Лысый уже заворачивал за угол, когда я догнал его.

— Чертовский туман, не правда ли? — вежливо сообщил я ему.

— Туман? — переспросил он.

— Да-да, туман.

— Ах, туман... — задумчиво протянул он, и это было все, что мне довелось от него услышать.

Молча он провел меня до двери и, не пожелав спокойной ночи, удалился.

Комната действительно была без роскошеств. Складной стол, стулья, широкий диван, застеленный простыней и одеялом. Окно, шторы... Приподняв штору, я обнаружил за ней металлические ставни.

Я достал авторучку и прошелся по всем местам, куда только можно воткнуть микрофоны. Неонка не мигала — пусто. Я обшарил почти всю комнату, когда до меня дошел идиотизм этого занятия — не храп же мой они будут записывать!

Быстро раздевшись, я лег. Пусть они благородно не подслушивают, но я не собираюсь состязаться с ними в благородстве. Вынув из кармана пиджака зажигалку, я подкрутил колесико и прижал к уху, однако сколько ни вслушивался, ничего, кроме слабого звука, напоминающего храп, не было слышно.

Я представил себе, как директор спит за столом, хмыкнул, спрятал зажигалку и погасил свет.

Утром я проснулся, дрожа от сырости и холода. Видимо, лысому так и не удалось разбудить Пупера. Я лежал, кутаясь в негреющее одеяло, когда в дверь стукнули.

— Войдите,— сказал я.

В дверном проеме возник директор.

— С добрым утром! Завтрак через двадцать минут,— сказал он.— Я зайду за вами.

— Весьма признателен,— ответил я.

Директор вышел. Минуту я соображал, где у них санблок, потом догадался отодвинуть настенное зеркало, за которым обнаружилась ниша с умывальником и все остальное. Приведя себя в порядок, я разложил по карманам магнитофон, обойму с «кнопками», за ними последовали другие мелкие, но полезные устройства.

Директор пришел точно через двадцать минут.

— Мы завтракаем вместе с воспитанниками,— сказал он,— на втором этаже.

Перспектива совместного завтрака с бандой правонарушителей не восхитила меня. Представляю себе, что это за завтрак: шеренги затянутых в черную кожу надзирателей, стоящих над головами понурых, забитых оливоверов твистов и поигрывающих кнутами...

— Это наша традиция,— без всякой причины пояснил директор, когда мы подходили к лифту,— совместный завтрак, такая вот традиция. Обед и ужин раздельно, но завтрак — вместе. Делинквенты необычайно чувствительны...

Второй этаж в отличие от спартанской обстановки первого был в глаза вызывающей роскошью. Большой холл, во весь пол ковер с длинным ворсом, стены под резной дуб, в углу цветной телеви-

зор, одна из последних моделей, настенный двухметровик. Если в такой холл запустить десяток нормальных подростков без отклонений, то через неделю, ну через месяц они превратят этот салон в бак для мусора. А тут не просто подростки. Так что же — в самом деле затянутые в кожу и с кнутами?

Директор глянул на часы.

— Все уже в столовой.

Мы пересекли холл и вошли в столовую.

Хрустальных подвесок, правда, не было, но стекла и никеля хватало вполне. Подростки сидели за длинными столами и чинно брали с ленты транспортера подносы с тарелками. Воспитатели и охранники сидели рядом и брали подносы с другой ленты. На нас никто не обратил внимания. Директор подвел меня к столу воспитателей, взяв два подноса, один придвинул ко мне.

С едой все в порядке — масло свежее, джема порядочно, чай крепкий и печенье в меру рассыпчато. Искося я наблюдал за подростками. Четыре группы по десять — двенадцать человек, группы собраны по возрасту, за крайним столом взрослые парни, а ближе к нам — почти дети. Странно, обычно комплектуют по степени...

После завтрака директор повел меня по этажу. В классах никого не было.

— Рано еще, — пояснил директор, — а вот, кстати, библиотека...

Классы были чистые, мебель целая, библиотека большая. Я вспомнил свою бесплатную районную среднеобразовательную рунну, которой муниципальные подачки помогали, как самоубийце страховка, вспомнил грязь, ободранные столы и заляпанные стены...

На обратном пути я заглянул в спортзал и опешил: четыре подростка в присутствии воспитателя, поощряемые его азартными криками, избивали друг друга палками. Заметив, что удары не достигают цели или ловко парируются, я спросил директора:

— Вы уверены, что палочная дрэка пойдет им на пользу?

— Несомненно! Сублимация агрессивных влечений. Кроме того, они проходят курс каратэ. Появляется уверенность в себе, стадный инстинкт при этом подавляется. Понимаете, исчезает желание объединяться в группы. Разумеется, все под контролем, у нас опытные преподаватели.

Я покачал головой, но ничего не сказал. Сублимация так сублимация. Ну а если взбунтуются, как в Гаранском интернате?

Мастерские были оборудованы великолепно. Станки, верстаки и все такое... В этом я слабо разбираюсь, но, судя по внешнему виду, у них не утиль и не бросовый товар.

Несколько подростков собирали большое устройство с толстой трубой. Присмотревшись, я с удивлением обнаружил, что вырисовывается полевое безоткатное орудие.

— Это что,— ткнул я в ствол,— тоже сублимация?

Директор мягко взял меня за локоть и вывел в коридор. Он столковывал мне о врожденной агрессивности, об избытке энергии, все о той же сублимации, а я вспоминал, как еще до школы выклянчил у старшего брата, тогда еще живого, подержать тяжеленный люгер и как мы с дворовой мелюзгой ползали по мосту и подбирали автоматные гильзы после стычки двух банд, а пределом мечтаний у всех был «глостер» с удлиненным стволом. Может, не так уж и глупо с этой пушкой, подумал я, дай нам тогда кто-нибудь вволю набабахать из орудия, впечатлений хватило бы надолго и не сразу начали бы лить кастеты и точить напильники.

— Надеюсь,— перебил я директора,— пушку будут испытывать в достаточно отдаленном месте? Жертвы среди мирного населения для сублимации, я полагаю, не обязательны.

— О да!— улыбнулся директор.— У нас под боком ущелье, рядом с бывшим полигоном. На полигон когда-то и химию сбрасывали, туда мы не забираемся, а ущелье — глубокое и глухое. Снаряды холостые, но грохот порядочный, а мирному, как вы говорите, населению ни к чему знать о наших забавах. Не так поймут...

— А ваши...

— Ребята в восторге! Масса впечатлений! Вторая группа уже месяц живет в ожидании испытаний. Ни одного нарушения, за три замечания лишаем права присутствовать...

Может, они и перегибают палку со своими методами, но если это действительно помогает держать их в узде, то и черт с ней, с пушкой. К тому же вполне в духе старых славных традиций. Для чего им безоткатка, как не для воспитания? Не собираются же они в самом деле штурмовать Долину?

Миссия моя с формальной стороны была выполнена. Перебрать бумаги, просмотреть на выбор пару досье — и можно смело писать в отчете, что в школе для подростков-делинквентов № 85 все в порядке. Идеальном.

Оставалась одна неувязка, и необходимо было ее увязать. Директору я сказал почти правду, по крайней мере ни на букву не отойдя от текста сопроводительного листа. Действительно, я инспектор, но только не федеральный, а федерального бюро, а это несколько иное, не муниципальное, ведомство. К тому же инспектором я был не по несовершеннолетним, а по расследованию... как там в Уложении: «Преступной или могущей стать преступной деятельности».

Не мог же я сразу после завтрака заявить директору, что у них в школе неладно, и небрежно спросить, почему за последние двенадцать лет ни один из выпускников не был затребован родителями? Причем это еще половина апельсина, как сказал старина Би-

до, когда на очередном допросе я пообещал уличить его за бродяжничество, поскольку ни в чем серьезном уличить не мог. Так вот, родителей у многих не было, а находящиеся чаще всего были под надзором либо уже изолированы. Хуже другое — ни один из выпускников не был обнаружен не только на территории графства, но и по всей конфедерации. Если, выходя из школы, они меняли фамилии и жили по чужим документам, то это попахивало если и не заговором, то чем-то очень похожим на заговор.

* * *

Рассортированные бумаги лежали аккуратными стопками. Директор широким жестом указал на свое кресло и, пообещав зайти через час, вышел. Я рассеянно полжстала платежные ведомости, не глядя переложил слева направо стопки учетных карточек, наконец добрался до списка учащихся. Так-так, сорок шесть человек: Цезар Коржо, Хач Мангал, Стив Орнитц, Пит Джджер...

Пит Джджер... Тогда он сидел перед нами на жесткой скамье в отделении, вцепившись трясущимися руками в барьер и, весь перекошенный, с идиотским смехом исходил слюной. Его подобрала патрульная машина в Веселом квартале у дверей какого-то притона. Придя в себя, он назвался, а когда дежурный составил акт и заполнил форму на принудительное лечение, то компьютер, в который ввели данные Пита, неожиданно блокировал выход.

Дежурный запросил отдел информации и вызвал следователя. Следователь и распечатка на Пита пришли одновременно. Судя по бумаге, сейчас он должен был находиться в спецшколе, за триста миль отсюда и под надежной охраной.

Я засиделся в конторе и заехал с патрульными в отделение выпить кофе и перекусить — третий час ночи, а утром, в субботу, я собирался вылететь на Побережье, решить, наконец, с женой, в каких отношениях мы с ней находимся и долго ли эта неопределенность будет длиться. В буфете я взял несколько бутербродов, кофе не было, запивал минералкой. Когда я пошел к выходу, меня чуть не сшиб дюжий сержант, выскочивший в коридор с криком: «Где докт!»

За ним из комнаты неся дикий вой, сопровождаемый глухими ударами.

Дежурный выкручивал руки должговязому подростку, а тот вырывался и бился головой о барьер.

— Позвольте,— сказали за моей спиной. Полицейский доктор отпихнул меня от барьера, выхватил шприц и ловко вкатил в руку буйствующего несколько кубиков чего-то желтого.

Подросток обмяк и привалился к барьеру. Дежурный вытер

со лба пот, кинул фуражку на стол и уставился на меня. Я показал ему свою карточку.

— Что с ним?

— Взбесился, молокосос,— обиженно сказал дежурный.— Его притащили сюда, ну, в стельку, привели в чувство, а тут выяснилось, что ему в спецшколе полагается быть. Только спросил про школу, а с ним истерика. Следователя укусил, сейчас руку перевязывает. Этот, как его, Пит Джеджер, беглец, по всей видимости...

Юнец несколько пришел в себя.

— Послушай, парень,— мягко сказал я,— тебя никто не тронет и плохого не сделает. Тебя что, обижали в школе?

Он вдруг вскочил и уставился совершенно круглыми глазами так, словно за моей спиной увидел привидение, и не одно к тому же. Когда я невольно оглянулся, он с криком «сволочи!» боднул меня в живот и перескочил через барьер. В дверях его остановил кулак сержанта.

— Зря ты его так,— сказал я.

— Виноват,— равнодушно ответил сержант и пошевелил носком ботинка голову лежащего на полу Джеджера.— Минут через пять очнется, а если водой окатить, то сразу.

И вот Пит Джеджер косо сидел перед нами и тряся, лепетал что-то, закатывая мутные глаза, а пока дежурный выяснял по телефону, куда его сунуть до утра, я прикидывал, успею ли взять билет на ночной рейс, чтобы не тратить времени зря.

Раскисшего подростка отволокли в камеру, а я с попутным патрулем уехал в аэропорт.

Жену я не застал, придавленная тяжелой китайской вазой записка гласила, что у нее репетиция, она извиняется, но всю волокиту придется отложить на месяц, до премьеры, и что надо поговорить с сыном — плохо ходит в школу. Сына тоже не было дома. В его комнате все как обычно: стены оклеены фотоблоками, в углу неизменный хаос. Травкой не пахло, упаковок из-под таблеток тоже не было видно, это уже славно, а что не посещает занятия — так еще неизвестно, поможет ли ему образование выбиться на местечко потеплее. Мне лично оно только мешало. Этого ему, конечно, говорить не надо; пару слов об упорстве, настойчивости, ну там общезвестные примеры...

Зачем ей понадобилось это перед премьерой, думал я, возвращаясь с Побережья. Только при посадке сообразил, что все просто — она и из этого хотела извлечь выгоду — бесплатная реклама, успех фильма обеспечен!

Утром меня вызвал Шеф и попросил ознакомиться с новым делом. Судя по его вежливому тону, он опять поссорился с секретаршей и искал, на ком сорвать зло.

Я взял папку и тихо вышел. Минут через пять он вызвал меня по селектору.

— Ты забыл отчитаться по делу Ванмеера, — сказал он.

— Дело закрыто и передано в суд.

— Вот и славно! Тогда приступай. Ознакомься и приступай.

— Слушаюся! — рявкнул я и щелкнул каблуками.

Выходя, я услышал его довольное хмыканье. Такая вот жизнь: приходится маневрировать, ловчить и при этом блюсти собственное достоинство, а когда это невозможно, то не терять хотя бы чувство юмора. В кабинете я взялся за папку. По делу проходил недавний знакомец, Пит Джеджер. В памяти была свежа его истерика в отделении, я вначале даже не понял, почему на него завели дело. И чем больше вчитывался, тем меньше понимал.

К делу прилагались показания Пита, из кармашка торчала кассета — копия допроса. Протокол в основном состоял из отдельных слов, многоточий и ремарок типа «допрашиваемый молчит», «допрашиваемый истерично хохочет» и т. п. На все вопросы о причинах побега он отмалчивался или плакал, а когда ему сказали, что позвонят в школу, — потерял сознание. Прослушав кассету, я ничего нового не выяснил. Между всхлипыванием, плачем и надсадным кашлем он, как заведенный, повторял, что в школе ему будет крышка, что там нечисто и что Хенки, Колин и Етрос все расскажут, если вырвутся. Медэкспертиза: типичный случай запущенного невроза параноидального типа, возможно употребление психотомиметиков.

Запросив материалы по школе перед тем как трясти Пита, я копнул глубже... и пошло-поехало!

И вот я за столом директора перебираю большие коленкорые папки с личными делами. Так, досье Джеджера: родился в Остоне, Норт-Энд, семья среднеблагополучная, учился в бесплатной государственной, связался с компанией «пиратов». Интеллект — 94. Агрессивность — 115. Автобиография. Родился, учился. Школьный рапорт. Не окончил, направлен в распределитель за избивание учителя. Плюс к этому мелкие кражи, взлом киоска, поджог мусоропровода. Акт о направлении в спецшколу, акт о приеме, запись врача — медкарта прилагается, ежемесячный контроль... Вот оно! Отметка за этот месяц — он, что же, сейчас мирно занимается в библиотеке или там в мастерских, а не сидит в следственном карантине! И вообще он не в бегах, а тихо дерется на палках или сублимирует агрессивность в нечто дальнобойное? Судя по документу так оно и есть, и подпись рядом. Ладно, допустим, любой проходец на допросе мог себя выдать за Джеджера. Только вот с пальчиками плохо, отпечатки все-таки его, Пита, и находиться ему здесь нельзя. Так что отметка о контроле липовая.

С этого и начнем, аккуратно, без нажима. И не сейчас, а после обеда. Я снова взялся за список: вот и Хенк Боргес, а вот Колин Кригльштайнер, еще Колин, только Ливерс. Зато Етрос у них один.

Листая инвентарную книгу, я обнаружил в спортивном снаряжении два надувных спасательных плота. Насколько мне известно, самый крупный водоем поблизости — это бассейн в муниципальном парке Долины.

Не дождавшись директора, я ушел к себе в комнату. Войдя, я остановился на пороге: вещи лежали не так. Портфель ближе к краю стола, а стул вдвинут под стол до упора. Что же они искали? Все свое я ношу с собой, особенно в чужих владениях.

Я сел на кровать, достал зажигалку и прошелся по всем «кнопкам», которые распахал на втором этаже, под директорские речи о сублимации. Чувствительность на пределе, но везде пусто! Только один микрофон брал странные звуки, что-то вроде мелодичного похрюкивания.

Сунув приемник в карман, я встал. И замер. Из-под кровати мне послышался слабый шорох.

— Ну, вылезай! — спокойно сказал я и присел.

Под кроватью никого не было.

* * *

После обеда я шел по первому этажу. Везде пусто, у выходе на стене появился большой плакат с сочной мулаткой «Посетите Гавайи!».

«Непременно посетим», — пробормотал я и вышел во двор.

Школа находилась на склоне горы, сверху нависали огромные замшелые валуны. Парк шел вниз, дорога, по которой я вчера добирался, усыпана листьями. Вокруг дома аллея, скамейки.

Ночью шел дождь, спортплощадка за школой раскисла, лужи маскировались опавшей листвой. Площадка была врезана в склон, двери за ней вели, очевидно, в раздевалку и душевые.

Так, волейбол, баскетбол, регби... а это что? Я остановился перед массивным сооружением из стальных труб, автопокрышек, цепей и досок. От несильного ветра все это угрожающе раскачивалось и скрипело, цепи звенели, мокрые доски медленно поворачивались... Похоже на кинетическую скульптуру. Вдруг я физически ощутил, как чей-то взгляд жжет мой затылок. Не оборачиваясь, я полез в карман, вынул платок и уронил его.

Ни на площадке, ни у дома никого не было. Окна в ставнях даже днем! Если кто-то и смотрел на меня, то только из школы.

Начинала раздражать неестественность происходящего. Если

здесь в самом деле нечисто, то почему никто не трется возле меня, пытаюсь сбить с толку, запугать или просто купить? Или у них и намыленный муравей в щель не влезет, как говаривал старина Бидо, или это блеф.

Даже самого заурядного инспектора надо ублажать, от его доклада зависит размер куска, отхватываемого из кармана налогоплательщика в школьную казну.

Туча, цеплявшаяся за вершину, сползла вниз. Закапал мелкий дождь. Не знаю, как намыленному муравью, а мне пора вползать в дело и переходить от впечатлений к фактам.

* * *

— Что ж,— сказал я директору,— все в порядке. Теперь для отчета надо побеседовать...— Я рассеянно поводил пальцем и ткнул наугад.— Скажем, вот этот, Селин Гузик.

— Селин? Минутку!

Директор перебрал дела, сунул мне досье Гузика и со словами «Сейчас приведу» вышел. Глядя вслед, я соображал, что же здесь неладно? Потом дошло — директор идет за воспитанником как последний охранник. А селектор на что? Странные тут правила...

Итак, пусть для начала Гузик. Шестнадцать лет. Состоятельная семья. Развод. Остался с отцом. Шайка «ночные голуби». Драки, мелкие кражи, участие в Арлимских беспорядках. Интеллект — 90. Агрессив.— 121. Характеристики, медкарты и т. п.

За дверью засмеялись, потом без стука вошел директор, а с ним высокий черноволосый парень. На правом рукаве нашита голубая единица.

— Инспектор побеседует с тобой, Селин,— сказал директор, а мне показалось, что он охотно бы добавил, «если ты не имешь ничего против» или нечто в этом роде.

— Здравствуйте,— вежливо сказал Селин.

— Привет,— ответил я,— садись.

Директор вышел. Я впился глазами в лицо Селина, пытаюсь уловить облегчение или растерянность, но ничего не заметил.

— Если хочешь,— предложил я, следя за ним,— выйдем во двор.

— Так ведь дождь! — улыбнулся Селин.

— Ну, ладно. Есть претензии, жалобы?

— А как же,— заявил он (я встрепенулся),— есть претензии! Уткнувшись в бумаги, я, не глядя на него, спросил:

— Чем недоволен?

— Ребят у нас мало. Группы — по десятке! Со всей школы две команды наберешь, а на регби и того меньше. Нейнтересно!

— Хорошо, я запишу. На что сам жалуешься?

— Я же говорю, ребят мало!

В его абсолютно честных глазах не было ни капли иронии. Над чем они все-таки смеялись с директором в коридоре?

— Тебе здесь не очень скучно?

— Что вы! Я староста группы,— с достоинством сообщил он, тронув матерчатую нашивку на рукаве,— времени нет скучать.

Ах, даже староста. Не слышал я, чтобы в спецшколах привлекали подопечных к управлению. Оригинально!

— Как же ты сюда попал?

Селин хохотнул.

— Ерундой занимался с ребятами...

Он рассказывал о своих делах спокойно и равнодушно, словно все это было очень давно и не с ним. Перевоспитали уже или считает прошлые свои забавы нормальным досугом? Вот я сижу тут с ним, слушаю о его подвигах на арлимском пепелище, а что мой сын?.. Черт его знает, с кем он связался и почему не ходит в школу...

— Чем вы занимаетесь в мастерских? — перебил я Селина.

— Как чем? Наша группа пулемет собирает, крупнокалиберный.

— Зачем вам пулемет?

— Ну, приятно пострелять. Я в детстве самопалы делал...

— А сейчас не делаешь?

— Зачем? Пулемет же!

— Да, пулемет это не самопал. Боеприпасы сами делаете?

— Конечно. Я придумал, как гильзы обжимать.

— Молодец! А не боитесь ранить кого-нибудь?

— Что вы? — удивился Селин.— У нас знаете какой полигон! Вот если самопалы — точно кого-нибудь убьет. А так — нет.

— Ну, ладно... что это?

За окном кто-то затрещал и засвистел. Селин вытаращил на меня глаза.

— Это соловей,— осторожно сказал он,— значит, дождь перестал.

— А разве они осенью поют?

— Поет ведь этот.

— Хорошо, свободен. Позови директора.

Пришел директор, Селин остался стоять в дверях.

— С Гузиком я закончил.

— Ага. Ну, иди, Селин. Впрочем... — Он посмотрел на меня.

— Напоследок, скажем... — Я как бы наугад провел по списку.—

Вот этот, Пит Джеджер.

— Позови Пита,— сказал директор как ни в чем не бывало.

Селин кивнул и вышел. Лифт слабо загудел. Директор между тем сел в кресло напротив и отодвинул бумаги Селина.

— Один из самых трудных подростков. Полнейшая невосприимчивость к требованиям подчинения закону и в большой степени недальновидный гедонизм. Мы возились с ним два года, теперь его не узнать.

— Чем же вы его обломали, пулеметом?

Директор слабо махнул рукой.

— Пулемет — это пустяки, это уже потом, чтобы снять остаточную агрессивность, ну и чтобы не было свободного времени. Не вдавливать же им с утра до вечера биографии отцов-основателей? Мы прививаем...

Директор не успел договорить, что именно они прививают, как в дверь вошел охранник, высокий, похожий на Селина, повзрослевшего лет на двадцать, с густой шевелюрой и низким лбом.

— Вы за Джеджером посылали, — спросил он, подобострастно глядя на меня, — так он в изоляторе, не может, извините, прийти.

— Что он натворил? — любопытствовал я.

— Почему же — натворил! Он болен. Температура...

— Слушайте, Пупер, — вдруг рявкнул директор, — вы не включили кондиционер!

Они начали громко выяснять, почему не включен кондиционер, кто спит во время дежурства, куда исчезают протирочные концы, а я, не торопясь, извлек дело Джеджера и небрежно пролистал его. К шумной перебранке я не прислушивался, это все дешевый театр, я знал, что вызов Пита кончится чем-то в этом роде.

— Вот что, — сказал я, когда они замолчали, — не мешает осмотреть и изолятор. Он у вас где, на втором?

Я был уверен, что директор сейчас лихорадочно придумывает, как не допустить меня к изолятору или отвлечь внимание от Джеджера. Если он объявит Пита остриинфекционным больным, тогда он последний дурак. И вообще, что бы он ни сказал, все не в его пользу. Послать-то он за ним послал!

Пупер вежливо улыбнулся и вышел. Я встал. Директор глянул на часы и со словами «В изолятор так в изолятор» пропустил меня в коридор.

Миновав холл второго этажа, мы пошли широким коридором. На стенах висели приличные репродукции чего-то классического: люди, кони, батальные сцены... Четыре большие двустворчатые двери. Сквозь матовые стекла доносился смех, кто-то декламировал стихи пронзительным голосом. Мы свернули в узкий переход и вышли у спортзала. Оттуда шел металлический ляг, перемежаемый глухими ударами.

— Опять на палках сублимируют!

— Нет,— улыбнулся директор,— они работают на снарядах.

Я приоткрыл дверь. В центре зала стояли два сооружения, младшие братья той штуки, что мокла на спортплощадке. Из двух групп по пять человек одновременно выбегали два подростка, бежали наперегонки и, подпрыгнув на трамплине, врезались с разгона прямо в эти... снаряды. Сооружения угрожающе содрогались, доски качались во все стороны, автомобильные покрышки раскачивались бредовыми маятниками, тросы скрипели и хлопали по доскам.

Невысокий парень ужом проскользнул между досок, оттолкнулся от одной покрышки, нырнул под вторую, повис на секунду на тросе и, соскочив с противоположной стороны, побежал обратно под одобрительные крики своей команды. Второй бежал назад чуть прихрамывая.

— Забавные у вас снаряды!

— О! Если бы вы приехали летом! К сожалению, зал небольшой, масса инвентаря лежит на складе. Ребят оторвать невозможно... Вы читали статью Козна о содержании делинквентной культуры?

Я ограничился невнятным движением головы.

— Мы подавляем беспричинную враждебность ко взрослым или просто «не своим» исключительной целенаправленностью их деятельности. Не говорим: делай то, не делай этого и ты будешь преуспевать. Они видят сами: если сегодня выточат ствол, то через неделю смогут пострелять, если выучат урок по химии, то смогут завтра заняться пиротехникой. Это не просто «стимул — реакция» и не явное поощрение, просто они знают, что, пропустив ступень, не смогут сделать следующего шага. Причем с каждым мы работаем индивидуально.

Я слушал его невнимательно. Пока мы шли по коридору, он жаловался на мизерность дотаций, а я все пытался связать увиденное и услышанное с тем, что ни один из выпускников школы к родителям не вернулся и нигде не зарегистрирован. Ни на бирже, ни в полиции. И еще я гадал, кого мне предъявят вместо Джеджера.

Мы остановились у стеклянной перегородки с большим красным крестом на белом круге. Стекло толстое, с синеватым отливом. Как на патрульных машинах, пулей не пробьешь. Интересно!

А сейчас — особое внимание! Если не будет прямой опасности, то расследование я проведу сам, мне и лавры, а если... тогда стоит сорвать с зажигалки верхний колпачок и нажать на кнопку, как из Долины поднимется двадцатиместный «сикорский» с полным боекомплектом.

На той стороне показалась фигура в белом халате, стекло ушло в стену.

— Это наш доктор,— представил директор.

— Приятно,— буркнул доктор и протянул мне руку.

Доктор мне не понравился. Небритый брюнет с колющим взглядом. Левую руку я не вынимал из кармана, поглаживая колпачок зажигалки. «Еще вкатит какую-нибудь гадость!» — опасливо подумал я.

Пит на вопросах нес бессмыслицу, но одно слово он часто повторял. Это слово — изолятор. Может, они здесь ребят пичкают химией?

Доктор провел нас к белой двери, рядом стоял здоровенный санитар. Прислонившись к стене, он задумчиво почесывал нос, игнорируя наше появление.

— Предупреждаю,— сказал доктор, неприязненно косясь на меня,— мальчик приходит в себя после нервного срыва, лучше с ним не разговаривать.

— Что вы, доктор! — ответил я.— Это чистая формальность.

Он постучал в дверь и вошел. Мы с директором последовали за ним. На кровати лежал парень, при нашем появлении он сел, Я, не глядя на него, осмотрел помещение.

— Все в порядке,— сказал я,— вопросов нет, спасибо, доктор,— и словно невзначай глянул на пациента.

В следующую секунду я только героическим усилием воли сдержался от черной ругани. Его можно было назвать двойником Джеджерера, если бы не свежий шрам на носу, заработанный им четыре дня назад в нашей конторе. Это был Пит Джеджер в натуре, а не какая-нибудь дешевая подделка, как сказал бы Шеф.

Мне показалось, что он меня не узнал. Но я напрасно обольщался. Пит вскочил, вытянулся во весь свой дурацкий рост и радостно завопил:

— Привет, капитан! И вы здесь?

Доктор равнодушно смотрел в окно, а директор со слабым удивлением на лице повернулся ко мне. В какой-то миг мне помешало облегчение в выражении его глаз, но мне уже было на все плевать.

Я медленно полез в карман, вынул из потайного клапана служебную карточку и с непонятным самому себе злорадством сунул ее директору под самый нос.

* * *

Ползунок ночной лампы я довел до конца, волосок едва тлел. Повернувшись с боку на бок, а затем приподняв и опустив ноги, я аккуратно запаковался в одеяло. В комнате было прохладно, кондиционер так и не включили. Завертываться в одеяло меня на-

учил Гервег, в армии. С моим гуманитарным образованием шансов устроиться на работу не было, и я завербовался на три года. Во время заварухи в дюнах, когда взбунтовалась стартовая команда берегового комплекса, я заработал две дырки и повредил ногу. Гервег выволок меня на себе под огнем ошалевшего от наркотиков персонала базы. Компенсацию я быстро проел, а в Бункере вежливо объяснили, что работой они не обеспечивают, и выслуга лет аннулирована за недоблестное поведение — потерю оружия. Снова меня выручил Гервег, его дядя оказался шишкой в полиции, я плюнул на все и отрубил два года в школе для переподготовки. Там меня заметил Шеф, выделил, два удачных дела — и я попал в штат.

Я почти согрелся, но никак не мог заснуть. Теперь здесь знают, кто я, безопасность, следовательно, возросла. После принятия Закона о Возмездии убийства и подозрительные несчастные случаи с сотрудниками федеральных органов сошли практически на нет. Пока я здесь, мне ничего не грозит, да и на обратном пути тоже. Если над ними зависнет бронированный двухвинтовик и даст ракетный залп, то вряд ли понадобятся оружейные мастерские и спортзал. Разумеется, все это при условии, что они не в номерном квадрате. Но кто меня пустит в квадрат?!

Плохо, что они спокойно приняли мою засветку. Директор слегка удивился, а персоналу, кажется, на все плевать. Я объяснил директору, что мой визит связан с побегом Пита, но пусть это его не волнует, дело формальное, а инспектором я назвался, чтобы не будоражить воспитателей и подопечных.

Директор и не думал волноваться! Будь он трижды артист — игру я бы заметил, но он действительно был спокоен. Ему все равно, кто я и зачем, а это могло означать одно — за ним стоит реальная сила. Либо армия, либо курия. Не исключено, что и то, и другое.

Перебирание бумаг, опрос воспитателей и охранников ни к чему не привели. На мои расспросы, каким образом и почему удрал Пит, воспитатели пускались в рассуждения о сложной и тонкой психологии подростка-делинквента, а охранники с унылым однообразием жаловались на нехватку рук.

О выпускниках я пока не заикался, не торопясь ворошить осиное гнездо. Не нравилось мне здесь и что-то фальшивое мерещилось во всем. Так вроде школа как школа, а зайдешь за фасад — обнаружится, что это огромная декорация с пыльной мешковиной и трухлявыми подпорками сзади.

Я насторожился. По коридору кто-то шел, один, особенно не таясь. Шаги затяжили у моей комнаты. За дверью потоптались и постучали. Плохо! Если бы сейчас ворвалось несколько молодчиков

с кастетами или даже пукалками, я бы знал, что делать. Но когда возможно стучат, значит, безнадежно!

В дверь еще раз стукнули, и темная фигура, возникшая в проеме, спросила голосом директора:

— Вы спите?

Я приподнялся на локте, пружины тонко скрипнули.

— Мне ненадолго,— сказал директор и вошел.

Выключатель находился у изголовья. При верхнем свете директор выглядел представительно: крупная фигура, высокий лоб, опущенные уголками вниз усы и подозрительно спокойные глаза.

Пока я натягивал брюки, он молча сидел у стола, внимательно разглядывая свои ногти. В моей практике ночные визиты кончались обычно тем, что на десерт собеседник пытался меня кокнуть либо подкупить. Впрочем, если бы директор вдруг кинулся выкручивать мне руки, я не поверил бы глазам. Не к лицу! Это дело лысого или даже Пулера, а то есть у них еще такой, физиономия — вылитый Бак-вивисектор.

— Надеюсь,— произнес наконец он,— у вас все в порядке?

— Разумеется,— улынулся я, хотя мне стоило больших трудов не послать его к черту,— дело почти формальное. Не хотелось влутывать департамент просвещения, хотя,— здесь я еще раз улыбнулся,— мы воспользовались их вывеской. Ваши парни не ангелы, Джеджер тоже, знаете ли...

— Неужели он что-то натворил? Нам бы сообщили!

— С ним все в порядке.

В этом я как раз и не был уверен, но сейчас меня больше занимал сам факт полночного разговора. Притом столь содержательного.

— Вы уезжаете завтра? — спросил он.

— Если ничего не изменится...

Глаза его чем-то полыхнули, кажется, бешенством.

— Послушайте, вы срываете нам работу. У нас дел по горло!

— У меня тоже.— Я сочувственно развел руками.— Масса дел. Ничего, завтра посмотрю кое-какие бумаги, а после обеда распрощаюсь.— А сам подумал: «Там видно будет!»

— После обеда?.. Вам удобнее выехать утром.

— Этот вопрос, с вашего позволения, я постараюсь решить сам.

Он устало вздохнул, полез в карман, достал круглый пластмассовый жетон и бросил его на стол.

— Утром! — тихо заключил он нашу беседу и вышел.

Минуты две я просидел в легком оцепенении. Во-первых, машину я взял свою, а не служебную, и теперь Шаф черта с два выпишет чек на бензин. Во-вторых, прибавки в этом году можно не ожидать, да и в будущем тоже — такой прокол!

Я повертел прозрачный жетон с впрессованной в него золотистой буквой «к» и сунул в карман.

Разочарование было не очень велико, я подозревал нечто в этом роде. Одно смущало: жетонами курири так не бросаются, я поверил бы и на слово. Не такая важная шишка, чтоб жетон... За все время службы я только второй раз видел кругляш. Крайний случай и высший козырь. И вдруг высшим козырем по скромному капитану! Что-то не то! Требуется, чтобы я убирался скорее, значит, могу увидеть или услышать нечто, ради чего меня и прихлопнули жетоном. Как там приговаривал директор, когда обходили классы? «Рэбятя при деле», — вот что он повторял.

Хорошенькое дельце!

Выпускников прибирает к рукам курири. Еще был Славно подготовленные крепкие парни с бурным прошлым, хорошо владеющие оружием. Курири мусор не нужен и просто вреден. То-то в последнее время шатунов стало меньше.

Странно получается с директором. Если бы жетон предъявил лысый или этот Пулер, я бы не очень удивился. Но директор! Я видел его досье: Игнац Юрайда, пятьдесят два года, неженат, педагог, награжден медалью конгресса «За гуманизм».

Этот гуманист швыряется жетонами как заправский «кардинал» — чушь какая-то. В свое время его таскали в комиссию по расследованию антигосударственной деятельности. Протесты общественности, вой прессы. И вдруг такой поворот! Я не ангел и работаю не с ангелами. При случае могу поступиться принципами, бульдозер зонтиком не остановишь, как говаривал старина Бидо, когда его в очередной раз вышвыривали из отделения, ничего не добившись. Не всем же играть благородные роли, но когда короли превращаются в шутов — это как-то не по правилам.

Могли его купить или запугать? Его дом дважды пытались сжечь ультра, где-то на Юге Африки брали заложником сепаратисты, несколько раз в него стреляли. Такого можно сломать, но запугать вряд ли. Да и на что он нужен, сломленный? Курири любит, чтобы себя выкладывали с любовью к делу. А вот какое дело — это уже конклав преподнесет в лучшем виде и надлежащей упаковке. Объяснят так, что сам поверишь и других убедишь в отсутствии много выхода.

На втором этаже, судя по слабой музыке и еле слышному смеху, не спали. Я посмотрел на часы — поздноватое... Звукоизоляция у них хорошая: в зале я видел «Филис-до», тысячеваттный ритмизатор, ко мне же доходил слабый писк.

«Мальчики при деле» — лучше не скажешь! При деле! Да-а, стоило ему лет десять назад пройтись по Арлиму, и если голову не открутят, то молись богу, дьяволу или Национальной деклара-

ции, чтобы жуткие полчища юных негодяев занялись чем-нибудь толковым, а не шлялись по улицам, терроризируя весь район. А может, он увидел, как вся его работа, гордые принципы и белые манишки летят ко всем чертям и что высокие идеалы не стоят фальшивой монеты, потому что на каждого порядочного и достойного, выпестованного им, наше общество, образец истинной демократии самого свободного мира, плодит тысячами подонков...

Его могли купить и тем, что организованная преступность, в просторечии — курия, противостоит в первую очередь государству и оспаривает его грабительские прерогативы, облегчая карманы налогоплательщиков. И, прошу заметить, не какая-нибудь там мафия, каморра, триада, а именно «курия»! Для благозвучия или черт знает для чего преступный синдикат присвоил себе имя центральных учреждений палской власти, и взамен «акул», «торпед», «кало» появились «аббаты», «кардиналы»... Он мог выбрать меньшее зло, и меньшим злом для него оказалась курия.

В моих рассуждениях была неувязка. Юрайда, судя по тому, что я о нем знал, скорее примкнул бы к левакам или радикалам, чтобы героически и бессмысленно погибнуть в стычке с полицией, не запятнав чистоты своей совести. Для курии у него характер не тот, хотя что я знаю о его характере? Подозрительно вот что: если ребят прибирает курия, то фамилии менять глупо. И жетон ни к чему. Значит, я наткнулся или могу наткнуться на нечто запретное. Но что задумали в курии — переворот? Зачем тогда начинать со школ, пестовать юнцов, а главное — меня и близко бы не подпустили. Шеф бы придержал. Хотя мы и зовем его за глаза «Трясуничком», это не очень справедливо, если надо, он и сам полезет в пенло. Долг службы, честь мундира и все такое... Но там, где пахнет курней, он становится тверд и негиблем, проявляя коварство и отвагу в чудовищных дозах, лишь бы не ходить по минному полю. Нюх у него на курию фантастический, подозреваю, что он на дотации. Что делать! С курней, если идти поперек, шансов просто нет, а это всегда обидно, когда нет шансов. На это дело, будь оно хоть на нитку связано с курней, Шеф не отпустил бы ни при каких обстоятельствах, разве что пожелай он избавиться от меня. Но если меня утопят, в гору пойдет Торл, дурак потомственный и патентованный, а Шеф после курии больше всего боится дураков.

Сверху все еще несутся писк ритмизатора и слабый топот.

Что ж, подумал я, если надо уехать, то я уеду. Порадую шефа жетоном. Но еще не утро! А поэтому не будем беспокоить директора Юрайду и предпримем легкий марш-бросок на второй этаж. Чуть позже...

ГЛАВА ВТОРАЯ

Наверху стихло. Минут двадцать я выжидал, прислушиваясь, а затем вышел в коридор. Никого не было, но там, на этажах, у лифта вполне мог сидеть охранник. На всякий случай.

Где у них лестница, я так и не понял, однако днем, обходя здание, обратил внимание на водосточные трубы, гладкие, блестящие, словно отполированные. Несolidно ползать по ночам, но на что только не пойдешь, лишь бы не тревожить занятых людей.

Я был уверен, что на первом этаже, кроме меня, никого нет, но эта уверенность быстро исчезла, я чувствовал затылком, как сзади неслышно и быстро подкрадывается... с кастетом... сейчас врежет! Не оборачиваясь, я резко дернулся вправо и стукнулся о стенку. За мной никого не было. Я пожал плечами и вернулся в комнату.

Взяв из портфеля кое-какие мелочи, я пошел к выходу. У последней двери услышал странные звуки и слегка приоткрыл ее. Из комнаты выполз могучий храп. Я вздохнул и пошел дальше. Дверь во двор, как я и предполагал, была открытой.

Во дворе было темно и глухо. Ежась от прохлады, я прошелся вокруг дома, дважды ударившись плечом о дерево. Можно было подумать, что в здании, темнеющем на фоне безоблачного звездного неба, все вымерло, если бы не тонкие спицы света, местами пробивающиеся на втором и третьем этажах. Луны не было видно, ее загораживал склон.

Пока я ходил у дома, ветер пригнал туман, звезд почти не осталось. Я споткнулся о корень и, к стыду своему, потерял направление. Внутренний голос подбивал идти вправо...

На руку упало несколько капель, но дождя не было. Я пошел быстрее и тут же уперся вытянутой ладонью в металлическую полосу. Нащупав соседние, я понял, что голос привел к воротам.

Выругавшись, я повернул обратно и пошел медленнее.

Не успел я отойти шагов на двадцать, как затылок опять свело от напряжения. Я был уверен, что за мной кто-то идет. Шагнул с дорожки в траву, за дерево. Во мне медленно взбухала злорада. Если и эта тревога окажется ложной, то я за себя не ручаюсь...

Кто-то беззвучно прошел мимо, выдавая себя движением воздуха. Он шел от ворот, следовательно, к школе. Слава богу, что-то начало происходить. Наконец появляется некто, за которым можно следить, выявлять контакты, кого можно брать с поличным и нейтрализовать. Ночная приставка барахлила. Пока я вкручивал фильтры, он ушел за поворот. Не отрегулировав приставку до конца, я двинулся за ним. Большой четкости не требовалось, хватит и контура. Не подвели бы только батареи, все-таки сыро...

Возбуждение улеглось, все становилось обыденным, привыч-

ным. Ночной гость, судя по контуру,— мужчина. Охранник или воспитатель, загулял допоздна в Долине, а теперь спешит исполнять служебные обязанности. Я беру его за кадык и спрашиваю, не пешком ли он двигался от самой Долины, а если его подвезли, то кто и докуда и почему не было слышно машины.

Он будет врать или говорить правду, а мне бы только за слово зацепиться. Ну, а если это подопечный, то еще лучше. Он быстро расскажет, как выбирался из школы, куда и к кому уходил, а главное: почему вернулся? Если же посторонний, то открываются очень богатые перспективы. Курии, например, нет нужды лазать по ночам!

Ночной гость вышел прямо к зданию. Я сунул приставку в карман. Ветром разогнало туман, звезд хватало, чтобы следить за перемещениями пришельца, тем более что из-за горы весьма кстати вылез край луны.

Пришелец подошел к входной двери. Я напрягся, собираясь догнать его у лифта, однако полуночник потрогал дверь, затем отошел на несколько шагов и, судя по позе, стал разглядывать окна.

Правую руку он держал в кармане, а левую у лица. Та-а-а-а! Я выдернул приставку и нырнул за скамью. Минуты две он стоял неподвижно, я успел подстроить фильтры. Он стоял боком, лицо светилось красным пятном, у лица дрожал полупрозрачный прямоугольник с темными четкими кружками. Проклятие! У него тоже приставка ночного видения. Хорош бы я был, если бы он обернулся.

Ночной пришелец снова пошел к двери, открыл ее, заглянул внутрь и отошел, оставив ее открытой. Затем двинулся в мою сторону, смотря куда-то вбок. Дойдя до угла, он заглянул за дом, потом вернулся, но опять не вошел. Проверяет подходы!

Пока он шелестел листвою за углом, я в несколько прыжков оказался у входа и пробрался в свою комнату. Встав у двери так, чтобы видеть в щель коридор, я вытащил из футляра ампулу с люмоксином и погасил свет. Будет забавно, подумал я, если он полезет ко мне в комнату. Мелькнула мысль, что фигурой он напоминает Шефа. Я позволил себе улыбнуться, но тут освещение в коридоре изменилось, почти неслышные шаги приблизились к моей двери. Я поднял ампулу.

Когда темная фигура пересекла поле моего зрения, я зажал свободной рукой нос и рот и сдавил тонкий пластик. Струя люмоксина, шипя и испаряясь, брызнула в коридор. Глухой шлепок об пол.

Задержав дыхание, я сосчитал до пяти и вышел в коридор.

Среднего роста мужчина в черной кожаной куртке лежал лицом вниз, мерно сопя и время от времени постанывая. Я втащил его к себе, включил свет и перевернул лицом вверх.

Минуту или две я в идиотском трансе, еле сдерживая истерический смех, смотрел на его лицо с родинкой под носом.

Теперь я уже ничего не понимал.

Надо же! Старина Бидо собственной персоной пожаловал в гости.

* * *

— Вы всегда сначала стреляете, а потом смотрите — в кого!
— Вот вода...

Бидо отхлебнул из стакана и, застонав, взялся за голову. После люмоксина, как с похмелья — жажда и головная боль.

На столе был разложен малый джентльменский набор, который я выгреб из его кармана, пока он лежал без чувств. Пукалка с глушителем, кастет, отмычка, моток толстой лески с крюком и метателем, несвежий платок, начатая пачка «Люкса 001» и визитная карточка, нащупанная в потайном клапане за лацканом. Самым интересным из этого перечня была визитная карточка. Жирным золотом оттиснутые буквы гласили, что в миру Бидо зовут Лайоном Круипо. Это не новость: когда он попадал к нам, трясли его крепко, подозревая в скупке краденого у шатунов. Но вот маленькая четверка в углу визитки, медленно становясь на свету невидимой, говорила о многом. Пока Лайон — Бидо жадно пил воду, я развлекался тем, что зажимал угол между большим и указательным пальцем. Через несколько секунд четверка снова проявлялась.

Кто бы мог подумать, что наш скромный Бидо — «аббат»!

А как он крутил на допросах, ломая из себя бедного, несчастного иммигранта! Еще бы, найди мы у него визитку, отпустили бы не связываясь, а если втемную, то без шума прихлопнули бы. Опять же курия не любит, когда светятся без нужды и без санкции.

Старина Бидо немного пришел в себя. Его длинное лицо еще больше вытянулось, он с сожалением глядел на меня, предоставляя выкручиваться из ситуации самому.

Лучше бы он оставался старым шатуном, хитроватым, безопасным и весьма симпатичным шатуном. С «аббатом» не поговоришь запросто о жизни, не рванешь внезапно и не возьмешь за ухо. «Аббат» при случае может выйти и на Шефа. С другой стороны, если приспичит, я могу выйти даже на «кардинала», ну и тем более на «аббата». Поговорим как равный с равным!..

Бидо допил воду и, отложив стакан, принялся рассовывать свое хозяйство по карманам.

Не было ни одной стоящей мысли, потом пришли сразу две, мелькнули, спутались... Бидо при любых обстоятельствах не должен был красться и таняться, наоборот, ввалился бы с шумом и обязательно с оравой служек. Марку держать надо!

Но что же получается: директор Юрайда мелкий самозванец? Такого курия никому не простит, как ни крути, место директора

в этой школе скоро будет вакантным. Но что, если в курьи раскол и свои темные дела, настолько темные, что скоро вакантной окажется моя должность?

Вот еще о чем я думал, наблюдая, как старина Бидо закидывает в карман пачку «Люкса»: я трепыхаюсь здесь черт знает сколько и не выкурил ни одной сигареты. Курящих тоже не видел, просто не курит никто, и все! Я забыл о сигаретах и не вспомнил бы, если бы не «Люкс», а ведь моя норма — полторы пачки в день! От этой бессмыслицы стало страшно, холодом обдало голову. Меня проняло — дело и впрямь нечисто!

Старина Бидо явно не собирался курить, хотя у меня на допросах клянчил сигарету за сигаретой, выдирая зубами фильтр и прикуривал одну от другой.

Не распыляют же здесь, в конце концов, антитаб в кондиционерную систему? К тому же Пупер ее никак не задействует, лентяй такой! Оригинальная методика воспитания: стрелять из миномета можно до изнеможения, пулеметы, каратэ или палочный бой — сколько душе угодно, но вот курение... ай-яй-яй, курят только дурные мальчишки, которые не ходят в воскресную школу, не слушают наставлений матушек и непременно плохо кончают. Может, у директора Юрайды идиосинкразия на табачный дым, и он сыплет щедрой рукой антитаб в вентиляцию и в кастрюли...

— Недоразумение можно считать не имевшим места, — вежливо улыбувшись, произнес Бидо.

— Несомненно, — как можно добродушнее произнес я.

— Мы вполне могли бы установить неофициальный контакт, вы понимаете... — Он пошевелил в воздухе пальцами.

— Если не ошибаюсь, школа не контролируется вами?

— Право, затрудняюсь... — замялся он.

— Спасибо, достаточно. Неофициально фиксирую, что вы ничего не сказали. Тогда кто их пасет?

— Не знаю. Собственно говоря... э-э-э...

— Ясно! Ты... пардон, вы для того и... Есть предположения?

Старина Бидо в большом сомнении гладил свой подбородок, его распирали противоречивые чувства. Честно говоря, тот, прежний, Бидо — фонтан вранья и остроумный сквернослов — мне нравился больше, чем этот уныло дипломатствующий «аббат».

— Они к нам не имеют никакого отношения, — медленно начал он, — мы потрясли кое-кого, но впустую.

Курья ничего не выяснила! Вот это дела! Куда же я, позвольте спросить, лезу и во что уже успел вляпаться? Разведка? Нет, они меня завернули бы за сто километров.

Хорошо, что я не один в этом чертовом месте и Бидо теперь в роли напарника. Дело становилось мрачным и непонятным. Пра-

вительство в лице разведки и курия в своем собственном лице вроде бы не имели отношения к этому заведению, а насколько мне известно, это единственно реальные силы, с которыми надо считаться в нашей благословенной стране. Некоторые полагают, что это одна сила. Может, радикалы? Но они могут наскрести монет разве что на десяток списанных пулеметов. Радикалами не пахнет, левыми тоже, левые против насилия принципиально.

Старина Бидо оглядел комнату, нервно зевнул и сообщил, что собирался идти направо. Недавно здесь пропали трое, сгинули и чирикнуть не успели. И не новички, один из них стажировался на Сицилии. С Бидо человек двадцать, оцепили школу за оградой, никто не выскочит. Он решил взять первого, оттащить за ворота и встряхнуть как следует.

Моя ночная вылазка была ничуть не умней. И я собирался брать языка, трясти, вытряхивать, но что именно — представлял слабо. Теперь я понимал безнадежность моей затеи: ну взял бы охранника или воспитателя, а что они могут знать? Нет, господа мои. Надо брать директора и трясти до посинения. Что они делают с детьми, куда их потом прячут и кто за этим стоит?

Бидо согласился с моим планом сразу.

— Могут ваши люди пойти без вас направо? — спросил я.

— Нет, они будут ждать меня или сигнал. Если не вернусь через... — Он беспокойно взглянул на часы, подцепил ногтем кнопку, за ней блеснула тонкая нить.

В часах пискнуло. Бидо шепнул что-то вроде «место», и кнопка втянулась обратно.

— Вовремя, — облегченно вздохнул он, — через полчаса они бы тут все разнесли. Теперь до сигнала.

* * *

Старина Бидо задремал на стуле, мне же не спалось. С ночным гостем откровенного разговора не получилось. Он так и не сказал, почему сам явился в школу, а не послал кого помельче.

Интересно, в какую все-таки берлогу я лезу, если даже курия здесь ползает по ночам, а законспирированный «аббат» шастает с пистолетом? Надо уносить ноги. Шефу покажу жетон, порадую старика. Правда, в прошлом году за неделю до аварии Барлетт ляпнул с похмелья, что дочь Шефа обручена чуть ли не с племянником «кардинала». Барлетт обычно врал оптом и в розницу, но можно предположить, что Шефа попросили по-семейному пощупать это дело. Возможно, старина Бидо прикрывает меня или дублирует.

Мне не спалось. Я достал зажигалку и прошелся наугад по кнопкам второго этажа. Также не спят. Кнопка четыре — это холл.

«...Мы на двух машинах выскочили да как дали вдоль дороги, эти все попрытались по норам. А потом Кук прошелся из лейки, вот крику-то было, ха-ха-ха, а на базу вышли только вечером, а там ловушка, Кука в темноте зацепили, а Пет сказал, что Куку теперь крышка, если не успеем до утра выбраться...»

«Успели?» — спросил второй ломким голосом.

«Успеешь, как же! Влезли в болото и хлопали сутки, а вокруг эти носились, головешки кидали».

«А-а-а...»

«Вот тебе и «а»! Пет сказал, «сволочи, мальцу каникулы испортили».

«Вы что тут сидите? — вмешался третий голос. — Тест по химии уже раздали, не успеете, олухи».

Интересный разговорчик, надо спросить у ребят, куда их возят на каникулы и какие это еще каникулы в спецшколе? Занятия ночью, в четвертом часу... не спят они вообще, что ли?

В классах я тоже оставил кнопки. В одном было тихо, в другом, судя по всему, шел урок!

«...Вопрос твой хорош, Макс, но ты забегаешь вперед. К префаэлитам мы еще вернемся, и ты мне напомнишь... — говорил мягкий, хорошо поставленный голос. — Теперь обратите внимание на лицо всадника. Видите, это не свирепая жажда убийства, нет, перед нами напряженное спокойствие честного сожаления. Воин убивает, потому что идет бой. Кто прав, а кто виноват, спрошено будет после, а пока либо ты, либо твой враг. Заметьте, краски не грубы и не крикливы, что было свойственно раннему периоду творчества. Преобладают полутона, война изображается не горами окровавленного мяса, нет, мы видим пластику мышц, а линии копий и мечей рассекают пространство картины на фрагменты, членимость которых строго мотивирована — сила против силы...»

Не знаю, сколько времени я бесцельно вертел в руках зажигалку. Можно подумать, что это не школа для социально опасных подростков на особом режиме, а Коперфильдский колледж для интеллектуальной элиты! В конце концов здесь собраны не мечтательные отроки с томиком Овидия под мышкой, а застрашенные шатуны или профи для куриц. И попали они сюда не по злой воле родителей, заточавших младших сынов в монастырь. Для чего же им лекции по живописи, притом ночью?

Старина Бидо вдруг тонко захрапел. Еще одна проблема. Даст ли мне его оцепление благополучно выскочить отсюда или прихлопнет? По недоразумению...

Глаза слипались. Засыпая, я подумал, что если заваруха начнется ночью, то очень много шансов наутро проснуться покойником...

Проснулся я от толчка.

Старина Бидо стоял у двери, и рука его была в кармане. Заметив, что я встаю, он поднес палец к губам.

В коридоре гремели шаги, слышалась возня, гудел лифт. Бидо энергично выругался и отошел от двери.

— Доброе утро! У них что, двери не запираются?

— Видимо, нет,— ответил я.

Бидо прошелся по комнате, поглаживая подбородок. Придя к какому-то решению, он вытянул кнопку часов и, косо глядя на меня, зашептал в нее. Часы он прижал к уху.

Я вошел в душевую и умылся. Бриться не стал, щетина еще незаметна, тем более что бритву я уже сунул в портфель. Покончив с туалетом, я вернулся в комнату и обнаружил Бидо сидящим на неубранной кровати. Он растерянно вертел в руках часы, осторожно постукивая по ним пальцем и снова прижимал к уху.

— Черт бы побрал эту технику!

— Могу предложить свою.— Я полез во внутренний карман.

Бидо криво улыбнулся и покачал головой. Значит, работает с дешифратором. Он даже слегка осунулся, в глазах появился лихорадочный блеск. Я даже сказал бы, что он отчаянно трусит. Впрочем, это его личное дело. Я тоже не супермен без страха и упрека и если рискую, то в разумных пределах.

Восемь утра. Пора начинать нашу авантюру. Утешало одно: за моей спиной теперь маячит курия и, оказавшись в темной комнате с двумя чудовищами, не наступлю на мозоль хотя бы одному.

— Значит, так,— сказал я,— моя задача — заманить сюда директора. Если не выйдет, мы вызываем подирепление.

— Мне не нравится это! — мрачно проговорил Бидо, снова прикладывая часы к уху.

— Они могут не дожидаться сигнала?

— Нет, но...— Старина Бидо задумался.

— Ну, хорошо. В случае чего поднимайте своих.

Я вышел во двор и несколько растерялся. За время, проведенное здесь, обстановка изоляции и умолчаний, тумана и полумрака стала привычной. А сейчас небо было чистое, два облака в вышине тянулись друг за другом, солнце наполовину вышло из-за гор, а листья багровыми и желтыми пятнами окаймляли двор.

По школьному двору носились парни, покрикивая, задирая и толкая зазевавшихся. Причиной оживления был армейский четырехосный «беккер», до верха брезентовой крыши набитый картонными ящиками. Двое опускали их вниз, остальные подхватывали, волокли и складывали у входа. Через несколько минут я обнаружил

причину суматохи: ящики, на мой взгляд, совершенно неотличимые друг от друга, без надписей и наклеек, сортировались и растаскивались по разным местам. Крик, шум и дерганье шли из-за споров, куда какой ящик нести.

Двое воспитателей безучастно наблюдали за разгрузкой, у кабины директор Юрайда подписывал на колене бумаги и по одной совал их в окно водителю.

Я увидел Селина, он стоял у кузова и распорядился, куда нести очередной ящик, непрерывно покрикивая: «Не перепутайте, не перепутайте!» Затем сорвался с места, подбежал к ближайшему штабелю и выдернул из середины ящик — штабель развалился, от крика зазвенело в ушах.

На меня не обращали внимания. Если у нас с Бидо совместная акция завершится благополучно и я целым выберусь отсюда, то долго буду помнить это утро, грузовик, коробки и себя, дурака дураком, ничего не понимающего...

Проходя мимо коробки со слетевшей крышкой, я заглянул в нее. Рулоны бумаги, белой бумаги раза в два шире туалетных рулонов. Они что, на десять лет запасаются, что ли?

Юрайда отошел от кабины и заметил меня. Для начала я пожелал ему доброго утра. Он ответил мне тем же. Выдавив из себя еще несколько пустых фраз, я замолчал, соображая, как умудрился широченный «беккер» пролезть через ворота, миновав врытый посередине рельс?

— Ребята заправили вашу машину,— сказал директор, намекая, что пора, мол, мне и прощаться.

— Спасибо,— ответил я. Интересно, чем заправили и что от меня останется, когда сработает их заправка? — Теперь бумаги...

— Какие еще бумаги? — резко спросил директор.

— От силы пять — десять минут, оформим акты, и все. В конце концов я тоже не хочу задерживаться,— сухо добавил я.

— Итак, я вас слушаю.— Том директора сделался нейтральным.

— Разумеется, не здесь! — Я обвел глазами двор.

Директор Юрайда нахмурился. Ему явно не хотелось говорить со мной о чем бы то ни было, и он, по всей видимости, считал, что я просто тяну время. Тем не менее наживку глотнул, хотя все пошло немного не по плану. Он попросил дождаться меня в кабинете, пока он покончит с разгрузкой. Ладно, пусть будет так.

Я не стал беспокоить старину Бидо, поскольку в свой кабинет директор мог вернуться не один и пришлось бы на шуметь, а это ни к чему. Связи с курией афишировать небезопасно.

В кабинете за директорским столом сидел Пупер и рылся в бумагах. Увидев меня, он расплылся в улыбке, кивнул, стрелб все в ящик стола и попятился к двери, чуть не опрокинув кресло.

Сев на его место, я дождался, пока он закрыл за собой дверь, и отколупнул «кнопку». Не оставлять же на память. Интересно, почему здесь любой вхож в кабинет директора и может шарить в бумагах? Я выдвинул верхний ящик и наугад взял несколько листов. Платежные бланки.

Два раза на селекторе загорался вызов, но я его проигнорировал. Потом селектор привлек мое внимание. Оказалось, это простой телефон с приставкой, а не внутриведомственный многоканальник. Может, у них есть прямая связь с Долиной?

Недолго думая, я набрал номер местного отделения. Трубку взял дежурный, я назвал код и столичный номер. Через минуту он соединил меня с нашей конторой. Моих на месте не было, а секретарша промурлыкала, что начальство работает дома.

У Шефа трубку никто долго не снимал, потом взяла его жена. Минуты три ушло на пустую болтовню, директор мог войти в любой момент, а мне почему-то не хотелось, чтобы он застал меня на телефоне. Наконец она позвала супруга.

Шеф удивился моему звонку и спросил, не произошло ли чего-нибудь, требующего немедленного вмешательства. Нет-нет, заверил я, все более или менее в порядке (здесь я мысленно выругался). Как скоро, спросил Шеф, я думаю возвращаться? Как получится, ответил я, думаю, что скоро. Шеф помолчал и спросил, как я себя чувствую.

Он был уверен, что телефон прослушивается. Было бы странно, если нет. На вопрос о самочувствии я разразился тирадой, в которой описывал состояние печени, желудка и предстательной железы. Пусть слухачи гадают, что я имею в виду. Шеф тоже задумался, потом хохотнул и пожелал удачи.

— Еще один вопрос, — успел сказать я до того, как он собрался положить трубку, — что там в книжке у Лучника насчет меня?

Опять молчанье. Шеф кашлянул и спросил, правильно ли он меня понял. Разумеется, ответил я, все, наверно, в ажуре, но на всякий случай... И если не трудно, то желательно сейчас.

Шеф передал трубку жене, и, пока она молчала языком, я, поджавивая и хихикая в нужных местах, гадал, скоро ли вернется директор, и что меня дернуло спросить о реестре. Интуиция, что ли? Те несколько сотен квадратов были в основном правительственными объектами, нашпигованными новейшей или выдаваемой за новейшую техникой и тщательно оберегаемыми от глаз честных налогоплательщиков, на чьи деньги, кстати, они были построены. Кому хотелось, тот мог все разглядеть со спутников слежения.

Жена Шефа умолкла на полуслове, в разговор с параллельного телефона вмешался Шеф.

Он сообщил, что к моему возвращению даст секретарше коман-

ду готовить на меня бумаги, что я уже засиделся в капитанах и пора расти дальше, что мне надо срочно сворачивать дела и вывезать прямо сейчас. Когда же я, похолодев, спросил, почему меня не предупредили, он резонно ответил, что надо было самому позаботиться о пределах своей деятельности. И положил трубку.

К своему удивлению, я вдруг понял, что во мне нет страха. Теперь, когда я знал, что Закон о Возмездии не распространяется на квадрат школы и неважно, кто тут ворочает — правительство, разведка, курия или все хором дружной семейкой, я получил свободу рук. Вернее, ног. Шеф будет с меня пылинки снимать и на себя перекладывать, он ведь тоже ковал мое поражение.

Встану сейчас и тихо удалюсь, не хлопая дверью, пока они разгружают. Портфель, правда, остался в комнате, но портфель не стоит заупокойной мессы. Пусть останется на память Бидо. Да, вот еще с Бидо... неудобно покидать не попрощавшись, но ничего не поделаешь — я в эти игры не играю. Ставки не те и правила я не знаю. А Бидо меня простит, если выберется без ущерба. Мне самому надо подумать, как я прорвусь мимо его головоуловов. Грузовик они, правда, пропустили... в школу. А из школы?

Я поднялся с директорского кресла и остался стоять. Что за бред, подумал я, даже если мы с Шефом вели себя как последние недоумки, то куда смотрела курия? Итак, Шеф засылает меня не глядя, неважно — сам или по просьбе. Бидо возникает из тьмы и входит в контакт со мной. И все благополучно забывают свериться с реестром номерных квадратов! Ну, пусть я обычно беру дело без расспросов, пусть Шеф забыл посмотреть карту. Но чтоб курия совалась туда, где ей делать нечего!.. Если же они решили здесь пожить, то мне ни к чему торчать между двумя дорожными катками. В конце концов мое начальство не возражает, если я оперативно унесу ноги. Можно намекнуть старине Бидо, что мы моемся чужим мылом и пора тихо оставить этот гостеприимный уголок, пока нами всерьез не занялись костоломы, которые не чета его гвардии. Но если Бидо знает, на что идет, и сочтет меня дезертиром, то будет вправе поступать по законам военного времени. Одному, подумал я, выбираться легче. Я его сюда не звал!

Я снова опустился в кресло. При мысли, что надо красться мимо комнаты, где затаился Бидо, пробираться через двор и кордон, возникали разнообразные «но», мешала скверная неуверенность.

Обидно было уезжать, ни в чем не разобравшись. Я оказался в постыдной роли человека, которого крепко взяли за нос и водили по комнатам со словами: «Хотите на дурака посмотреть?» Да провались они все, зачем мне лезть в их делишки, если нет криминала? А если есть, то тем более. Я не идеалист. В наше время быть идеалистом не только глупо, но и опасно.

Наконец я выбрался из-за стола и пошел к двери, но тут в кабинет вошел директор Юрайда.

* * *

— Не хотелось оставлять у вас превратное мнение о нашей работе,— сказал директор.

Я плюхнулся в кресло перед столом, озабоченно глянув на часы: мол, мне пора...

Директор тактично улыбнулся. Улыбку можно было расценивать как поощрение моей игре либо как насмешку над моими ужимками. А может, и так, и этак. Плевать, игра пока его!

Он сгреб со стола оставшиеся бумаги в ящик, минуту молча сидел, затем сильно потер нос, извинился и вывалил бумаги обратно, перебирая их по одной. Я без интереса следил за его манипуляциями, переводя взгляд с бумаг на лицо, а с лица на телефон. Жаль, что я не спросил у Шефа, как им удалось забрать Джеджера. Быстро они его заполучили, без волокиты с оформлением, а это странно, я знаю тех ребят — им даже президент скомандует, и то неделю будут тянуть.

— Вот она! — провозгласил директор, взмахнул сложенным вдвое листком бумаги. — У нас сейчас бедлам, скоро выпуск.

Я развел руками, в смысле, ничего не поделаешь.

— Так вот, я надеюсь, что вы все-таки догадались, что у нас не притон. Прошу извинения за дешевый розыгрыш с жетоном. Страх перед этими мерзавцами так велик, что я был приятно поражен тем, что вы не покинули нас в ту же ночь. Признайтесь, вы были уверены, что столкнулись с курией?

— Ну, еще бы! — охотно согласился я, тем более что так оно и было. В следующую секунду я сообразил, что веду себя как кретин, и мгновенно скорректировал: — Как — это розыгрыш?

Директор испытующе глянул на меня, задумался, махнул рукой.

— В любом случае вы вели себя достойно. Не кинулись за мной, уверяя в сочувствии, но и не сбежали. Хорошо, когда люди не теряют достоинство. Вы мне понравились!

— Польщен,— только и сказал я. Знал бы он...

— Жетон можете предъявить вашему начальству, и вас оставят в покое (о покое я сам позабочусь, подумал я, выбраться бы, а жетон мне самому пригодится). Но рассеять ваши сомнения...

— Позвольте,— я не мог отказать себе в удовольствии подергать тигра за усы,— если вы не в курии, то у меня появляется основание безбоязненно продолжать расследование.

Директор Юрайда разочарованно вздохнул.

— Что вы расследуете, в чем состав преступления? Вы ведь разобрались с Джеджером, не так ли?

— С ним да, но не с остальными,— тихо сказал я. Пора было открывать карты.

— А кто вас интересует? — удивился директор.

— У меня тут список.— Я достал из записной книжки листок распечатки, аккуратно развернул его и вручил директору.— Это не все, но для начала, думаю, хватит.

Просмотрев список бывших выпускников, он вернул его мне с тем же безмятежным выражением лица, с которым брал.

— Если вас не затруднит, дайте адреса хотя бы некоторых.

Медленно покачав головой, он неожиданно рассмеялся.

— Боюсь, что не смогу удовлетворить ваше любопытство. Нет, я действительно не знаю, где они сейчас находятся.

— Следует понимать так, что к их исчезновению вы имеете некоторое отношение?

— Почему сразу «исчезновение»? Мы действительно имеем отношение к их перемещению за пределы страны. Вы удовлетворены такой формулировкой?

Формулировка меня удовлетворяла. Я кивнул.

— Ну, хорошо. Я думаю... У вас есть дети? — вдруг перебил сам себя директор.

— Есть.

— Тогда вы поймете. Не мне говорить вам, что мир катится в преисподнюю. Вы знаете, что балансирование на грани не может продолжаться вечно. Если канатоходец долго не слезает с каната, то рано или поздно упадет. В океанах подводных лодок больше, чем рыбы. Склоки из-за любой ерунды. Военно-промышленные спруты. Нет, перспективы рода человеческого блестящими не назовешь. Я противник войны во всех ее проявлениях, но я не страус, в песок зарываться не хочу. Если мы не можем предотвратить катастрофу, то надо хотя бы немного позаботиться о будущем человечества после нее!

— Я охотно подпишусь под любым воззванием за мир и разоружение,— продолжал директор,— но если в каком-нибудь пустяковом реле не сработает контакт, то воззванием межконтинентальную махину, выходящую из шахты, не остановишь и по прямому проводу извинений не принесешь. Надо учесть все, что мы в силах учесть, и дать шанс уцелевшим после бойни. Этим мы и занимаемся!

— Чем именно? — тупо спросил я.

— Мы готовим наших выпускников к максимальному выживанию. Потенциальные лидеры уцелевших! Они знают, как вести себя в экстремальных ситуациях, и даже если кроме них никого не

останется, то они начнут все сначала. Мы рассредоточиваем их повсюду, где только можно и нельзя. То, что я вам рассказываю, сами понимаете, не для огласки. Хотя даже это неважно. Прессе шуму на неделю, может еще два-три запроса оппозиции... В любом случае, я надеюсь на вашу порядочность.

Он замолчал, а я чуть было не зевнул. Когда он начал свои рассуждения о бренности мира, я стал ожидать большого вранья и вот дождался рождественской сказочки о будущих благодетелях. Слов нет, придумано красиво, так и видишь, как среди руин и пепелищ возникают ловкие быстрые тени, собирают уцелевших и ведут их в леса и горы. А там, разумеется, начинают рассказывать голодным и больным историю искусства, которую им преподавали почему-то ночами. Директор Юрайда, грубо говоря, врет, но было непонятно, почему они снисходят до лжи, а не выставляют. Раз так, подвергаем еще...

— И выживают в любой ситуации? — невинно спросил я.

— Если будет шанс, они его не упустят,— ответил он.

— А дальше?

— Что — дальше?

— С кем они будут воспроизводить род человеческий? Как насчет соответственно обученных подруг?

— Мы это учли,— после секундной заминки проговорил Юрайда,— вы забываете про женские исправительные школы.

— То есть вы их расселяете парами?

— М-да, нечто в этом роде.

Вот он и попался! Надо же — парами! Я специально убил два дня на списки выпускниц женских спецшкол, но ничего подозрительного не нашел, если не считать исчезновение воспитанниц со своими сутенерами или самоубийств в наркологических центрах. Эти вряд ли годились в праматери детей рода людского. Врал директор Юрайда, а почему врал — непонятно. Все здесь врут, решил я, пусть из лучших побуждений, но врут. Директор врет, воспитанники врут, Бидо врет, и Шеф тоже хорош...

— Как же вы проводите свой бюджет? Президент общал урезать все программы, не имеющие выхода на Бункер.

Директор щелкнул пальцами. Я понял так, что эти пустяки меня волновать не должны. Пробный шар ухнул мимо лунки.

В дверь без стука просунулась голова Селина. Со словами «извините, на минутку» голова втянулась обратно, дверь закрылась. Все произошло так быстро, что я, сидя к двери боком, сообразил, в чем дело, когда директор встал из-за стола и, сказав, «я сейчас», вышел.

Из коридора донеслись возбужденные голоса, слов я разобрать не мог. Подслушивать у замочной скважины неудобно, можно по-

лучить по уху дверной ручкой. Техника осталась в портфеле, со мной только приставка в кармане плаща и мелочь.

«Если даже директор не врет,— подумал я,— Джеджер все-таки не тот человек, которого я хотел бы увидеть, вылезая из убежища. А остальные... это они здесь тихие! Хорошо, что это вражье!»

Директор вернулся минут через пять, молча сел в кресло и, побарабанив короткими пальцами по столу, принялся рассматривать меня. Не понравился мне его взгляд. Вижу тебя насквозь, говорил он, ты враг, говорил он, смерть тебе!..

Скорее всего, мне это померещилось. Шеф прав, с моим воображением надо иметь нервы толщиной с палец или вообще их не иметь.

— Мне кажется, что я вас не убедил,— сказал он тихо.

— Нет, почему же! — вежливо ответил я. — Боюсь, что был излишне назойлив... — Я развел руками. — Служба!

— Оставьте,— устало смежил веки директор, — вы умный человек, притворяетесь, правда, хорошо, но... вы учились в Форт-Менте?

— Не имел чести,— сухо ответил я, его манера перебивать самого себя начинала раздражать.

— Но ваш перстень...

— Корнерстоун, социологический факультет.

На выпускном вечере мы с Кларой обменялись перстнями, а через два дня она погибла в авиакатастрофе. Я не был суеверным и особенно не верил в провиденье, но мысль, что она пересекла мой путь и приняла удар судьбы на себя, не оставляла никогда. С тех пор я всегда ношу университетский перстень — и память, и талисман.

Вопрос директора покоробил меня. Я понимал, что сейчас начнется другой разговор, а чем он кончится, не знаю. Если я не лезу в его дела, то пусть и он не лезет в душу. В конце концов все, что было сказано, было только сказано, а верить на слово — так свой миллион никогда не сколотишь. Единственно, что можно потрогать, — это жетон, и тот, как выяснилось, наглая подделка. Ох, напущу я на них старину Бидо со всей его сворой!

Выяснив, что я не кончал училище для федеральных оперативников в Форт-Менте, директор Юрайда повеселел.

— Отлично,— провозгласил он, потирая руки, — я чувствовал, с вами можно быть откровенным. Не знаю, что вас привело на эту службу, но надеюсь, что она не идет в ущерб широте вашего кругозора. Я вообще противник секретности, но при некоторых обстоятельствах гласность может повредить. Наши демократические институты препятствуют любому начинанию, реальная помощь часто исходит из учреждений, стремящихся к целям, противоположным нашим. А ловчить, поступаться принципами — сиверно.

Согласен, принципами торговать нехорошо, однако эти умозрения сейчас меня не интересовали. Одно смущало: он весь расслабился, в голосе исчезли неуловимо издевательские интонации, которые раздражали в его откровениях о грядущей мясорубке. Передо мной сидел пожилой человек, который мог быть, например, моим старшим братом.

Он не мог быть моим старшим братом. В то время, когда он учил африканских детишек грамоте, мой брат давно пророс сорняком на арлимском пустыре, закопанный после лобовища с чужаками. Но это личное дело каждого, где ему быть и кем.

— Не стоит говорить вам, каково положение нашего благословенного общества,— прервал паузу директор,— вы знаете, что оборонные расходы съедают почти весь бюджет, пресса на откупе у монополий, интеллигенция впадает в мелкие извращения, и всем плевать на всех в соответствии с поправками к конституции. Что мы можем предложить миру, кроме авианосцев и бригад мгновенного удара?

Кажется, он радикал, разочарованно подумал я, или левый.

— Где наши традиционные ценности? Где дух первооткрывателей? Зажравшемуся обывателю можете о них не напоминать, а в лучшем случае вас сочтут болваном. Культ силы привел к тому, что нас либо боятся, либо ненавидят. А мы ненавидим самих себя. Технические изощрения выдаем за прогресс, стыдливо закрываем глаза на вакханалию преступности, кричим о расовом и классовом мире, и это в самой разобщенной стране! Спесиво поучаем всех, как себя вести, а в доме своем не можем навести порядок! Позор! В чем дело, почему истощились духовные силы?

Вопрос был риторическим, но директор на некоторое время замолчал. Все это прелюдия, идеологическая подкладка. Сейчас пойдет главное... Я отношусь к умеренным нейтралам, но есть знакомства в различных кругах, приходилось общаться и с фундаменталистами, и с радикалами. Наслушался и тех, и других. А тесть мой вообще был леваком, каждый визит к ним превращался в политсеминар. Он домимал меня анализом моей классовой сущности и обзывал винтиком репрессивного механизма. На старости лет он неожиданно перешел в католичество. Этот опрометчивый шаг настолько шокировал уважаемых соседей, что многие в пригороде перестали с нами раскланиваться.

— Чем же вы объясняете такое положение вещей? — спросил я, чтобы прервать затянувшееся молчание.

— Не притворяйтесь наивным! Наше общество потеряло стимулы духовного роста. Мелкое копошение во имя мелкого благополучия породило поколения мелких людей. Исчезли сдерживаю-

щие факторы нравственности, мораль элиты и мораль дна неразличимы. Большие стимулы, способствующие оздоровлению нации, отсутствуют, поскольку нет великих целей. Не к чему стремиться, нет такой мечты, во имя которой общество могло бы пренебречь внутренними и внешними распрями. Личное благополучие оказалось ложной целью хотя бы потому, что привело к распаду общества. Но какая цель, пусть даже ложная, породит новые стимулы для духовного возрождения? Надо найти, вообразить, придумать, наконец, то, во имя чего даже последний мерзавец не рискнет выставить свои личные интересы. И когда у нас появится Великая Новая Цель, мы...

— ...мы установим во имя ее Новый Порядок? — вставил я.

Директор Юрайда запнулся и с недоумением посмотрел на меня.

— Моего отца сожгли в Дахау,— негромко сказал он, затем вдруг закричал: — Как вы могли подумать! Как вы посмели!

— Извините, возможно, я неудачно выразился.

Он смотрел на меня, и снова я видел в его глазах: «Враг, враг!», снова засосало под ложечкой...

— Неудачно — не то слово! Подозревать нас в тоталитарном заговоре? Чудовищно!

С чего это он так разнервничался, почему вежливый обмен мнениями о нашей демократии перешел в мелодраму?

— Все это очень мило,— сказал я,— но мне по-прежнему ничего не говорит ваша «новая цель». И кто это «мы»?

Как говаривал старина Бидо в ответ на мое обещание упечь его в одиночку, «тишина — лучший массаж для нервов». Минуту или две мы с директором массировали друг другу нервы, затем он рассмеялся.

— Лучше ничего не сказать, чем недоговорить. С вашего позволения, я продолжу...

И он продолжил.

То, что я услышал, не просто поразило меня, а даже заставило на некоторое время утратить чувство реальности происходящего! После того как директор окончательно добил все забытые или еще тлеющие цели, закопал все правительственные программы и кремировал традиционные ценности, он объявил, что путь человека в будущее проходит через космос. Интенсивное освоение космического пространства вызовет взрыв героического энтузиазма, объединит человечество, заставит хотя бы на время забыть распри и переориентирует интересы активной массы. Пусть в конечном итоге и космос окажется ложной целью — это все-таки Большая цель! Не трусливое ковыряние на орбитальных станциях, а смелый массированный бросок на ближние планеты. Освоение новых плацдар-

мов, и снова рывок... Конгрессмены не могут отдать пару миллиардов голодающим Африки, но их ослепит блестящая перспектива космической экспансии. Тем более что первая волна освоенцев готова. Сильные, ловкие, бесстрашные и готовые на все!

Он имел в виду своих воспитанников!

Я не знал, что делать, принимать всерьез эту фантазмагорию или, вежливо улыбувшись, выразить недоверие. Тут я вдруг представил своего сына этаким Гордоном Флешем, в блестящем скафандре, одной рукой вырывающим полураспакованную красавицу из щупалец омерзительного спрута, а другой — поражающим из бластера летающие тарелки, нацпигованные до отказа завоевателями Галактики. Я невольно улыбнулся, директор принял это на свой счет и недоуменно поднял брови.

Я объяснил ему, чем была вызвана улыбка. Он хохотнул, но тут же серьезно спросил:

— Вы уверены, что не хотели бы видеть сына где-нибудь на Марсе, чем без дела шатающимся между парком и биржей труда?

Он попал в самую точку, и крыть мне было нечем. Что я предложу сыну после школы, если он к этому времени не спутается с шатунами? Полицейскую школу? Или устрою по знакомству (старина Бидо!) служкой? Я начал приходить к мысли, что при всей невероятности затеи директора Юрайды и тех, кто за ним стоит, есть в ней нечто привлекательное, дети получают новый шанс. Как складно получается: самые активные, самые оголтелые неконформисты с удовольствием ринутся в космос, дай им только волю побыть героями нового фронта. Смущал меня термин — активная масса, но бог с ним! Даже если они не выведут страну из социального ступора, тысячи, десятки тысяч потенциальных преступников не уйдут в курию, не станут шатунами... Меньше зло?

— Как к вашему проекту относится курия?

Лицо директора потемнело, глаза зажглись ненавистью.

— Мы не позволим этим негодьям запускать свои грязные лапы в наши дела, — отчеканил он, — иначе они всю Солнечную систему превратят в бордель!

Он был прав как никогда. Другое дело — понравится ли такой оборот старине Бидо? Но почему между шансом для моего сына и мною должен стоять Бидо? Пусть меня заботит не благо человечества, а личная безопасность, но сыну моему незачем страдать из-за трусости отца!

Я поймал себя на мысли, что всерьез поверил директору. Они учили все: общественное мнение уже потихоньку распаляется заявлениями компетентных лиц, сенаторов заваливают письма избирателей, требующих немедленного штурма космических бездн... Если под этим соусом еще и сократят расходы на вооружение и пере-

оборудуют межконтинентальные на транспортные, то я первым встану навытяжку и спою гимн в честь директора Юрайды.

— Ладно,— сказал я,— считайте меня союзником. Но как вы оказались в номерном квадрате... Армия?

— Не только армия,— кивнул директор,— есть и другие силы. Армия имеет свою долю, и мы ее сразу разочаровывать не будем. Им надоест играть в бдительных и негибких, когда люди начнут заниматься настоящим делом.

Может, поэтому здесь и не курят, приучают... Наверно, антитаб. В кармане у меня непочатая пачка «Престижа», и хоть бы что!

— Вам приходится много работать? — посочувствовал я.

— Перед выпуском мы и ночами занимаемся,— спокойно ответил директор,— стимуляторы малыми дозами под контролем первоклассных врачей не повредят. Срывы крайне редки, но бывают.

Намекает на Джеджера. Понятно. Нет, не очень понятно! Когда мы его задержали, третьего или четвертого... они что, уже пичкали их стимуляторами?

— Ну, вот вы и в курсе всего,— объявил директор Юрайда и поднялся с места.

Я объявил ему, что удовлетворен. Пройдусь еще раз по школе и уеду.

Директор задумался, потом бодро сказал, что не имеет ничего против. И вообще не плохо бы перекусить. Дела делами, а режим прежде всего. Я пообещал не опаздывать на завтрак.

И пошел во двор.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Пока мы с Юрайдой вскрывали болячки общества, разгрузка окончилась. Грузовик исчез, ящики тоже, народу поубавилось. Три подростка толкали садовую тележку с мотками толстой веревки, поверх которых лежала ручная лебедка. Они завернули за угол, я пошел за ними.

Вообще-то надо идти к старине Бидо и выкручиваться. Не хотелось, чтобы курия запускала свои мохнатые лапы в это дело, не хотелось, чтобы меня придавили между делом, не хотелось, чтобы Шеф засчитал это как провал. С другой стороны, директору Юрайде я не сказал, что в комнате у меня затанцл матерый «аббат», которому нужны языки или головы, чтобы оправдаться перед конклавом. Я не сказал директору, что если курия сядет на хвост, то самое разумное — без суеты сливать бензин и выбрать местечко потенистее, чтобы вдове не напекло голову во время посещения.

Хотя до завтрака оставалось еще полчаса, я чувствовал себя

пророком Иезекиилем после плотного обеда. Впервые мне было так скверно, когда я валялся с растянутой стопой в дюнах после нашего блестяще провалившегося вторжения. От нашей десятки осталось трое — я, Гервег и Хом. Хом лежал рядом, и жизни в нем было не больше, чем в подметке, а Гервег уполз в сухой колючий кустарник в поисках воды. Я был уверен, что он не вернется, оставив меня в попутчики к Хому. Тогда на меня накатило не отчаяние и безнадежность, а черное равнодушие ко всему. Страх пришел после, когда приполз Гервег с распухшим от укусов лицом, толкая перед собой шлем с мутной жижей, я испугался за себя: я не знал, что во мне есть такая чернота и безразличие...

Садовую тележку прокатили мимо спортплощадки к распахнутым дверям, которые я принимал за вход в раздевалку. Подружки разгрузили тележку и потащили лебедку в темный проем.

— Не тяжело? — спросил я, подходя.

— Не-а, — мотнул головой тот, что стоял ближе.

— Что у вас здесь? — Я ткнул пальцем внутрь.

— Склад.

— Тебя как зовут?

— Хенк.

— А скажи-ка Хенк... — Я на секунду осекся, потом спокойно продолжал: — Вы не здесь, случайно, боеприпасы держите?

— Что вы, — удивился Хенк, — они в арсенале!

— Ах, да, — сказал я, раздумывая, стоит ли брать его в оборот. Хенк и еще двое, Пит называл их, и они что-то знают.

— Нравится тебе здесь?

— Нормально, — лаконично ответил Хенк, укладывая мотки.

Стеллажи были забиты матрасами, разобранными спортивными снарядами и длинными кривыми трубами.

Я ничего не собирался выпытывать у парня. Мне уже было все равно, где, когда и каким образом они собираются прорываться в космос. Единственное, чего я хотел, — это очутиться на побережье, надавать оплеух кому следует и зарыться в песок, в горячий песок. На побережье сейчас тепло, нет этой сырости и холодного ветра. Что я здесь делаю, на что трачу силы и время? А времени, может, и осталось суцкая ерунда!

В глубине склада что-то с шумом обрушилось.

— Вот недотепы! — вскричал Хенк и бросился туда.

Я пошел вдоль стеллажей. Склад был больше похож на ангар. Высокий саодчатый потолок окрашен зеленой краской, местами она лохматилась и отставала неопрятными кусками. Две сильные лампы качались, тени прыгали на стены, пересекались. Склад был арублин в гору метров на двадцать, здесь вперемешку со спортивной снэстью лежала разбитая мебель, стандартные упаковки кафельных

плиток и всякое старье. Замка на дверях не было, это, видно, заскок местного руководства. Впрочем, при таких грандиозных замыслах они могут себе позволить маленькие слабости.

Хенк и его подручные справились с лебедкой и выскочили, переругиваясь, наружу, оставив дверь открытой.

В конце склада рядом с ящиками, сложенными впритык к стене, ржавым пятном темнела небольшая овальная дверь. К своему удивлению, я обнаружил, что это заглушка от типовых бомбоубежищ фирмы «Кастлер» с запирающим колесом в центре.

Я взялся за колесо, оно пошло туго, видимо, им редко пользовались. Люк открылся, свет от ламп высветил помещение, и опять я оказался обманутым. Это было не бомбоубежище, а небольшая пещера с низким сводом; в нескольких метрах от люка текла темная вода, я сообразил, что это подземная река.

Перешагнув через порог, я заметил, что вода течет почти вровень с полом. Света было мало, но все же я разглядел дыру, откуда шла вода, и была видна поперечная щель, куда она уходила.

Подойдя ближе к воде, я наступил на что-то мягкое. Я не вскрикнул и не подпрыгнул, но сердце екнуло, и в голове стало холодно. Нагнувшись, я выругался. Под ногами у меня лежал надувной плот, воздух спущен, когда же я охлопал его, то обнаружил, что спасательный комплект и рация отсутствуют, но ампула на месте. Я знал эту модель — трехместный армейский «поплавок».

Выбравшись из пещеры, я завернул люк и, потушив свет, вышел на воздух.

У дверей школы я сообразил, что видел Ледяную реку, — она начинается где-то в Загорье, несколько раз пропадает в ущельях, а затем выходит к столице. Неглубокая река, скорее речка.

В коридоре меня встретил директор. Он извинился, что не сможет позавтракать вместе со мной, проводил до лифта и ушел.

С лязгом закрыв дверь кабины, я посмотрел на часы. Бидо сейчас изнывает от неизвестности и может, не дождавшись меня, вылезти на свет божий и учинить с перепугу кровопролитие. Вот тут-то я и окажусь между двумя катками. Или воспользуюсь заварухой и благополучно исчезну! А если бы тут учился мой сын?

Пока я раздумывал, кто-то вызвал лифт. Кабина дернулась и пошла вниз! Ого! Я не знал, что у них есть нижние этажи, да и кнопки... вот пять кнопок, стандартная панель, верхние две замазаны зеленой краской. Я-то думал, чтоб по ошибке не нажали!

Кабина проехала мимо пустого освещенного коридора, я успел разглядеть зарешеченные двери. Наверно, это и есть арсенал.

На следующем этаже лифт остановился, но я не стал выходить, ожидая, кто войдет в кабину. Неожиданность была на моей стороне.

«Ну, скоро ты там?» — донесся голос снаружи.

В полумраке за частой сеткой было трудно что-либо разглядеть. Я пожал плечами и осторожно нажал на ручку...

Опять коридор, одна лампочка в глубине, а под лампочкой стоит воспитатель спиной ко мне. Издалека послышалась невнятная скороговорка и металлическое дребезжание.

— Что ты там бормочешь? — раздраженно воскликнул воспитатель и, пройдя вглубь, скрылся за дверью.

Я тихо закрыл кабину и рывком проскочил площадку перед лифтом к штабелям картонных ящиков в большой нише. Внутренний голос уговаривал меня не заниматься глупостями, все и так ясно, но я был в своей стихии — выслеживал, крался, полумрак, зловещие фигуры... детский сад! Правда, игры в этом саду непростые и на мою долю игрушек может не хватить, но за годы службы выработался профессионализм, толкающий на действия, опережающие мысль об их последствиях.

Дверь громко хлопнула, и смачно чавкнул замок. Замок, отметил я, не такие уж они идеалисты, это несколько утешает.

Мимо прошли двое: воспитатель и охранник. Охранника я тоже разглядел, это был тот, похожий на Бака-визисектора из последней серии «Тайной акции».

Когда лифт загудел, я выбрался из своего блиндажа и в который раз спросил себя: какого черта я здесь потерял? Если понадобится пушчонка для исключительно гуманной цели, то директор Юрайда одолжит на денек-другой. Мы с ним теперь если и не друзья, то вроде как союзники.

Коридор был значительно короче верхнего, того, где меня безуспешно дожидается голодный и злой старина Бидо. Двери и здесь зарешечены, замки на дверях и на решетках. Хорошие замки, филиппсовские, красная точка мигает, сигнализация.

Коридор кончался тупиком, слева от него дверь без решетки и замка. Зато к ней был приклеен лист бумаги, на котором я в полутьме еле разобрал буквы коротенького слова «Морг».

Вот здесь бы разгуляться воображению, вот здесь бы представить, как я вхожу, а там... там меня и оприходуют, обмоют и уложат, скрестив руки на груди. Или, скажем, войду, а там Джеджер, и другие, и директор... встают и хватают... Все эти пикантные ситуации я хладнокровно продумал и особых эмоций не испытал. Насмотрелся я трупов, а расследование в девяти случаях из десяти начинается с морга.

Я толкнул дверь и вошел. Еще одно темное помещение. Справа от двери я нащупал выключатель и зажмурился — люминесцентные лампы шли рядами по потолку, обливая комнату ярчайшим бело-голубым светом. Во всю стену шла дверь стационарного холодильника, такие громадины я видел на складах «Фрут Бокс». Что ж,

где же еще хранить скоропортящиеся продукты, как не в динфризере!

Копаться в чужих холодильниках — самый что ни на есть дурной тон. Того, кто лезет в чужой холодильник, не пускают в хорошее общество и не приглашают на раут. Придется отказаться от раутов. Где у них тут рычаг?

Я отошел к краю и отжал хромированную рукоятку вниз. Белая эмалированная дверь сложилась пополам и пошла вверх. В первые секунды я ничего не понял, но когда среди аккуратным рядом уложенных тел я узнал уже слегка покрытое изморозью лицо старины Бидо, мне показалось, что из холодильника хлынул жар, что-то горячее кольнуло в сердце и растеклось в желудке.

Они лежали плотно прижатые друг к другу, головами к двери, голые, в пятнах замерзшей крови. Темная родинка на лице Бидо показалась мне черной, глаза его были закрыты, и слава богу!

Рычаг обратно не шел: я не сразу понял, что изо всех сил сжимаю его в ладони, вместо того чтобы поднять вверх. Наконец дверь встала на место.

Я прислонился к стене. Меня трясло, но не от страха, а от холода. На какое-то мгновение я действительно был потрясен. Теперь я понял, для чего вызывал Юрайду Селин: они засекли Бидо и его ребят. И смотрел на меня директор странно, прикидывая, кончать ли меня вместе с Бидо или «аббат» в моей комнате оказался случайно. Лед был в его глазах, лед холодильника! Конечно, большие цели, высокая миссия, а кто мешает — в холодильник!

Было немного жаль, но не Лайона Круино, «аббата», а старину Бидо, хитрого шустрого бродягу. И еще облегчение: теперь уж я смогу выбраться! И зависть: если они справились с Бидо, то какие тузы у них в колоде! С курией у меня счетов особых не было, я старался, чтобы наши пути не пересекались, но ведь я лицо со значительными полномочиями; бессилье перед курией комплекса неполноценности не рождало, но муть всегда на душе оставалась. А они не испугались! Р-раз, и нет старины Бидо, и плевать им на курию. С будущими освоенцами шутки плохи! Ну а если конклав спросит за Бидо с меня? Шел он ведь ко мне!

Выходя из морга, я не смог потушить свет, — вдруг полезла в голову густая чертовщина. Я был уверен, что стоит выключить освещение, как бесшумно поднимется дверь, восстанет старина Бидо и, укоризненно качая головой, медленно пойдет на меня...

К лифту я шел не оборачиваясь, но одному богу известно, каких усилий это мне стоило. У пустых коробок воображение услужливо подсказало, что за ними кто-то прячется, но это пустяки, такими мелкими страхами самого себя не проймешь. За ручку я взялся мокрый от пота, и не страх, нет, не страх терзал

меня, а сознание своей ничтожности и никчемности. Оно раскаленным гвоздем сидело в мозгу — стоило мне много лет выбиваться и карабкаться, чтобы в такой момент оказаться разменной фигурой, меньше, чем пешка, меньше, чем самая поганая пешка в чужой игре. А игра серьезная, и в правилах разобраться трудно, если они есть, эти правила! Великая цель, новые стимулы, а интересно, наорал бы на меня директор Юрайда, спроси я, оправдывает ли Великая Цель равновеликие средства?

На втором этаже я вышел в холл и направился в столовую. Все эти переживания не могли заглушить зверский голод, тем более что ужин вчера был более чем легок. Может, это цинично, но оставим курии погребать своих мертвецов: живой лев лучше мертвой собаки... или наоборот? Сейчас почти десять, неужели прошло всего два часа с тех пор, как я видел в последний раз старину Бидо, с бездействующими часами, растерянным, с тоскливыми глазами?

В столовой почти никого уже не было. Три подростка торопливо допивали газировку. Один снова потянулся к сифону, но тут дверь с шумом распахнулась, в зал влетел Селин и заорал на них: «Чего расселись, через полчаса выпуск, быстро в актовЫй!»

Воспитанников как ветром сдуло. Из внутреннего помещения выскочили еще двое, в белых халатах и поварских колпаках; на ходу сдирая с себя халаты, они выбежали из столовой.

В актовЫй так в актовЫй! Я, не торопясь, дожевал гамбургер, запил водой и пошел в актовЫй зал.

Дверь в зал оказалась закрытой.

В зале было шумно, кто-то визгливо смеялся. Пока я раздумывал, стучаться или плюнуть и уйти, мимо промчался подросток и, крикнув на бегу «на галерею, на галерею», исчез в коридоре. Вход на галерею, опоясывающую актовЫй зал, был на третьем этаже.

По пути к лифту я задумался: почему воспитанники перестали меня выделять, не обращают особого внимания? Да и в первый день я не был в центре внимания, настороженность была, а сейчас и ее нет. Считают уже своим, что ли?

Перед входом на галерею толпилось несколько подростков, отпихивая друг друга от двери. Мне уступили дорогу, но крайне неохотно. Узкая галерея была набита воспитателями, охранниками и их подопечными. Я выставил вперед плечо и винтом протиснулся к перилам.

В бок упирался локоть охранника, кто-то мерно дышал в затылок. Перила давили на живот, но я не обращал на это внимания. Я понимал, что присутствую в качестве зрителя, возможно, весьма нежелательного. Недаром так настаивал Юрайда, чтобы я как можно скорее уносил отсюда ноги. С первого взгляда я понял, что происходит нечто из ряда вон выходящее.

Довелось мне бывать на выпускных торжествах, а как же: клятвы в верности родным стенам, убеленные главы почтеннейших метров, высокий слог и прочувствованная речь с небольшой слезой в голосе. И чистые лица выпускников, озаренные светом великих надежд, и маленькая девчушка с огромным бантом, декламирующая «Напутственную оду» Горация Обергера, и т. д...

Непохоже, чтобы здесь собирались читать «Напутственную оду» или произносить торжественную речь, бантов я тоже не заметил. На сцене стоял узкий столик, вроде журнального, за ним сидели трое — воспитатель, кажется, заместитель директора, а по бокам двое юнцов, затянутых в плотно облегающие костюмы из зеленой кожи. Перед ними лежали две коробки. Но не это поразило меня, а сам зал — ни одного кресла или стула, а только те самые рулоны, что разгружали сегодня утром. Они были все размотаны и пересекали белыми дорожками весь зал под разными углами, пола под ними не было видно. Несколько рулонов торчком приставлены к стенам, еще больше их было свалено в беспорядке в центре зала. На них сидели воспитанники, десять подростков.

Это и есть выпускники, догадался я. В зале больше никого не было, вся школа толпилась на галерее, хотя зал большой, хватило бы всем места. Может, у них такой ритуал?

«Это кто справа?» — свистящим шепотом прошелестел воспитанник. «Ты кто? — ответили из-за моей спины. — Это же Везунчик Куонг!»

Воспитатель, не вставая, взял со стола лист бумаги и начал громко зачитывать фамилии воспитанников. Они по очереди подходили к сцене, воспитатель брал попеременно из двух коробок белые прямоугольники с лентой. Подошедший жал руку воспитателю, вешал прямоугольник на шею и спускался в зал под сдержанный гул галерей. Везунчик и второй хлопали его по плечу.

«Повезло Селину, — завистливо сказал кто-то, — к Дергачу попал. У него не поскучаешь».

Селин действительно был в числе выпускников, вид у него, насколько я мог разглядеть, был весьма горделивый. Белый прямоугольник он закинул на спину и привалился небрежно к рулонам. Пита среди них не было, хотя он в школе четвертый год.

Школа сейчас пуста, ее можно обшарить всю, от спален до морга. Я поразился собственному спокойствию, будто и не трясся полчаса назад в темном коридоре подвального этажа.

Закончив вручение прямоугольников, воспитатель поднялся из-за стола, помахая рукой выпускникам и ушел со сцены за кулисы.

Везунчик и... как его... Дергач прыгнули в зал и подошли к воспитанникам. Селин подобрался, вытянул из-за спины прямоугольник и зажал его двумя руками, остальные тоже взяли за них,

На галерее стало тихо. Везунчик достал откуда-то белый шар величиной с крупный апельсин и подбросил его вверх.

Яркая зеленая вспышка ослепила меня! Когда перед глазами перестали плавать желтые и зеленые пятна, я чуть не закричал: внизу никого не было! Исчезли воспитанники, исчезли Везунчик и Дергач, начисто пропали рулоны, ни кусочка не осталось.

«Куда они делись?» — возникла первая мысль. Очевидно, я повторил ее вслух, потому что говорливый воспитанник с удивлением ответил:

— Как куда? Выпуск ведь, теперь до следу... ох!

Его взяли за шиворот и втянули в поток выходящих с галереи.

Волна безразличия захлестнула меня... По краешку сознания проходили лишь мыслишки о гипнозе, о ритуале, о раздвигающихся полах, почему-то вспомнилось, как бабушка водила меня в балаган, где показывали исчезновение слона. Мелкие догадки возникали по инерции, роль ничего не понимающего простака надоела, а ввязываться в высокоученый спор с директором бессмысленно. Они ведут свою игру, крупную, очень крупную игру без правил. Кто плюет на курию, тот может себе позволить играть без правил. Что ж, сказал я себе, если с тобой играют без правил, самое умное — выходить из игры. И как можно скорее!

На галерее опустело, я вышел за последними и пошел к лифту. Школа наполнилась возбужденными голосами, шумом, смехом, топотом, словно и не было этих нескольких дней напряженной тишины и чинного порядка. Выпуск. Но почему осенью?

Я вернулся к себе в комнату. Никаких следов борьбы. Значит, не здесь. Я взял портфель и вышел, хлопнув дверью.

К директору заходить не стал, говорить не о чем. А если я увижу лишнее и это ему не понравится, то он во имя своей правоты и меня уложит рядом с теми. Уложит, искренне сожалея. Но цель слишком велика, чтобы спотыкаться об меня. Еще неизвестно, подумал я, как повернется с курней. Может, оставить здесь адрес, чтоб присмотрели за сыном, если по дороге случайно собьет грузовик или в центре города машину вместе со мной превратят в дуршлаг. Курня, знаете ли...

Выйдя во двор, я лицом к лицу столкнулся с директором.

Он несколько раз крепко встряхнул мою руку, пожелал доброго пути и заявил, что проводит до ворот. Я не стал возражать.

Мы шли молча. Скользкие листья расплзались под ногами, ветер гнал с деревьев водяную пыль, пахло кислой гнилью.

У ворот он остановился.

— Кто вам читал историю социальных учений? — спросил он.

— Не помню, — ответил я, пожимая плечами.

Опять пустые разговоры!

Теперь можно было улыбнуться, помахать ручкой и расстаться друзьями. Ворота были распахнуты, рельс лежал у стены, дырка от него заполнена водой. Они отогнали мою машину к краю, чтобы грузовику было удобно разворачиваться.

Директор подобрал с земли веточку и сосредоточенно ломал ее на куски. Я не торопился. Куда спешить — в столице придут и спросят, куда я дел старину Бидо, а когда я отвечу: разве я сторож вашему «аббату», меня тут же прихлопнут.

Юрайда доломал ветку и ссыпал кусочки себе в карман. Спросить его, что ли, о выпуске? Не стоит, опять совет.

— Ложь о Валленроде смутила не один слабый ум,— прервал молчание директор, испытующе глядя на меня,— и соблазн действительно велик. Лучше быть шестерней, чем песчинкой в зубьях. Еще ни одна песчинка не ломала машину...

Не понимая, что он имеет в виду, я ничего не ответил.

— Конрад Валленрод, магистр Тевтонского ордена, жестокий истребитель еретиков и неистовый захватчик, легендами был превращен в народного мстителя, пробравшегося на командный пост, не брезгуя никакими средствами, для того чтобы в решающий момент подставить силы ордена под сокрушительный удар. Как это утешительно звучит для тех, кто продается врагу, надеясь впоследствии послужить правому делу. И как это ласкает слух тех, кто, служа богу, вдруг узнает, что прислуживает дьяволу! Кто строит поединок на обмане, чаще всего бывает обманут сам.

Интересно, для чего он мне это рассказывает? То ли вербует в свои ряды, то ли намекает, что к трупам в холодильнике не имеет отношения, а если и имеет, то вынужденно, протестуя в душе. Но откуда он знает, что я видел морг? И рискнет выпустить после этого? «Ловушка! — обожгла мысль. — Он меня проверлет!»

— Нет ли у вас сигарет? — неожиданно спросил он.

Я протянул так и не начатую пачку «Престижа». Он распечатал ее, вытянул три штуки, завернул их в носовой платок, а затем извлек из кармана пластиковый пакет и запаковал в него платок с сигаретами. Минуту или две мы молча смотрели друг на друга, в его глазах был вопрос, чего-то он от меня ожидал. Но мне было уже наплевать на все тайны и трупы, скорее бы домой или на песок.

Директор Юрайда кивнул, повернулся и медленно пошел к школе. Его плащ несколько раз мелькнул за деревьями и исчез.

Я подошел к обрыву. Каменистая осыпь терялась в дымке, внизу. На противоположной стороне желтели пятна кустов. Там, за холмами, начинается спуск в Долину.

— Красиво, не правда ли?

— Великолепно! — согласился я и только тогда обернулся.

Неслышно возникший Пулер протягивал мне папку.

— Вы забыли акты проверки.

— Ах, да,— равнодушно сказал я,— спасибо.

— Надеюсь...— улыбаясь начал он, но тут же осекся.

Его взгляд уперся в мою ладонь. Я продолжал держать пачку сигарет, забыв о них. Под лопаткой засосало, я понял, как изголодался по затяжке. Пупер с явным беспокойством разглядывал именно голубую пачку «Престиж».

— Если не ошибаюсь,— сказал он, уставив на нее палец,— она у вас была полной! В школе вы не выкурили ни одной.

— А вам что за дело, любезный?

Наглый охранник что-то пробормотал и завертел головой, всматриваясь под ноги. Потом вскинул на меня глаза, потянул носом и перевел взгляд туда, где минуту назад скрылся директор. Ничего не сказав, он быстро пошел к воротам.

Слова, факты и предметы еще не сложились для меня в законченную картину, но я тем не менее делал свое дело автоматически: догнал Пупера, сбил с ног и, сорвав с себя галстук, прикрутил охранника локтями назад к прутьям ворот. Когда он опомнился от неожиданного нападения, я уже достал ампулу с сывороткой и сорвал с иглы колпачок. От укола в плечо он дернулся и вытаращил на меня глаза. Вот сейчас он и посыплет все...

— Ну, что интересного вы могли бы мне рассказать?

Но Пупер, вместо того чтобы начать тут же выкладывать все как на исповеди (сыворотка действует практически сразу), потребовал, чтобы я его немедленно развязал, начал грозить мне жалобами начальству, а под конец заявил, что я сошел с ума и меня надо немедленно изолировать. Я же стоял над ним и недоумевал. Сыворотка, что ли, скисла? Не бывает такого, чтоб после двух кубиков человек тут же не превратился в выбалтывающую тайны машину! Странная у него реакция, и сигареты...

Мысль не успела оформиться, когда я медленно достал зажигалку, извлек сигарету... Он расширившимися глазами следил за моими манипуляциями. Когда я зажег сигарету, он дернулся и обмяк. Затяжка теплой волной пошла в легкие.

Я выдохнул дым ему прямо в лицо и... еле успел отскочить! Его вывернуло наизнанку. Пупер захрипел и потерял сознание.

Ничего не соображая, стараясь связать мысли, я стоял как пень. Потом я легонько двинул его ногой в щиколотку. Пупер слабо застонал, открыл один глаз и снова закрыл.

— Отравитель! — просипел он.— Все вы отравители, вся ваша поганая планета!

Меня затрясло от возбуждения. Я напал на жилу и разработал ее до конца. Если понадобится, я буду пытаться его еще, но он мне выложит, почему планета «наша», а не его!

— Куда девали выпуск? — рявкнул я ему в ухо. — Где они?
Он молчал. Я щелкнул зажигалкой.

— Немедленно прекратите, — захлебываясь, зачастил он, — мы помогаем вам избавляться от никому не нужных и опасных элементов. Они не нужны армии, производству, школе. Но их энергия, храбрость, этическая гибкость...

— Не дуй в карман! Куда их дели, быстро!

— Пятерых на Амант, пятерых на Гало-II.

— К-куда?

— Это недалеко, шесть и двенадцать световых лет.

От невероятной догадки у меня словно лопнуло в голове.

— Развяжите мне руки и скорее уезжайте, — с угрозой сказал Пупер. — Вам никто не поверит, а нам стоит моргнуть, и от вас даже пепла не останется. Вы не можете представить, сколько людей служат Делу, не подозревая о нем...

Он так и сказал «Делу», с большой буквы. Но угрозы — это хорошо! Угрозы — это мозоли, козыри и большой зуб. Значит, ты человек, если угрожают. Угрожают — значит, боятся. Но какая нелепость: тщательно охраняемая тайна всплывает из-за ерунды. Впрочем, все засекреченные системы защищены от серьезных ползновений и утечки. Предусмотреть можно все, кроме роковых случайностей, которые и рушат самую хитрую конспирацию.

— Так зачем вам подростки? — перебил я Пупера.

Вместо ответа он попытался пнуть меня в живот, но я мигом урезонил его. Он крикнул от боли и затих.

— Итак? — Я поднес огонек к сигарете.

— Ладно, — устало сказал он, — я вас предупредил...

* * *

Вся правда оказалась настолько невозможной, что я поверил сразу. И растерялся. Одно дело, когда после работы валяешься с банкой «Тьюборга» перед телевизором и смотришь, как славные парни разделявают пришельцев всех мастей и расцветок, другое — когда выясняется, что пока киношники лепили свою туфту, натуральные инопланетяне без рекламы вывозят наших детей!

— Освоение Галактики требует больших затрат не только материальных, но и этических, — толковывал мне Пупер, — отряды цивилизаторов несут трудную, но благородную службу, которая под силу только им и больше никому!

Он говорил о благодарных родителях, получивших приличные отступные и готовых пятки лизать воспитателям, лишь бы их чада были пристроены.

— Что же делают эти цивилизаторы? — спросил я, на что он

уклончиво пробормотал, что, мол, далеко не все населенные планеты стремятся к нормальному общению, к взаимовыгодным контактам и тому подобное и что бывают нежелательные эксцессы, когда применение силы просто неизбежно для предотвращения большего зла.

— Но почему подростки? И почему мы, своих не хватает?

Пупер долго молчал, а потом сказал, что выбирать им не приходится, потому что взрослые особи (он так и сказал «особи») не годятся по психопараметрам, их долго обучать и координировать, а доподростковые возрасты недостаточно мисдиминальны. А почему земляне? Он предпочел бы не отвечать на этот вопрос, но если я настаиваю... что ж, опять же не приходится выбирать! Найти разумных и достаточно развитых, но способных к силовым акциям практически невозможно. Пока мы единственные.

Вот так! Они прибирают к рукам обитаемые миры, но что-то мешает им убивать. Мораль, табу или еще что — неважно. А если туземцы отказываются менять слоновую кость и рабов на бусы и зеркальца, то их объявляют дикарями и насылают цивилизаторов. Господи, неужели история так омерзительно повторяется везде?

Пупер все призывал меня посмотреть на положение вещей непредвзято, проявить широту взглядов. В конце концов, когда земляне выйдут в Большой космос, они смогут использовать опыт и знания первых отрядов, ведь лет через десять они начнут возвращаться. А гласность вредна, поэтому они обратились не к правительству, а к частным лицам. Лучшие преподаватели, отличное оборудование, контакты, неформальные, разумеется, с правительственным аппаратом. Не все посвящены в Дело до конца, даже Юрайда знает лишь то, что ему сочли нужным сказать.

Он говорил, говорил, а я всматривался в него, пытаюсь увидеть что-либо чужое. В кино просто — там они неприятны, зелены и многоглазы, а этот охранник был похож... на охранника. Заурядное лицо, таких на сто — девяносто.

Хорошо бы запаковать его в багажник и вывалить перед журналистами в столице. Но если это вполне земная подлость, то меня в лучшем случае упекут в палату для буйных. Да и курия может перехватить по дороге и встрясти из него все. Тогда я буду нежелательным свидетелем в новой игре. Скверно играть, не зная правил, еще хуже — когда правил вообще нет.

Шевельнулось во мне сомнение, уж не обманный ли это маневр хитрого на выдумку директора Юрайды, однако чутье подсказывало, что хитрости кончились, я уперся в стенку и дальше хода нет, а сзади стоят с ружьями у плеча и сейчас упадет команда...

Я рывком поднял Пулера и несильно дал ребром ладони по

горлу. Всклипнув, он мягко осел на землю, и я, развязав узел, оттащил его в кусты. Полежит полчасика, отдохнет, а я за это время сменю в Долине машину или доберусь до аэропорта.

Когда я подошел к своей «эйзет алка» и распахнул дверь, в глаза бросился прилипший к сиденью кленовый листок. Они заправляли машину, все в порядке, уговаривал я себя. Кто же в наше время сует в бензобак динамитный патрон или срезает тяги — это же просто неэтично. Я дважды обошел машину, потрогал фары, но не мог никак решиться. Может, столкнуть машину с обрыва, а там пусть ищут останки настырного капитана!

За воротами густо зарычал турбинный двигатель, из-за деревьев показался грузовик. Я метнулся к кустам. «Беккер» выпола наружу, остановился. Из кабины выбрался водитель, за ним коренастый подросток. Они подошли к рельсу, подняли его и, ухнув, всадили на место, выплеснув из дыры грязный фонтан. Водитель что-то сказал, подросток хохотнул и, махнув рукой, исчез за деревьями. Водитель забрался в кабину, а я, не раздумывая, выскочил из своего укрытия, вцепился в скобу и, подтянувшись, свалился в кузов. Грузовик дернулся, развернулся и покатиł вниз.

В углу пустого кузова была свалена ветошь, куски брезента. Я вжался в угол, упершись ногами в рейку на полу. От развилки машина свернула к Долине и прибавила скорость. Я расслабился, через полчаса въедем в город. Пупер скоро придет в себя, но пока доползет, пока примут решение, я успею вылететь на Побережье. Плохо, что оставил машину, догадаются...

Плывать им на меня, ожесточенно подумал я. Они знают свое дело. Шеф мне не поверит или велит помалкивать, а если и вступит в игру, то вместе с курией. Собрать газетчиков? Розыгрыши с тарелками приелись, от меня потребуют доказательств.

Юрайда тоже хорош! Зря я гадал, на чем его поломали и за сколько купили. Таких не надо гнуть и ломать, дешевле обмануть. И не шестеренка он, а шестерка! Как он тогда — «меньшее из зол»? Вот оно, его меньшее зло: продавать детей в швейцарцы, в иностранный легион, в диких гусей! Как ни крути, эти «цивилизаторы» ничем не отличаются от наемников. От карателей.

Но все же не угроза и ненависть были в глазах Юрайды, а тоска. Им крутят как хотят, и сделать ничего нельзя, и не директор он вовсе, а заложник. Он пытается как-то контролировать, на курню окрысился, чтобы эти с ней не связывались. Еще бы! Курня и м добра наберет много, эшелонами. Меньшее из зол, тьфу!

Господи, за что?! За что наказываешь не нас, а детей наших?! Что там болтал этот — «единственные»? Неужели там больше некому убивать и свои грязные делишки они обстрипавают руками наших детей? Выйдем в Большой космос, а как же! Да любое

мыслящее существо отшатнется с ужасом и омерзением от тех, чьи дети по локоть в крови. Если мы единственные убийцы, то подобающее нам место на помосте, в капюшоне с прорезями и с отточенным топором. Они начнут возвращаться, эти убийцы! Радости-то будет сколько...

Пусть мы еще дики и кровожадны, но зачем выставлять напоказ наше безобразие, да еще наживаться на этом? Чем же они лучше нас, чистоплюи? Не знают про холодильник, что ли? Жаль, я не спросил, во имя чего они разыгрывают кровавую карту человечества, что они у себя не поделили?

Машину затрясло, брезентовый верх захлопал, очевидно, проезжали ремонтный участок, скоро въедем в город.

Турбина загудела громче, что-то застучало, зашелестело по брезенту. Ветки, догадался я. Пора ориентироваться. Пока я пробирался к заднему борту, машина остановилась. Я замер, прислушиваясь. Снаружи хлопнула дверь, что-то лягнуло, потом грузовик медленно пополз вперед. Мы у бензоколонки, решил я и потянул полог вверх, готовясь спрыгнуть.

Свет резанул по глазам, пока я привыкал к нему, машина развернулась и стала.

Я, не теряя времени, спрыгнул. Выпрямившись, сунул пальцы себе в рот, чтобы не закричать,— грузовик стоял во дворе школы, я бы поклялся, что это точная копия, если бы на пороге не стоял Пит Джеджер и не делал мне ручкой.

* * *

В кустах над валунами мелькнуло красное пятно, раздался сухой треск, рядом свистнуло, на голову посыпались клочья коры. Я вжался в холодную мокрую листву. Очередь прошла высоко, следующая ссекла ветки в стороне — стреляли наугад. Пятно исчезло, но я не шевелился, дыхание еще не вошло в норму, сердце толкалось где-то под мышкой. По руке поползла холодная струйка, я чуть приподнял голову — красный дождевой червь переползал ладонь. Я брезгливо тряхнул рукой и снова замер. Голоса наверху стихли, но от них можно ожидать любой пакости. Сумерки уже наступили, но еще слишком светло.

Наконец я отдышался и немного отполз назад. Наткнулся на камень и застыл. Время работает на меня, самое позднее через час стемнеет, я выползу на дорогу, а там посмотрим.

Холод начал пробираться. Разогревшись во время бега, я чуть было не сбросил плащ и сейчас тихо радовался, что не сделал глупости.

В листве защелкала и засвистела птица. Соловей, решил я, тут

соловьи осенью поют. Не помню, какие из птиц предупреждают о человеке, а какие наоборот. Забыл. Надо поглубже забраться в заросли, полуголые сучья плохо прикрывают, хорошо, хоть плащ красноватый, на фоне листьев не очень заметен.

Особого страха не было, все легло на свои места — меня преследуют, я отрываюсь, в меня стреляют, я маневрирую... просто, понятно, никаких загадок. Шанс выбраться из этой ловушки есть, и я им не пренебрегу. Страх придет позже, когда я доберусь до столицы и буду ждать картечь в живот.

Будь я проклят, если понимаю, где развернулся грузовик и пошел обратно. У водителя рация, понятно, но почему меня не прихлопнули по дороге?

Обнаружив, что снова оказался во дворе школы, я окаменел и стоял, ничего не соображая. Джеджер что-то сказал в коридор, и оттуда неторопливо вышли подростки с клюшками для гольфа в руках. Пересмеиваясь, они медленно двинулись ко мне, заходя справа и слева.

Я мгновенно пришел в себя и оценил обстановку. Плохо! Будь их трое, даже четверо, я бы рискнул, но пять... а вот и Джеджер за ними... шестеро! Не можешь бить — беги, а когда растянутся, то одного-двух вырвавшихся вперед можно сковырнуть. Все это мелькнуло в голове, когда я нырнул под борт грузовика, выскочил сбоку и рванул вниз по дороге, к воротам. Увести их подальше, измотать и взять на испуг! Но не успел я пробежать и сотни метров, как увидел еще нескольких подростков, бегущих навстречу. Игра приняла другой оборот, я взял левее и, проламываясь сквозь кусты, выбрался к спортплощадке.

«Куда же вы, капитан,— узнал я издевательский голос Джеджера,— поговорим!»

Они не спешили, зная, что мне деваться некуда — спортплощадка врезана в гору. Я и сам не знал, почему кинулся именно сюда, но интуиция в острые моменты меня еще не подводила. Не отдавая себе отчета в действиях, я пробежал отрезок от угла здания до склада, полностью выложившись.

Распахнув плечом складскую дверь и не зажигая света, я метнулся в самый конец, моля бога, чтобы не споткнуться. Налетел плечом на ящики и тут же нащупал колесо люка. Проклиная себя за то, что утром туго завернул его, крутанул изо всех сил и чуть было не упал, когда люк распахнулся. Когда я был уже внутри и тянул люк на себя, в светящемся дверном проеме возникли темные фигуры, раздался хохот, гулко усиленный сводами. Стараясь не лягнуть, я тихо довел люк и завернул кремальеру. Стопора не было, можно открыть и снаружи.

Нащупав на резиновом плоту карман с ампулой, я хорошенько

стукнул по ней. Мягкий ком подо мной вздулся, расправился и задеревенел. Недолго думая, я осторожно столкнул его в воду, лег на рейки и оттолкнулся от берега. Вода подхватила плот и понесла его, я вжал голову как можно ниже, хотя понимал, что опасности не должно быть, иначе зачем здесь держать плот.

В темноте ничего не было видно. Течение убирилось, я обнаружил, что постепенно сползаю головой вперед, следовательно, подземная река уходила вниз. Я ничего не мог предпринять и просто лежал на дне плота, стараясь не думать ни о пропастях в конце пути, ни о решетках на выходе и прочих дешевых ужасах из низкопробных боевиков.

Я заметил, что течение замедлилось, встречный ветер перестал трепать волосы. И тут же в глаза ударил свет.

Река вырвалась на поверхность в ущелье. Подняв голову, я обнаружил, что плот несет на трос, натянутый между берегами.

Плот я вытащил на берег и закидал листьями — на всякий случай. Пройдя немного по течению, наткнулся на широкую тропу, на которой валялся разбитый длинный ящик с рассыпанными вокруг стреляными гильзами.

А через несколько шагов обнаружил, что меня ждут...

* * *

Левую руку я неловко подогнул, и она затекла. Я осторожно вывел ее из-под себя и пошевелил пальцами. Терпение истощалось, конечно, единственный шанс — это ночь, темнота, но лежать в грязи с дождевыми червями я больше не мог. Ничего не делая, можно расслабиться, потерять бдительность — и вот тебя уже волокут за ноги в холодильник.

Лучше всего заползти глубоко в кустарник, найти место посуше. Влажные листья не шуршали, но ползать по ним тяжело. Я прополз несколько метров и взмок. Если меня здесь не прихлопнут, то воспаление легких доконает.

Шорох слева! Я замер в нелепой позе, рука так и осталась на воротнике, вытаскивая свалившуюся за шиворот веточку.

Из-за кустов вылез невысокий, но плечистый парень, и не клюшка для гольфа была у него в руке, и даже не «ганза», любимая трещотка наемников, а компактный «дюрандаль», восемьдесят три малокалиберных дисбалансированных жал. Они входят в тело под углом и рвут ткани. Хватит и одного попадания. Холодная ярость захлестнула меня: мало того что они балуются самоделками, так еще заполучили новую модель, начавшую поступать в армию.

«Вот оно, оружие! — полыхнуло в мозгу. — Действуй!»

Когда он отвернулся, я рывком прополз несколько метров,

подобрался ближе, прикрываясь кустами, и прыгнул. Он обернулся в тот момент, когда я летел на него в прыжке. Реакция была мгновенной, но я опередил его на долю секунды, выбив ногой вскинутый «дюрандаль». Коснувшись земли, я крутанулся на одной ноге и пнул его в бедро. Он полетел в заросли. Галстук мне снова пригодился, я завел ему руки за спину и связал.

С оружием я чувствовал себя вдвойне дураком: не надо было отказываться от него при выезде в школу, а главное, дело принимало иной оборот, многозарядная трещотка в моих руках так и зывала к силовым акциям.

Что ж, подумал я, если меня и пристрелят, то хоть паду с оружием в руках. При исполнении. Я чуть не выругался вслух от раздражения на самого себя. Напыщенный дурак, на кой черт тебе оружие! Они подвезут минометы и перекроют ущелье. Славно порезвятся, заодно и технику опробуют.

Подросток очухался и жег меня ненавидящими глазами.

— Если пикнешь, уложу на месте,— прошипел я, погрозил за чем-то пальцем и стал продираться сквозь кусты к реке.

Тропинка шла к полигону, директор что-то говорил о ней, идет она от школы через все ущелье.

Едва я отошел на несколько шагов, как юный негодяй заорал диким голосом: «Сюда, Пит, Хачи, скорей сюда!» У меня хватило ума не возвращаться, хотя пара оплеух привела бы крикуна в чувство. Я прибавил ходу и свернул вправо. Идти было трудно, податливая масса раскисших листьев вязко пружинила, я мог кувыркнуться с пяти-шести метров вниз, на камни, вылезшие из воды.

Послышались возбужденные голоса, по камням зацокали пули. Я метнулся вперед, но тут же сошел с тропы и полез наверх. Они кинутся по тропе, а я залягу наверху и пережду.

Сумерки сгустились, но видимость в ущелье еще хорошая, солнце снизу подсвечивало облака. Темное небо и странно белеющие облака, словно приклеенные...

Голоса и стрельба остались внизу. Я прислонился к дереву и перевел дыхание. Здесь кончался кустарник, за ним стояли редкие тощие березы на открытом пространстве, а метрах в тридцати начинались скалы.

Я добрался до скал и, прижавшись к нагретому за день камню, застонал от блаженства. Тепло...

В скалах были широкие расщелины, хорошее убежище. Отсюда была видна противоположная сторона ущелья, заметны искореженные, разбитые в щепу деревья, большие черные проплешины.

Нашли место для полигона, злобно подумал я, протискиваясь между глыбами. Я ободрал руку, но пролез в колодец, образованный рухнувшими сверху огромными камнями. Здесь было темнее,

чем снаружи, но сквозь щели можно еще разглядеть кустарник внизу и подходы к расщелине.

За длинным обломком я обнаружил углубление, в котором и разместился. «Дюрандаль» жал мне в бок, я выставил его перед собой. Получилась отличная стрелковая ячейка. Если полезут в щель, то по одному можно перебить батальон пехоты. Но не воевать же с детьми?! Правда, детки уж очень способные. А как же, высоко ценящееся в обитаемой Вселенной пушечное мясо... Если бы мясо, затосковал я, если бы они были жертвами обмана, так ведь нет, они знают, на что их специально натаскивают. Не удивлюсь, если кроме лекций по искусству им и литературу соответствующую тщательно подбирают, стихи на ночь читают про мужество и отвагу. Не пушечное мясо, а кровь и плоть войны, единственная убивающая сила, пользующаяся большим спросом. Золотари и вышибалы всегда нужны, но общество воротит нос от своих ассенизаторов. Как нас встретят в космосе...

Обидно, что с Джеджером так и не разобрался. Из-за него и посыпалась труха, но что с ним тогда случилось, непонятно.

Почему удрал, на что намекал, как его сумели так быстро забрать? Нервный срыв! А сейчас он вышел на охоту для укрепления нервов.

И с директором непонятно. То ли обманывает, то ли его обманывают... Издевался он надо мной или действительно звал в союзники? Может, он здесь в одиночку что-то пытается делать? Помешался от ненависти к курии, личные счеты или нечто в этом роде, решил одну нечисть натравить на другую и не заметил, как попал в жернова? Непонятно...

Лежать на камнях было неудобно, я встал, несколько раз присел, разминаясь, и снова вернулся на место. Возникла мысль о рывке наверх, к дороге, но я ее благоразумно подавил. Время от времени я поглядывал вниз, а когда уже решил, что они убралась отсюда, кусты зашевелились, из них вылезли две фигуры, а за ними еще две. От досады я стукнул кулаком по камню.

Они пошли вдоль кустов, потом начали карабкаться вверх. Вскоре их голоса раздались возле моего убежища. Я прижался к камню, подтянув к себе «дюрандаль».

«Глянь-ка, Пит!» — сказал поймающийся голос.

«Ого, а вот еще!»

Следы! Я же таскался по грязи и мокрой земле, а здесь почти сухой камень. Надо же так забыть!

«Куда он денется?» — спросил первый.

«Никуда не денется! — уверенно отозвался Пит и крикнул: — Давай сюда!»

Подошли еще двое и загородили щель. Мне были видны все.

«Надо эту дыру проверить?» — сказал один из них, тьма пальцем в мою сторону.

«Так ведь он вроде туда полез», — возразил первый, вглядываясь себе под ноги и указывая куда-то вбок.

Я затаил дыхание. Если заметят, пристрелят как куропатку.

«Здесь его нет! — гулко раздался голос рядом, а потом уже снаружи: — Может, его внизу зацепило, надо пройтись!»

Пройдись, пройдись, милый, взмолился я, мне бы еще минут двадцать, ну, десять, темно уже.

«А следы?»

«Не поймешь, вроде он снова вниз пошел. Или наверху засел?»

«Переждем, — сказал молчавший до сих пор подросток. — Ночью никуда не денется, а утром мимо нас полезет. На дороге встретим».

Они заговорили разом, заспорили, потом Пит заявил, что за палаткой лучше не ходить. Во-первых, можно нарваться (бояться меня, сопляки!), а во-вторых, до утра можно пересидеть здесь, в расщелине. Не слабаки!

У меня пересохло в горле. Мышеловка захлопнулась! Навалился большой страх и стал душить, в голове опустело, и в этой пустоте завизжал тонкий голос: «Беги, беги, беги...»

Бежать было некуда. Хорошая каменная гробница! Я хотел подняться, но из ног будто вынули кости.

Они по одному протискивались в расщелину, еще несколько шагов, и Пит скажет, «а вот и наш капитан» или что-то в этом роде, и вид у меня будет глупый и позорный.

Страх вдруг ушел, испарился, на какое-то мгновение мне померещилось, будто я снова окопался в дюнах, а рядом Гервег пытается снять пулеметчика с вышки, и хоть нет у меня к засевшим на базе самоубийцам ненависти, я буду стрелять и убивать, чтобы не убили меня.

Это видение еще не успело исчезнуть, когда я вскочил и нажал на спуск.

Сухие хлопки слились в длинный треск и заметались в каменном колодце...

«Что я натворил, — обожгла мысль, — в кого стрелял?!»

Пит был еще жив, когда, шатаясь, я подошел к ним. Он что-то пробормотал и уронил голову.

Что я натворил, я же убил их! Не знаю, сколько времени я простоял над ними, тупо повторяя, что я натворил, что я натворил, что я натворил... но тогда я еще не понимал — что! И когда вдруг понял, пришел огонь и выжег мозг, в глазах замелькали багровые пятна... Их лица в темноте не были видны, но я вдруг решил, что один из них — мой сын!

Не помню, что было потом. Кажется, я по очереди тормозил

их, лепетал «вставайте, ребята, сыграли и хватит» и другой вздор. Потом меня подняло с места и кинуло вниз; продираясь сквозь кустарник с закрытыми глазами, я споткнулся и полетел лицом в листья, и единственной при этом мыслью было: «Сейчас проснусь»...

Я стоял на тропе, у ног моих лежал «дюрандаль». Шок прошел, холодное отчаяние сковало меня, было все равно, идти вниз, к полигону, а там застрелиться или спрыгнуть в реку здесь. Самое подлое, что одновременно с этим я не собирался делать ни того, ни другого, мелкие оправдания возникали и тут же стыдливо гасли. Но они расцветут потом, память все смажет.

Ложь, сплошная ложь! А правда — вот она: кровь детей моих на руках моих. И моя ли в том вина? Им сказали — убей, их учили — как, им объяснили — зачем. Что с того, если они не здесь, а там свирепствуют в зондеркомандах, что с того, если они замарали имя человеческое во веки веков?! Они и меня сделали убийцей, чистоплюи! Кто им дал право взять нас кровью? Кто дал право загонять в казармы, продавать в наемники?..

Игры без правил кончаются кровью.

Я сел на камень и долго просидел в темноте.

Звезды начали исчезать, потянуло сыростью, наполнил туман. Туманом сопровождался мой приезд сюда, им же и кончается. Ничего, это ненадолго. Теперь я начну задавать вопросы, и пусть они попробуют мне не ответить! Если ведется игра без правил — устанавливай свои правила!

Я подобрал «дюрандаль» и пошел наверх, к школе.

КОММЕНТАРИЙ УЧЕНОГО

Удивительный мир научной фантастики. Взгляд, обращенный в будущее, чтобы лучше разглядеть настоящее...

В пристальном внимании к Человечеству среди других миров и к Человеку среди других людей можно видеть общность научной фантастики и психологии. Очень интересными, с психологической точки зрения, представляются повести Э. Геворкяна и В. Генкина, А. Кацуры. Каким странным и тревожащим предстает с первых страниц описанный ими мир будущего, как тесно переплетено в нем вымышленное, фантастическое, и знакомое, привычное, — все то, чем живет, чем «болеет» и на что надеется человечество сегодня.

Сюжетная ткань повестей контрастна: начавшись с волнующей, пугающей ноты, в дальнейшем мир одной из них («Лекарство для Люкс») становится все более оптимистичным и радостным, тогда как описание другого («Правила игры без правил») порождает у читателя гнетущую эмоцию тоски, ужаса, поднимаясь к финалу до высот подлинной трагедии. В одной повести победил разум, доброта, все ценное и прекрасное, мир другой полон насилия, жестокости, лицемерия.

Повесть Э. Геворкяна — это предостерегающая проекция антигуманных основ современного буржуазного общества в будущее. Ее можно рассматривать как научно-фантастическое политическое произведение, обнажающее неприглядную сущность милитаризма. Неужели люди предстанут перед иными цивилизациями как «разумные и достаточно развитые, но способные к силовым акциям», неужели в этом будет заключена отличительная черта землян? Таков основной вопрос повести, призывающей к активным, бескомпромиссным действиям в защиту гуманистического начала в человеке.

Вопрос-предостережение звучит и в повести В. Генкина, А. Кацурь. Какие уроки извлекли люди из страшных бедствий военных лет, как пережитое формирует их представления о добре для человека и человечества? Будущее невозможно без прошлого. Поэтому Пьер никак не может расстаться с воспоминаниями и оценивает мир, в котором ему посчастливилось оказаться, сквозь дымку сражений французского Сопротивления: «Мы, напрягая все силы, боролись... нет, боремся в трудном, кровавом, жестоком, горячем нашем двадцатом веке. Да, в грязном и подлом веке, но вместе и таком светлом из-за свершений его лучших людей, его настоящих героев, из-за высоких движений души, неодолимого стремления людей к справедливости. Мы боремся против крови, огня, мук...»

При всем различии сюжетов, стиля, композиции повести сближает психологически точное направление взгляда авторов на проблему человека будущего. Авторы пытаются понять природу общества и человека через детство. И это очень правильно. Психологам хорошо известно, что уровень развития цивилизации и ее внутренняя сущность наряду с другими факторами определяются и степенью свободы, предоставляемой детям. Насколько неопоставимо положение детей в двух созданных фантазией авторов цивилизациях. Там, где господствует террор и подавление, дети содержатся в специальных, воензированных школах, им предписана кровавая миссия легионеров, и потому в них культивируют жестокость, усиливают подчиняемость и затормаживают всякие проявления разума и сознания. И наоборот, подлинно гуманный и демократичный мир предоставляет детям истинную, совершенную самостоятельность. Подростающее поколение Земли готовится выйти за ее пределы. Какой духовный багаж возьмет оно с собой, какими ценностями поделится с иными разумными существами?

И последнее, в чем видится внутренняя близость повестей,— это отношение авторов к такому хорошо знакомому, но и весьма сложному в психологическом плане явлению, как детская игра. В повести Э. Геворкяна игра превращена в политическую и военную авантюру, в инструмент для реализации агрессивных замыслов. Игра в мире будущего, описанном В. Генкиным и А. Кацурь, построена в полном соответствии с ее истинной психологической природой. Действительно, игра дает возможность полного и органичного слияния обучения и воспитания в единый процесс. Игра — одно из основных средств подготовки детей к взрослой жизни. Ведь истинное познание происходит не столько в ходе рационального, холодного изучения того или иного предмета, сколько путем формирования пристрастного, эмоционального, глубокого личного отношения к нему. Но и этого мало. Чтобы понять истинное значение любого общественного явления, полезно представить себя

его участником во всех возможных позициях. Этому также помогает игра.

Человеку будущего необходимо владеть отточенным искусством межчеловеческих, а может быть, межпланетных и межгалактических контактов, поэтому нужно развивать у детей способность к пониманию, к сопереживанию, к идентификации с партнером по общению. И в этом тоже может помочь игра, что так убедительно показано в повести «Лекарство для Люс». Наконец, истинный демократизм всегда предполагает коллегиальность при решении любых проблем, потребность в коллективном творчестве. В повести В. Генкина и А. Кацурь игра во всемирный совет, являющаяся моделью принятия наиболее мудрого и правильного группового решения, помогает воспитать истинных коллективистов.

Итак, в повестях «Лекарство для Люс» и «Правила игры без правил» затрагиваются острые социальные проблемы. Здесь в анализе природы человеческой души и человеческого общества научная фантастика сближается с научной психологией. И этот анализ проводится через проникновение в мир детства, в мир детской игры. Можно смело утверждать, что на этом пути и у научной фантастики, и у психологии еще много открытий.

А. С. Спиваковская,
кандидат психологических наук

ГЕОРГИЙ ШАХ

«Берегись, Наварра!»

1

— Рассказывайте, Ольсен, не тяните душу,— сказал Малинкин.

Ивар Ольсен, потомок викингов и мушкетеров, и не думал, однако, торопиться, заранее наслаждаясь эффектом, который должно было произвести его сообщение. Он размеренно отпил два глотка холодного кофе, потом стал разглядывать узоры на потолке, постукивая пальцем по лежавшему перед ним на столике странному предмету.

— Ну, это смахивает на фантастику,— начал Ольсен.— Полагаю, никогда еще путешествие во Времени не изобиловало столь необычайными приключениями и не завершалось такими феноменальными результатами.

— Положим, всякое бывало,— заметил Кирого, за которым прочно утвердилась репутация Фомы неверующего.

— Все вы знаете о цели моего эксперимента.— Ольсен обвел глазами слушателей, удобно расположившихся в просторном инсти-

тутском холле.— Поэтому я опущу предисловие и перейду к самому сюжету. Итак, 14 мая 1610 года я стоял в толпе горожан, собравшихся на улице де ла Ферронри в Париже в ожидании королевской процессии. Если вы полагаете, Кирого, что пребывать в средневековом городе столь же приятно, как пасти динозавров в чистом воздухе мезозойской эры, куда вы любите прогуливаться, то жестоко ошибаетесь. От сваленных у домов груд мусора, заполненной нечистотами канавы, залежалых овощей в тележках зеленщиков исходили ароматы, сливавшиеся в застойный смрад. Вдобавок окружавшие меня жители столицы, в большинстве своем бедняки из предместий, пришедшие поглазеть на своего государя, не отличались пристрастием к личной гигиене. В те времена, как известно, даже знать не слишком часто пользовалась ванной.

— Вы утрируете,— оскорбился за своих предков Лефер.— Это ведь Париж, а не какая-то захудалая деревушка.

— В следующий раз, дорогой друг,— отпарировал Ольсен,— мы отправимся туда вместе и вы сможете лично удостовериться, что такое большой город в начале XVII века, большой, по тогдашним понятиям, разумеется.

— Не перебивайте его,— шепнул на ухо Леферу Малинин,— не то мы так и не узнаем, что произошло.

— Я уж не говорю о мытарствах, которые мне пришлось претерпеть, пока его величество сонзволил предстать перед своими подданными. Для начала меня обворовали, ловко обрезав привязанный к поясу кошелек с увесистыми лундорами. Затем нахальная старуха, прорывавшаяся в передние ряды, обозвала меня длинным олухом, поскольку я заслонял ей сцену. Потом какой-то цванливый дворянин чуть не проткнул меня шпагой, решив, что я недостаточно проворно уступил ему дорогу. Наконец, я получил по шее от свирепого верзилы за то, что слишком нагло, по его мнению, разглядывал двух хорошеньких барышень, коих сей тип сопровождал.

— И поделом вам,— вставил Кирого,— вы ведь знаете, что всякий флирт путешественникам во Времени категорически заказан.

— Я всего лишь позволил себе полюбоваться женской красотой, как эстет.

— Знаем мы вас,— проворчал Кирого, но все на него зашикали, призывая не мешать рассказчику.

— Вот именно,— сказал довольный Ольсен,— не сбивайте меня с толку. Небольшая заставка к моему повествованию была необходима, чтобы вы ощутили обстановку. Перехожу теперь к описанию основных событий. Ровно в двенадцать часов дня послышались звуки труб, возвещавшие о приближении королевского кортежа. Толпа сгрудилась, задние поднагляли на стоящих впереди, и brave

швейцарцы, установившие охранительный кордон, стали наводить порядок с помощью своих алебард. Укрощенные зрители отпрянули, и Генрих Наваррский со свитой получил возможность беспрепятственно проследовать к месту своей гибели.

Вы понимаете, что с того момента, как я оказался среди непосредственных свидетелей происшествия, я пытался угадать будущего убийцу. Располагая лишь самыми приблизительными сведениями о его облике — длинный, рыжий, я лихорадочно вглядывался в лица окружающих меня людей, рассчитывая обнаружить некие внешние проявления фанатической решимости, и пришел к выводу, что по такому признаку едва ли не каждый второй из присутствовавших там мужчин годился на роль Равальяка. К тому же у меня не было никакой уверенности, что покушение совершится именно здесь, а не в десяти — двадцати метрах в ту или иную сторону. Если так, пришлось бы распрощаться с надеждой запечатлеть это событие на пленку и поразить сегодня ваше воображение.

Ольсен опять постучал по странному предмету, и взгляды присутствующих невольно сошлись на таинственном продолговатом ящике из черного дерева. Все молча ожидали продолжения.

— Наконец, в изгибе узкой улочки появилась процессия. Впереди во главе с лейтенантом, словно сошедшим с иллюстраций к романам Дюма, следовали конные гвардейцы. За ними, не спеша, двигалась карета, украшенная гербом Бурбонов — белой лилией. В карете находились три человека. Благодаря вставленным в глаза мощным биноклярным линзам я уже издали опознал в одном из них короля. Короткая, аккуратно подстриженная бородка, живые карие глаза, в меру горбатый гасконский нос, осанка гордая, но отнюдь не надменная. Сидя у правого борта возка, он то и дело приподымался, чтобы помахать рукой парижанам, с энтузиазмом приветствовавшим своего повелителя.

Что касается двух других сидевших в карете людей, то я, естественно, не мог их опознать. Оставалось удовлетвориться тем, что согласно историческим хроникам тот, что постарше, был герцогом д'Эперноном, а другой — маршалом де ла Форсом.

Всякий раз, когда король вставал с места, он оказывался в опасной близости от цепочки вытянувшихся вдоль улицы любопытных. Казалось, достаточно было сделать всего шаг и протянуть руку, чтобы достать ножом до груди Генриха. Вы не поверите, друзья, но я едва удержался, чтобы не крикнуть ему: «Берегись, Наварра!»

— За что были бы навсегда отстранены от путешествий в прошлое, — незадательно заметил Гринвуд. С тех пор как его избрали в состав группы научных экспертов при Глобальном общественном совете, он не устал наставлять коллег по части соблюдения всяких правил.

— Как раз страх нарушить инструкцию и помог мне вовремя остановиться. Впрочем, Гринвуд, убежден, что даже такому законнику, как вы, нелегко было бы удержаться от столь понятного в данных обстоятельствах человеческого импульса.

Гринвуд презрительно фыркнул, давая понять, что считает себя выше подобных проявлений слабости духа.

— С каждой секундой напряжение во мне нарастало. У меня было такое ощущение, словно кинжал должен вонзиться в мою собственную грудь. Между тем экипаж медленно продвигался, из толпы раздавались выкрики «Да здравствует король!», Генрих помахивал рукой, гвардейцы мерно покачивались в седлах породистых лошадей, поскрипывали портупей, позвякивали колокольчики на хомуте у впряженного в карету коренника, изредка, уже издалека, доносился звук труб.

— Да вы поэт, голубчик, — сказал Малинин.

— Ничего подобного. Просто точное описание обстоятельств входит в профессиональную обязанность каждого уважающего свое дело историка. Из сказанного вы почувствовали, что во всем происходившем появилась какая-то усыпляющая монотонность. Меня резанула мысль, что как раз такой момент подходит для покушения. И в самом деле, в тот самый миг, когда карета поравнялась с вашим покорным слугой, человек в плаще, похожий на монаха, метнулся к королю и схватил его за руку. «Какая удача!» — пронеслось у меня в голове, и, честное слово, только потом я ощутил раскаяние, тогда же мной целиком владел охотничий инстинкт. Автоматическая камера, скрытая в пуговице моего кафтана, работала давно, теперь же незаметным движением я запустил и другую, смонтированную в тулью затейливой, украшенной перьями шляпы, покрывавшей мою голову.

— Да говорите же о деле, Ивар! — возмутился Лефер.

— Потерпите, — ответил Ольсен.

Малинин подумал, что он намеренно отягощает рассказ подробностями, чтобы взбудоражить слушателей. Забавное тщеславие в таком интеллигентном человеке. Но странно, что этот прием срабатывает. Казалось бы, все прекрасно знают, что случилось, и тем не менее с захватывающим интересом ждут продолжения. Так бывает, когда повторно смотришь остросюжетный спектакль.

— Дальше, — сказал он, — все пошло, как говорится, не по сценарию. Гвардеец, охранявший короля, уже занес шпагу для удара, однако Генрих остановил его взглядом и спокойно принял из рук монаха какой-то сверток. Да-да, можете не сомневаться, это было всего лишь прошение, которое король небрежно сунул своему фавориту, и кортеж как ни в чем не бывало продолжал шествие.

Я протер глаза и для верности стукнул себя кулаком по лбу. Ничего не изменилось, карета уже отъехала довольно далеко, толпа начала распадаться, оживленно обмениваясь впечатлениями и судача.

Опомнившись, я кинулся догонять процессию. Ведь в исторические хроники могла вкратиться ошибка, и нельзя исключать, что убийство совершилось двумя кварталами дальше. Настигнув карету на улице Сент-Оноре, я долго шел за ней, пока не почувствовал, что мой растрепанный, может быть, даже безумный вид начал возбуждать подозрение у лакеев, сидевших на запятках. Один из них что-то вполголоса буркнул солдату, тот развернул коня, и я счел за лучшее нырнуть в переулок. Не хватало еще, чтобы путешественник во Времени был схвачен за покушение на убийство государя. Вы представляете меня, Гринвуд, в роли узника Бастилии?

— Вполне,— ответил сухо Гринвуд.— Никого другого из присутствующих, кроме вас, Ивар.

— Благодарю, дружище. К счастью, у нас нет больше тюрем, не то вы бы меня наверняка засадили за какое-нибудь нарушение инструкции.

— У нас есть другие формы наказания,— обнадеживающе заметил Гринвуд.

— С полчаса,— продолжал Ольсен,— я бродил по парижским улочкам, не зная, что предпринять. Не возвращаться же назад ни с чем! Я бы, пожалуй, предпочел все-таки камеру пыток в той же Бастилии, чем презрительную мину, которую скорчил бы Кирога, прослышав о моем фиаско.

Кирога ухмыльнулся.

— Итак, у меня созрело решение явиться к парижскому балю и признаться в заговоре против священной особы Генриха IV, короля всех французов. Но...

— Не дурите, Ольсен,— вмешался с досадой Малинин,— в конце концов вы уже должны были натешить свое тщеславие.

— От вас, маэстро психологии, я не ожидал такого скудоумия,— огрызнулся Ольсен.— Повторяю, решив идти с повинной...

— Послушайте, Ивар, если вам охота фиглярничать, то займитесь этим в одиночку! — в сердцах заявил Лефер. Он встал с места, и все другие собрались последовать его примеру.

— Постойте! — закричал Ольсен.— Я ведь не шучу!

— Вы что, всерьез хотите нас уверить...— начал Малинин, но Ольсен перебил его.

— Вот именно. У меня не было иного способа раздобыть какие-то сведения о происшествии, вернее, его непостижимом отсутствии. Разумеется, я не собирался оставлять свою голову на Грев-

ской площади и был убежден, что мне удастся, перехитрив тамошнюю публику, добраться до своего хронолета, припрятанного в лачке у монастыря бенедиктинцев. Риск, безусловно, был, и немалый. Но я считал, что неизмеримое превосходство в технических знаниях, не говоря уже о владении самыми современными методами гипноза, дает мне известное преимущество перед людьми того времени.

— Положим, Монтень...— начал было Лефер, но Ольсен не дал ему договорить.

— Причем тут Монтень, речь ведь идет не о светилах разума, а о напичканных предрассудками невежественных солдафонах средневековья. Впрочем, и Монтень, оставаясь, как всякий гений, эталоном мудрости на все времена, выглядел бы темным дикарем рядом с нашими детишками, которые получают в готовом для потребления виде всю информацию, накопленную человечеством. Короче, риск рисков, но в тот момент меня ничто не могло остановить.

Все перевели дух, и даже скептик Кирого взглянул на своего бедового товарища с долей восхищения.

Ольсен улыбнулся.

— Однако мне пришла в голову мысль, что прежде чем всходить на Голгофу, стоит расспросить какого-нибудь местного жителя. Побродив по городу, я присмотрелся к пожилому, толстенькому, прилично одетому человеку с добродушной улыбочкой физиономией. Он степенно прохаживался у небольшой лавочки, в окнах которой были выставлены для обозрения банки и склянки всевозможных размеров с этикетками на латыни.

«Позвольте спросить вас кое о чем, милейший»,— обратился я к нему.

«К вашим услугам, сударь»,— ответил он с готовностью.— Аптекарь Баланже».

«Весьма польщен. Вопрос у меня довольно деликатный».

«Не стесняйтесь, по роду своих занятий я привык исполнять поручения тонкого свойства. Сама герцогиня де Майен доверяла мне свои секреты!»

«Так скажите, какое сегодня число?»

«Как,— воскликнул он недоверчиво,— это и есть ваш деликатный вопрос?»

«Разумеется, нет, я просто хотел узнать, не ожидали ли парижане сегодня некоего важного события?»

«Важное событие? Как же, как же... Вы, должно быть, имеете в виду коронацию ее величества в качестве регентши при малолетнем дофине. Она состоялась вчера, и, скажу я вам, это было зрелище!»

«Простите,— прервал я политические разглагольствования ап-

текаря,— речь ведь идет о событии не вчерашнего, а сегодняшнего дня».

«Сегодня, 14 мая, состоялся выезд доброго короля Генриха IV. Ранним утром графиня Шартр разрешилась от бремени, в чем ей помогал аптекарь Баланже. Вечером ожидается прибытие в Париж турецкого посла, везущего письмо и подарки султана его величеству. Распространяются также слухи, что из армии, действующей на Маасе, для доклада государю отозван главнокомандующий...»

Все это мой собеседник выпалил одним духом, явно довольный возможностью продемонстрировать свою осведомленность в государственных делах.

«Очень интересно,— заметил я.— Не упустили ли вы, однако, нечто такое, что должно было случиться сегодня, но не случилось?»

Аптекарь наморщил лоб.

«Да,— сказал он,— ведь нынче поутру должны были казнить Равальяка. Может быть, ваша милость имеет в виду это происшествие?»

Я побелел.

«Как Равальяка?»

«А что, он ваш родственник? Я-то полагал, что сударь — англичанин». Он достал из обширного кармана флакон с нюхательной солью и собирался было сунуть мне его под нос, однако я решительно отказался от этого варварского заменителя валидола.

«О нет,— сказал я, овладев собой,— просто мне показалось, что я слышал его имя».

«Еще бы, вот уже третий день только и разговоров, что этот человек замышлял дурное против короля. Впрочем, казнь отложена на два-три дня, пока парижский палач оправится от простуды. До чего же, однако, подлы эти католики,— поделился своим возмущением Баланже, впервые обнаружив собственные религиозные предрассудки,— ведь это уже восемнадцатый убийца, подсылаемый ими к государю!»

Тут вдруг мессир Баланже прикусил губу, глаза его округлились от страха. Я хотел было оглянуться, чтобы посмотреть, что привело в ужас словоохотливого аптекаря, но не успел: чьи-то мощные длани обхватили меня сзади и оторвали от земли, одновременно кто-то ловко заткнул мне рот кляпом и резким движением надвинул шляпу на глаза. Я был брошен в какой-то экипаж, лошади тронулись с места рысью, унося не в меру настырного путешественника во времени навстречу его судьбе.

Даже высокопарная концовка не ослабила впечатления, произведенного этой частью рассказа. Все сидели молча, ожидая продолжения.

— Предлагаю небольшой перерыв,— коварно заявил Ольсен.— Я вас, должно быть, утомил, да и подкрепиться не мешает.

Все дружно запротестовали.

— Ваша воля,— сдался он.— Из подробного письменного отчета можно узнать все детали моего ареста и первого допроса, состоявшегося, кстати, в тот же день. Скажу лишь, что обращались со мной сносно и костей не ломали. С самого начала я отказался отвечать на все вопросы и потребовал личного свидания с королем, налегая на то, что имею для него сведения исключительного значения. Сам я, конечно, не слишком верил, что мои настояния дойдут до царственных ушей, и поэтому начал исподволь обдумывать план побега. Но уже на другой день меня препроводили в Луэр, и я предстал перед Генрихом.

Он принял меня в небольшой комнате, окна которой выходили на набережную Сены. Обстановка была довольно скромной: широкий письменный стол, заваленный бумагами, этажерка с книгами, несколько кресел. Словом, все, как в кабинете тогдашнего чиновника, если не считать небольшой картины в золоченой раме, изображающей выезд Дианы.

Отпустив стражу, Генрих довольно долго и бесцеремонно меня разглядывал. Потом, составив, видимо, свое мнение на мой счет, поинтересовался, кто я такой и почему добивался свидания с королем.

Я, как вы догадываетесь, начал отвечать согласно заготовленной на такой случай легенде: небогатый фландрский дворянин д'Ивар, ненавижу поработителей своей родины испанцев, приехал в Париж, чтобы увидеть великого Генриха и служить ему, чем могу, готов вступить в его доблестную армию и так далее. Он выслушал, не перебивая, и спросил: «Что за важную тайну, сударь, вы собирались мне открыть?»

«Я хотел предупредить вас, сир, о покушении Равальяка, но не смог пробиться к вам раньше. Слава богу, вмешалось само providence».

— Вы понимаете, друзья, теперь, когда убийство все равно не состоялось, мне ничего не стоило завоевать таким образом доверие короля. Надеюсь, Гринвуд, даже вы не примете это за нарушение запрета.

— Посмотрим, посмотрим,— уклончиво ответил эксперт.

«Ну а вы, мсье д'Ивар, откуда вы узнали о готовящемся злодеянии?» — допытывался Генрих, и мне пришлось наплести с три короба о встреченных в харчевне подозрительных монахах и случайно подслушанном разговоре. Сочинял я вдохновенно и начал уже верить сам себе, когда вдруг на лице короля появилась откровенная усмешка. Я невольно ступешался, но после секундной

паузы, вспомнив наставления Малинина, решил идти напролом.

— Да, я рекомендовал вам этот прием,— подтвердил психолог.

— Вот, вот. «Вы мне не верите, ваше величество?» — спросил я.— Тогда испытайте меня огнем».

Ответ был совершенно неожиданным.

«Полноте, сударь, не морочьте мне голову, иначе я просто велю вас повесить. А теперь быстро выкладывайте, из какого вы Времени?»

Я не поверил своим ушам.

«Вы хотите спросить, откуда я родом, сир? Так я уже имел честь сообщить, что во Фландрии...»

«Перестаньте,— резко перебил он.— Я хочу знать, из какого века вы сюда явились».

Малинин, пораженный до крайности, поймал себя на том, что сидит с открытым ртом. Другие реагировали не менее заметно. Лефер схватился за голову, Гринвуд вскопчил и нервно зашагал по комнате, а Кирига хладнокровно заявил:

— Этого не может быть.

— Ах, не может быть?! — воскликнул Ольсен.— Тогда смотрите.

Он подбежал к двери и нажал ряд кнопок на расположенной возле нее панели. Стена, затянутая узорчатым обивочным материалом, начала белеть и превратилась в большой экран, по которому побежали кадры стереоленты.

2

Монарх и его гость на экране вели свою беседу на старофранцузском языке, а чуть ниже изображения поползли буквы перевода.

Генрих (настойчиво и с раздражением). Говорите же, я жду!

Ольсен (после заметных колебаний). Вы правы, сир, я не ваш современник. Нас разделяют во времени восемь веков.

Генрих (хладнокровно). Как раз половина срока, минувшего от рождества Христова. Ну, зачем же вы к нам пожаловали?

Ольсен (смущен, в данной ему инструкции явно не предусматривался подобный вопрос). Видите ли, ваше величество, людьми моей эпохи движет понятная любознательность. Мы стремимся глубже познать прошлое, находя в нем бесценное поучение для сердца и ума. Полагаю, это не чуждо и вашим современникам.

«Витиевато изъясняется, не может найти нужного тона», — подумал Малинин.

Генрих (кивая). В молодости я основательно штудировал записки Цезаря о галльской войне. Вероятно, почерпнутая там мудрость помогла мне утереть нос испанскому кузену. Хотя и он, должно быть, читал Цезаря.

Ольсен (угодливо). Не каждому дано постигнуть мысль гения и извлечь урок из его деяний.

Генрих (задумчиво). Я всегда советую своим маршалам читать Цезаря. Не ради прямого подражания — упаси бог! Военное дело изрядно продвинулось вперед, особенно с тех пор, как появилась артиллерия. Но дух полководца, его воля — здесь всегда есть чему поучиться... (После секундной паузы, улыбаясь). Впрочем, сам я ничему не научился, пока не набил себе шишек.

Ольсен. Иначе вы бы не стали великим королем.

Генрих. Да, разумеется. (Подавшись вперед и уткнув свой палец в грудь Ольсену.) Объясните, сударь, почему вы избрали для путешествия в прошлое день 14 мая 1610 года? Какое поучение вы и ваши ученые коллеги хотели извлечь из того факта, что фанатик, подосланный испанцами, собирался заколоть короля Франции?

Ольсен (в полном замешательстве). История полна неожиданностей, сир. Многие ее детали нам неизвестны, другие нуждаются в проверке. Кроме того, есть эффект присутствия. Одно дело описывать события с чужих слов и совсем другое — быть их свидетелем.

Генрих. Вы называете все причины, кроме главной.

Ольсен. Что государь имеет в виду?

Генрих. Вас прислали, чтобы предупредить меня о покушении Равальяка, не так ли?

Все замерли в ожидании ответа, и каждый напряженно соображал, каким он должен был бы быть.

Генрих (глядя на своего собеседника испытующе, с иронической усмешкой). Смелее. Надо ли стыдиться столь богоугодных побуждений? Хотя вы, должно быть, не верите в бога...

Это прозвучало полутверждением-полувопросом.

Ольсен (дипломатично). Мы не испытываем необходимости объяснять что-либо действием потусторонних сил.

Генрих (кивая в знак согласия). Я тоже. Поэтому мне не составило большого труда сходить к обедне. Кстати, там у вас (помахал рукой, указывая куда-то в небо) знают этот эпизод?

Ольсен. Еще бы! Ваша фраза «Париж стоит мессы» стала крылатой.

Генрих. В каком смысле?

Ольсен. Как вам сказать... Ее употребляют, когда речь идет о циничном выборе. Ради большого куша стоит покривить душой или отречься от принципов... Приблизительно так.

Генрих (недовольным тоном). Вот уж ерунда! Как раз в душе я ни от чего не отрекся. Принятие католицизма было взвешенным политическим шагом. Монарх обязан держать своих подданных в

страхе, может попить их, как взбретет в голову, но он не имеет права не разделять их предрассудков.

Ольсен (явно стремясь успокоить короля). Вы правы, сир. Здесь был просто тактический расчет. Каждый на вашем месте поступил бы так же.

Генрих. Вернемся, однако, к нашим баранам. Вы не ответили на мой вопрос.

Ольсен (говорит четко и уверенно). Увы, ваше величество, не буду лукавить, передо мной не ставилась задача подать вам спасительный знак. Отнюдь не потому, что людям моей эпохи недостает человеколюбия. Просто мы не имеем права на милосердие. Подумайте сами, что случится, если путешественники во Времени начнут вмешиваться в ход событий, пытаясь исправить историю или придать ей более пристойный вид. Такое вмешательство могло бы привести к катастрофическим результатам.

Генрих (явно не понимая, но не желая признаться). Вот как?

Ольсен. Представим для наглядности, что кому-то пришлось в голову предупредить столь почитаемого вами Цезаря о готовящемся против него заговоре...

Генрих (сухо). Не вижу ничего дурного, если б сей великий полководец прожил еще с десяток лет.

Ольсен (невозмутимо). Я выбрал неудачный пример. Ну а если какой-нибудь сердобольный пришелец из будущего решил бы остеречь ваших предшественников, сир, сообщив Карлу IX и Генриху III, что первого собираются отравить, а второго зарезать?

Генрих. Да, я улавливаю, это помешало бы осуществиться воле божьей.

Ольсен. У нас принято называть то, о чем вы говорите, естественным течением истории. Добавлю, что у меня есть и достаточно веская личная причина воздерживаться от всякого вмешательства в ваши дела. Согласно семейному преданию, одним из моих предков по материнской линии является не кто иной, как ваш министр финансов герцог Сюлли..

Генрих. Вы потомок моего Рони?

Ольсен. Похоже, что да. Так вот, перемены в вашей судьбе могли бы самым неожиданным образом повлиять на судьбу вашего фаворита и его близких. Вообразите, как это отразилось бы на потомках герцога Сюлли в тридцатом или сороковом колене! Вполне вероятно, что я вообще не появился бы на свет.

Генрих. Это было бы весьма прискорбно и для меня, сударь. Поскольку не смогла бы состояться наша интересная беседа.

Ольсен. Благодарю вас, ваше величество...

Ольсен. Благодарю вас, ваше величество...

Ольсен. Благодарю вас, ваше величество...

— Испорченная пластинка,— сказал Лефер, выражая вслух то, что пришло в голову каждому. Действительно, эффект был тот же самый, только странно было видеть его на экране. Повторяя свою фразу, Ольсен всякий раз подавался вперед и вежливо наклонял голову, а король Генрих делал ответный жест рукой, и оба они смахивали на трясущихся китайских истуканчиков. Ольсен уже поднялся с места и направился к панели, когда появились очередные кадры необыкновенной хроники.

Генрих. И все же осталась одна неясность. Вы начали с того, что хотели предупредить меня о злодейском намерении Равальяка. А в противоречие с этим утверждаете...

Ольсен (перебивает). Да, сир, здесь есть противоречие. Дело в том, что я не имел права вмешиваться — это, как я уже вам докладывал, категорически запрещено.

Генрих. Но вы только что нарушили запрет. (Ольсен кивает.) Не смогли противостоять своей человеческой натуре? (Ольсен кивает.) А чем это вам грозит, вас повесят или четвертуют?

Ольсен. Хуже, меня отстранят от путешествий во Времени. (Генрих смотрит на него с явным недоумением.) Однако откройте и вы мне свой секрет, сир. Как вы узнали, что я прибыл к вам из будущего?

Генрих. Очень просто. Вы здесь не первый.

Ольсен. Вы хотите сказать...

Генрих. Вот именно. Неделию назад ко мне заявился некий господин, предупредивший об очередном заговоре иезуитов. (В сердцах.) До сих пор не могу простить себе, что дозволил этим паршивцам вернуться во Францию! Кстати, этот человек не хитрил, как вы, мосье д'Ивар, а без всяких обиняков сообщил, что он из тридцатого столетия.

Среди зрителей произошло сильнейшее движение.

Ольсен. Тридцатого?

Генрих. Да, насколько я разбираюсь в арифметике, он на пять веков моложе вас.

Ольсен. И куда же девался наш с вами потомок?

Генрих. Испарился, как Асмодей.

Ольсен. Он не снабдил вас никакой другой информацией?

Генрих. Не понял.

Ольсен. Я хотел узнать, не рассказывал ли ваш спаситель о своем времени?

Генрих. Нет, он не пожелал задерживаться. А жаль, мне бы хотелось кое о чем его порасспросить.

Ольсен. Вас, видимо, интересует, как устроено наше общество?

Генрих. Отчасти и это. Признаюсь, однако, в первую очередь

меня одолевает любопытство, что у вас думают о моем царствии.

Ольсен (подумав). Видите ли, ответить на этот вопрос непросто. О вас создана обширная литература.

Генрих (удовлетворенно поглаживая бородку). Скажите главное.

Ольсен. Если в двух словах, то вас рассматривают как решающее звено в утверждении французского абсолютизма.

Генрих (с вытянувшейся физиономией). Какое звено?

Ольсен. Простите, это словечко из жаргона наших историков. Иначе говоря, считается, что при вас завершилось становление централизованного государства в форме абсолютной монархии.

Генрих. Только и всего? А что говорят о монарх... э... похождениях?

Ольсен. Историки, склонные морализировать, осуждают вас, а литераторы зовут веселым королем. Есть даже популярная песенка:

Жил-был Анри Четвертый,
Веселый был король,
Вино любил до черта
И пьян бывал порой.
Боец он был отважный
И дрался, как петух,
А в схватке рукопашной
Один он стоял двух.
Еще любил он женщин,
Имел у них успех,
Победами увенчан,
Он был счастливей всех.

Генрих. Недурно. Давайте еще раз. (Берет с этажерки футляр, достает из него лютию, наигрывает, нащупывая мотив, подает знак Ольсену, и они вдвоем поют песенку о веселом короле; потом смеются, довольные друг другом.)

Ольсен. Как прекрасно звучит эта лютия!

Генрих. Она ваша. (Встает, подходит к Ольсену, кладет руку ему на плечо.) А жаль, д'Ивар, что вы из другой эпохи. Мы с вами могли бы подружиться.

Ольсен. Не сомневаюсь, сир.

Король хлопает в ладоши. Дверь кабинета открывается, входит слуга с подносом, ставит перед собеседниками кубки с вином и удаляется. Они молча чокаются, пьют.

Генрих (со вздохом). У меня так мало по-настоящему преданных друзей. Вокруг все больше льстецы и предатели... Ладно, расскажите о своем времени. Кто вами управляет?

Ольсен. Так называемый Глобальный общественный совет, сир. В его составе пятьсот самых мудрых и уважаемых людей, главным образом, из числа ученых.

Генрих. Их назначает король?

Ольсен. О нет, они избираются населением. Королей у нас давно не существует.

Генрих (в раздумье). Вот как! Значит, все-таки республиканцы своего добились! Что же, этот ваш правящий синклат устроен по типу римского сената или афинской агоры!

Ольсен. Ни то, ни другое.

Генрих. Ну, тогда это, очевидно, нечто вроде наших Генеральных штатов. В нем представлены все сословия?

Ольсен. У нас давно уже нет сословий, ваше величество.

Генрих. То есть как, у вас нет дворян, священнослужителей, простолюдинов? Каким же образом отбираются достойные!

Ольсен. По достоинствам — уму, таланту, порядочности.

Генрих. Родовитость...

Ольсен (входя в раж). При чем тут родовитость! Разве качества человека определяются его генеалогическим древом? Вы сами, сир, только что изволили признать, что среди ваших придворных тьма ничтожных, подлых людишек. А ведь многие из них наверняка ведут свое происхождение от знатных вельмож, состоявших еще в свите Меровингов и Капетингов.

— Молодчина! — не удержался Лефер.

Генрих (примирительно). Ну-ну, не стоит из-за этого пререкаться. У нас здесь свои порядки, у вас — свои. В конце концов никто не должен совать свой нос в чужие дела. Эпохи, подобно государствам, имеют право на неприкосновенность. Кстати, а как обстоят у вас дела с европейской политикой, по-прежнему ли Франция воюет с Испанией, а Испания с Англией?

Ольсен. О нет, сир. Теперь в Европе, как и вообще на Земле, нет отдельных государств.

Генрих (с грустью покачивая головой). Значит, Франция лишилась независимости, а заодно основанных мной заморских колоний.

Ольсен. Франция ничего не лишилась, она приобрела весь мир, так же как мир приобрел Францию.

Генрих. Но если не стало государств, кто же и с кем у вас воюет?

Ольсен. Никто. С этим навсегда покончено.

Генрих. Стало быть, вечный мир стал явью! А ведь и я вслед за чешским королем Подебрадом носился одно время с таким проектом для Европы.

Ольсен. Эти попытки украшают вашу репутацию. Хотя, признайтесь, вы собирались навязать европейским странам мир при гегемонии Франции и своей лично.

Генрих. А вы хотели, чтобы гарантом европейского мира стал мой свирепый сосед Филлипп II или этот недоносок Яков?.. А мог бы

я совершить вместе с вами прогулку в будущее? Разумеется, но для того, чтобы остаться у вас навсегда. Упаси бог!

Ольсен. Увы, сир. Мои современники могут путешествовать в будущее, и даже легче, чем в прошлое. Но такой возможности лишены те, кто жил до изобретения машины времени.

Генрих. Жаль. Я бы с удовольствием поглазел на ваш идеальный мир. Объясните только, чем вы там занимаетесь? Мы вот здесь заняты по преимуществу тем, что любим и воюем. Если вы покончили с войнами...

Ольсен. Значит, нам осталась только любовь. (Смеются). Разве этого мало?

Генрих. Ну, надо же чем-то заполнять паузы.

Ольсен. Если говорить серьезно, то никогда еще жизнь людей не была в такой степени полнокровна и осмысленна. Какули в вечность голод, нищета, мор, пустыни и болота превращены в сады; изобилие пришло в каждое жилище.

Наши городские экипажи движутся моторами, мощность которых достигает сотен и тысяч лошадиных сил. Мы не только ездим, но и летаем, покрывая за считанные минуты расстояние от Парижа до Москвы и за каких-нибудь полчаса — до Америки. И это еще не все. Мы посещаем Луну, Марс, Венеру, другие планеты...

Ольсен замолк. Генрих пристально взглядывался в него, словно пытаясь найти в глазах путешественника во Времени образы той неведомой, непостижимой жизни, которая воцарилась на Земле спустя восемь веков. Потом отвел взгляд.

Генрих. Вам приходилось когда-нибудь скакать на лошадях?

Ольсен. Нет. А почему вы спрашиваете?

Генрих. Вы не представляете, д'Ивар, какое это наслаждение — мчаться во весь опор по лесным тропкам и проселкам, когда ветки хлещут по лицу, а ветер свистит в ушах. В такие мгновения чувствуешь себя не просто воином или охотником, но покорителем пространства.

Ольсен. Вы правы, сир, каждому времени — свое.

Генрих. И каждому — свое время. (Чокаются, пьют.) Надеюсь, вы еще побудете в Париже? Я распоряжусь поселить вас в Фонтенбло.

Ольсен. Прошу прощения, государь, но моя миссия здесь исполнена, и я должен покинуть вас.

Генрих. Ну, на денек-другой задержаться вы можете?

Ольсен. Нет, сир. Дело в том, что в моем экипаже кончается зарядка, и, если я не уеду сейчас, я не уеду никогда.

Генрих. Вот как? Где же этот ваш экипаж?

Ольсен. Неподалеку.

Генрих. Вы мне не доверяете? (Ольсен молчит.) Что ж, правильно делаете, я и сам на вашем месте поступил бы так же. Ну хорошо, тогда исполните на прощание одну мою просьбу.

Ольсен. Если это в моих возможностях.

Генрих. Это в ваших возможностях. Раскройте мне мою судьбу.

Ольсен. Я не сомневался, что вы зададите мне этот вопрос. И очень огорчен, что не могу из него ответить.

Генрих. Все тот же запрет?

Ольсен. Нет, просто я не знаю.

Генрих. Может быть, вы щадите меня? Тогда не стесняйтесь, я фаталист. Мать Жанна с детства меня наставляла: чему быть, того не миновать.

Ольсен. Но я в самом деле ничего не могу вам сказать.

Генрих. Полноте, мсье.

Ольсен. Судите сами, ваше величество, я знал, что вам угрожает гибель от руки Равальяка. Теперь этот вариант отпал.

Генрих. Допустим. Но рано или поздно мне все равно предстоит переселиться к праотцам. И вы в своем двадцать пятом веке не можете не знать, как это случилось.

Ольсен. Мои современники, безусловно, об этом знают. Однако вы забываете, что я-то был с вами и, пока не вернусь назад в свое время, поневоле останусь в неведении о вашей дальнейшей судьбе.

Генрих. Заколдованный круг. Это смахивает на ребус. Что было раньше, яйцо или курица? Но сдаётся мне, что вам известна разгадка. (Хлопает в ладоши. Входит бравый гвардеец. Король подзывает его поближе и шепчет что-то на ухо.) Что же, настала пора прощаться, д'Ивар, хотя и надеюсь, что мы с вами еще увидимся. Мой офицер вас проводит.

Ольсен (официально). Благодарю за аудиенцию, государь. Желаю вам удачи.

В последний раз камера показала крупным планом лицо Генриха. В прищуренных черных глазах, в уголках губ притаилась хитрая усмешка.

3

Ольсен со своим спутником идут бесконечными галереями Лувра. Наконец, офицер отворяет дверь и жестом приглашает Ольсена войти, но тот застывает на пороге.

«Куда вы меня привели, сударь, король поручил вам вывести меня из Лувра».

«Король оказывает вам милость, мосье д'Ивар. Мне поручено завтра утром доставить вас в Фонтенбло. А сегодня вы можете

удобно устроиться в этой гостиной. Из кухни его величества сюда будет доставлен отменный ужин. Чтобы вы не скучали, я готов составить вам компанию».

«Премного обязан государю,— говорит Ольсен,— но не смею злоупотреблять его гостеприимством».

«И не думайте отказываться»,— возражает офицер.

«Значит ли это, что я арестован?»— спрашивает Ольсен.

«Упаси бог!»— восклицает офицер с жаром и слегка подталкивает своего нового друга, как он его называет, в спину. Тому не остается ничего другого, как войти в комнату. Дверь за ними закрывается.

Экран погас, стена приняла свое прежнее обличье.

— В чем дело,— спросил Лефер,— у вас кончилась пленка?

— Нет, конечно. Но все, что случилось дальше, можно было снять только со стороны. Вам придется довольствоваться моим рассказом.

— Когда мы вошли, меня ожидал сюрприз: в стороне от дверей за круглым столом играли в кости два гвардейца. Итак, я взят под надежную охрану, и природное мягкосердие не помешает его христианнейшему величеству применить пытки, чтобы выжать из меня эту тайну.

Решив, что мой главный козырь — внезапность, я подставил офицеру подножку и сильно толкнул его в грудь. Он упал и покатился по полу, гневно чертыхаясь. Я кинулся к двери, рассчитывая выскочить наружу и скрыться в наступивших сумерках. О, ужас, дверь была заперта снаружи! Ко мне подбегали с обнаженными шпагами гвардейцы, и не оставалось ничего иного, как принять бой.

Выхватив свою шпагу из ножен, я стал размахивать ею, как дубинкой. Это на мгновение привело моих противников в замешательство, они никогда, разумеется, не видывали подобной манеры фехтования. Перекинувшись репликами, смысла которых я не уловил, гвардейцы стали теснить меня с двух сторон. Полагаю, у них был приказ беречь мою жизнь, и убивать меня они не собирались, разве что чувствительно царапнуть. К нам уже приближался офицер, держась одной рукой за голову: при падении он стукнулся о каминную решетку.

Сорвав плащ, я швырнул его на голову одного из нападавших и на секунду обезопасил таким образом свой тыл. Затем я сложился пополам и метнулся к другому, сильно ударив его головой в живот. Тот упал. Теперь предстояло сразиться с офицером. Этот малый явно готов был наплевать на приказ монарха и выпустить из меня кишки, чего бы потом это ему ни стоило.

Увернувшись от грозившего мне удара, я приемом каратэ стукнул лейтенанта по шее, от чего он уже не смог оправиться. Послед-

ний мой противник, выбравшийся, наконец, из плаща, с ужасом наблюдал эту сцену и до того перепугался, что кинулся к двери и стал барабанить в нее, призывая на помощь.

— Вы рассказываете с таким сладострастием, Ольсен, будто получали удовольствие, расправляясь с этими несчастными,— сказал Малинин.

— Это в нем заговорила кровь его воинственных предков,— встал на защиту друга Лефер.

— Заверяю вас, что действовал строго в пределах необходимой самообороны,— сказал Ольсен, кинув опасливый взгляд на Гринвуда.— В тот самый момент, когда за мной осталось поле боя, дверь распахнулась, и в комнату ворвалась куча народа. Если это была не вся французская армия, то по крайней мере добрая ее половина. Вежливо пропустив отряд, я выскочил из-за дверей, убежал наружу и запер своих преследователей. До сих пор ума не приложу, как мне удалось провести их таким примитивным образом.

— Д'Артаньян на вас еще не родился! — сострил Лефер.

— Конечно, им не стоило большого труда выломать дверь, и по тому, с каким остервенением они взялись за это дело, я мог не сомневаться, что имею в запасе не более двух-трех минут. Кинувшись бежать вдоль галереи, едва освещаемой тусклым светом масляных фонарей, я достиг круглой башенки, откуда витая мраморная лестница выводила к наружной двери. Мне почему-то казалось, что в этом месте не должно быть сильного караула. Но, глянув вниз, я понял, что ошибся: весь двор был заполнен швейцарцами.

Что делать? Две-три секунды промедления едва не стоили мне головы. Услышав нараставший позади шум, я оглянулся и в неясном свете факелов увидел искаженные яростью лица набегавших на меня гвардейцев.

У меня оставалось несколько мгновений, чтобы выхватить шашку с веселящим газом и швырнуть ее им под ноги. Действие этого оружия мгновенно. Под сводами древнего замка разразился громовой хохот, достойный Гаргантюа и Пантагрюэля. Славные войны короля Генриха закатывались в истерику и один за другим в изнеможении опускались на каменный пол.

Я еще раз посмотрел вниз. Там царил полная кутерьма. По двору в разных направлениях бегали солдаты, не знавшие, что им делать: то ли хватать заговорщиков внутри Лувра, то ли оборонять его от внезапного нападения извне.

Вдруг все голоса перекрыл истошный вопль: «Вот он, дьявол, хватайте его!» Рослый швейцарец, сидевший на лошади, приподнялся в седле, чтобы наглядней показать своим товарищам, где

противник. Залюбовавшись этим закованным в латы живописным воякой, я не сразу сообразил, что он указывает на меня. А ведь и в самом деле вид у меня был устрашающий. Стоя в клубах веселящего газа, частицы которого, пропитанные лунным светом, создавали подобие переливающегося белого шлейфа, и, главное, с диковинной маской на лице, я должен был показаться чудовищем из другого мира. И надо отдать должное мужеству швейцарца: он не колеблясь прищпорил коня, намереваясь въехать по лестнице на галерею, чтобы атаковать дьявола.

Для спасения у меня оставалась одна стихия — воздух. Я молниеносно скинул с себя кафтан, достал из висевшей у пояса сумки аэропакет и начал приводить его в рабочее состояние. Вы знаете, что в обычных условиях для этого нужно две минуты. Во время тренировок я научился собираться за полторы. На сей раз я был готов через сорок секунд — реальная опасность включает такие ресурсы организма, о каких мы знать не знаем. И все же проклятый швейцарец едва не успел помешать мне. Сопровождаемый разъяренной орущей толпой коллег, он буквально взлетел на своем коне на галерею и успел ухватить меня за ноги в момент, когда я, взобравшись на балюстраду, готов был воспарить над Лувром.

Конечно, я попытался освободиться, дернувшись всем телом, но он вцепился в меня мертвой хваткой, да и человек этот был недюжинной силы. Самое скверное состояло в том, что я не мог пустить в ход руки, поскольку к ним уже были пристегнуты крылья. А что, если взлететь с этим живым грузом, на высоте он сам поневоле отвалится? Но мощность аэропакета рассчитана максимум на сто килограммов, а во мне одном восемьдесят.

К счастью, инстинкт следует впереди рассудка. Я распахнул руки-крылья еще до того, как поддался панике, и это меня спасло.

— Вы поднялись вдвоем? — удивился Лефер.

— Нет, конечно, но я упустил из виду психологический эффект. Вы не представляете, друзья, какой невообразимый ужас появился на лице моего швейцарца, когда он увидел над собой распахнутые серебристые, словно у архангела, крылья. Он весь обмяк, руки его бессильно опустились и повисли, как плети, а голова склонилась к луке седла. «То ли обморок, то ли благоговейная молитва», — подумал я, взмывая в небо.

Мои преследователи рухнули на колени, воздымая руки и громкими криками благодаря господу за явленное им знамение. Впрочем, это было уже мимолетное впечатление, потому что аппарат быстро набрал заданную высоту. Лувр уменьшился до размеров игрушечного домика, а фигурки людей — до едва различимых букашек. Потом на темном фоне небосклона мелькнула раздвоенная, словно катамаран, берущий старт к звездам, громада Нотр-Дамы.

Сориентировавшись по собору, я скорректировал курс и через несколько минут с идеальной точностью приземлился в кустах терновника у монастырской стены, где меня ждал хронолет.

Ольсен с облегчением вздохнул, как человек, отчитавшийся за командировку.

— А теперь, друзья,— сказал он,— я удовлетворю ваше любопытство и потешу слух.

Ольсен раскрыл лежавший на столе таинственный ящик и извлек из него старинный инструмент.

— Лютня, подаренная его величеством Генрихом IV, королем Франции, путешественнику во Времени Ивару Ольсену, профессору истории Вселенского Университета.— Он ударил по струнам и запел. Все подхватили:

Когда же смерть-старуха
За ним пришла с клюкой,
Ев ударил в ухо
Он рыцарской рукой.
Но смерть, полна коварства,
Его подстерегла
И нанесла удар свой
Ему из-за угла...

— Эффектная концовка,— сказал Гринвуд.— Вы большой мастер рассказывать. Притом какое совпадение! Можно подумать, поэт догадывался, что люди из будущего своевременно предупредят веселого Анри, чтобы он дал Равальяку в ухо. Все-таки имеем мы право узнать, когда и каким образом старуха подстерегла его величество?

— Не понимаю вашего сарказма,— сказал Ольсен, бледнел.

— Не обижайтесь, Ивар,— мягко вставил Кирого,— но в самом деле неясно, чем все это кончилось.

— Вы же слышали мой ответ Генриху. Я действительно не знаю, потому что прибыл из XVII века и не успел заглянуть в энциклопедию.

— Вы это всерьез? — спросил Лефер.

Малинин дернул его за рукав.

— Конечно, всерьез,— ответил он за Ольсена.— Ивар прав, это мы должны сообщить ему, чем все дело кончилось. Можете не тратить время на энциклопедию, Ивар. Король Генрих IV был убит Равальяком 14 мая 1610 года.

Ольсен кивнул и стал вдруг усиленно растирать пальцами лоб. Малинин, встревоженный, подошел к нему.

— Что с вами? — Он достал миниатюрный карманный анализатор и приложил его к ладони Ольсена.— Видите, пульс вялый, давление намного ниже вашей нормы. Вам надо прилечь,

— Пожалуй,— согласился Ольсен.

— Ступайте, голубчик. После таких подвигов и самому Геркулесу понадобился бы отдых.

— Скорее, меня утомил рассказ. Когда все переживаешь заново...

Он не договорил и, сделав прощальный жест, вышел из холла.

4

— Что-нибудь серьезное, доктор? — спросил Лефер,

— Не думаю. Обычное нервное истощение. Было бы мудрено, если б обошлось без этого. Помните, Кирюга, как вы себя чувствовали, вернувшись из такого же путешествия?

— Еще бы. Теперь, когда этот задира ушел, признаюсь, что ему досталось куда больше. — Кирюга улыбнулся. — Лично я предпочитаю иметь дело с игуанодонами.

Гринвуд щелкнул пальцами, требуя внимания.

— Завтра утром от нас ждут отчета, — сказал он официально. — Будем прерываться или обменяемся впечатлениями по свежим следам?

— Я бы не прочь пообедать, — заявил Лефер.

— Потерпите, ничего с вами не случится, — возразил Гринвуд.

— Велите хоть принести бутербродов и пива.

Они молча ждали, пока расторопные роботы подкатили к каждому поднос на колесиках, уставленный едой.

— Если говорить о технике... — начал Гринвуд.

— А тут и говорить нечего, — перебил его Лефер. — Все работало безупречно.

— Нам следует подумать, достаточно ли у хроноавта средств защиты. По рассказу Ольсена можно судить, что из некоторых опасных ситуаций он выбрался чудом.

— Он не мог не выбраться.

— Чего спорить, Лефер? — рассердился Кирюга. — Кому помешает, если, скажем, ваш аэропакет можно будет разобрать на полминуты быстрее? Ведь экстремальные условия возникают у кого угодно, хотя бы у тех же космонавтов. Вообразите, что работаете на них.

— Давайте не пререкаться, — призвал Малинин.

— Мне кажется, надо иметь в виду следующее, — назидательно заметил Гринвуд. — Мы обязаны одинаково позаботиться как о сохранении жизни путешественников во Времени, так и о неприкосновенности исторической среды. Это аксиома. И обе задачи имеют одно решение. Чем лучше обеспечена безопасность хроноавта, тем меньше у него необходимости пускаться в дело всевозможные

защитные средства, если и не разрушающие среду, то оставляющие на ней чувствительные отметины. Последствия подобной беспечности могут сказаться не сразу, но, накапливаясь мало-помалу, они способны в конце концов вызвать обвал, своего рода исторический спазм, по типу экоспазма, угрожавшего человечеству в конце XX века. Кроме того, мы должны очистить историю от домыслов, а не добавлять к ним новые сказочки. Мы с вами обязаны принять все сообщение Ольсена за рабочую гипотезу и критически оценить каждый бит добытой им информации...

— Так бы сразу и сказали,— вставил Малинин.

— Критически оценить каждый бит добытой им информации,— повторил Гринвуд, не позволяя отобрать у себя трибуну.— При таком подходе мы сталкиваемся со множеством очевидных несуразностей и просто темных мест. Их не перечислить. Почему Ольсен вспомнил о камере только тогда, когда появилась королевская процессия, разве средневековый Париж сам по себе не заслуживает запечатления на пленке? Еще более странно другое: почему он показал нам только свою беседу с королем? Кстати, во время короткой паузы, пока вы занимались чаепитием, я спросил Ивара, куда подевалась кинохроника кортежа на улице де ла Ферронри. Он ответил невразумительно: пленка-де оказалась некачественной. Где это слыхано!

— Да,— подхватил Кироба,— для меня тоже многое осталось неясным. Ну, скажите на милость, откуда взялась старинная лютня? Какая-то мистика!

— Непостижимо! — присоединился к нему Лефер.

Малинин тоже было собрался поддакнуть, но, заметив хитрую улыбку на губах Гринвуда, решил подождать. И не ошибся.

— Эх,— сказал Гринвуд,— если б все загадки так просто отгадывались! Эта прекрасная лютня XV века взята из Луврского музея при поручительстве Глобального Совета и под личную ответственность известного профессора Гринвуда.

— Так это ваша проделка?! — воскликнул Лефер.

— Что значит проделка? — обиделся Гринвуд.— Разве неясно, что такая неповторимая деталь может сыграть решающую роль в воссоздании реальной исторической атмосферы!

— Так-то так, но ведь ее придется возвращать.

— Ну и что? — спросил Гринвуд, с недоумением глядя на Малинина.

— Это может серьезно травмировать Ольсена.

— Чепуха, он не хисейная барышня, посмеется вместе с нами и забудет.

— К слову,— сказал Кироба,— когда вы думаете раскрыть ему глаза?

— Не раньше, чем через месяц,— ответил Малинин.— Надо дать время, чтобы впечатления ослабли, потускнели, тогда с ними легче расставаться. Помните, Кироба, когда мы рассказали вам самому?

— Через неделю.

— Вот именно. И поторопились. Вы никак не хотели поверить. Легко понять: чуть ли не гладили руками своих возлюбленных рептилий, и вдруг их отбирают. Обретенное сокровище на глазах превращается в иллюзию, в дым — есть от чего расстроиться.

— Ну, хорошо,— вернул их к делу Гринвуд,— с лютней все ясно, но как вы объясните самую вопиющую несуразность в рассказе Ольсена.

— Хроноавта из XXX века?

Гринвуд кивнул.

— Теоретически,— начал Лефер,— это вполне допустимое предположение...

— Ах, оставьте, вы прекрасно знаете, что сейчас речь не об этом. Обратите внимание, что довольно правдоподобное в других отношениях поведение Ольсена становится запутанным и противоречивым, как только дело касается покушения. Сначала он признается Генрику, что хотел предостеречь его, потом заявляет ему, что всякое вмешательство в исторический процесс путешественникам во Времени строго заказано. Каков в этом смысл? Если уж он солгал раз, чтобы войти в доверие к своему, скажем так, объекту, то зачем было через несколько минут откровенничать? За всем этим определено что-то кроется.

— Может быть, вы преувеличиваете? — сказал Кироба.— В конце концов подобные эксперименты не обходятся без темных мест, как вы изволили выразиться. Вспомните, сколько их было в моем рассказе.

— Нет, Гринвуд прав, в этих странностях есть своя логика, и мне кажется, я ее угадываю.

— Выкладывайте же! — потребовал нетерпеливый Лефер.

— Видите ли, друзья, как врач, я лучше вас знаю Ольсена, его человеческие качества. Этот человек органически не способен ни на предательство, ни на равнодушие. Примите во внимание и другую его черту: молниеносную, я бы сказал, уникальную реакцию, причем не только физическую. Раз уж об этом зашла речь, не соглашусь с вами, Лефер, убежден, что Ольсен в чрезвычайной обстановке действительно способен привести в действие ваш аэропакет за 40 секунд... Да, так примите во внимание не только физическую, но также интеллектуальную реакцию.

— Не понимаю,— начал Гринвуд,— какое это имеет отношение...

— Самое прямое,— прервал его Малинин.— Помните, Ольсен

сказал, что едва удержался, чтобы не крикнуть «Берегись, Наварра!».

— Конечно.

— Что вы ему на это сказали?

— Что за это ему пришлось бы навсегда распрощаться с путешествиями во Времени.

— А что сказал затем Ольсен?

— Что страх перед инструкцией помог ему вовремя остановиться,— подсказал Лефер.

— Так вот, он слукавил.

— То есть?

— Ольсен действительно крикнул «Берегись, Наварра!». Отсюда и все странности в его дальнейшем повествовании. Он все время пытается как-то примирить две исключаящие друг друга версии. Одна из них продиктована инстинктивным стремлением скрыть факт нарушения инструкции. А другая — логикой его беседы с Генрихом, которую Ольсен воспринимает как вполне реальную. В этом все дело. Усматривая нелепости в его рассказе, мы просто забываем, что он строится на другой исходной предпосылке.

Гринвуд хлопнул себя по лбу.

— Ай да Ивар, ай да обманщик! — сказал Лефер.— Теперь я понял, почему вы дернули меня за рукав.

Кирога недоверчиво покачал головой.

— А этот наш потомок?

— Он его выдумал,— объяснил Лефер.

— Но ведь о человеке из XXX столетия сообщил сам Генрих,— не унимался Кирога.

Трое остальных выразительно на него посмотрели.

— Ах, да,— прозрел Кирога.

— Ваша гипотеза,— обратился Гринвуд к Малинину,— объясняет и загадку с исчезнувшей пленкой. Ольсен ее припрятал, если уже не уничтожил.

— Не уверен. Возможно, она и в самом деле оказалась испорченной.

— Не покрывайте его,— заявил Гринвуд желчно.

Малинин с досадой махнул рукой. Гринвуд положил руку ему на плечо:

— Не огорчайтесь, док. Кто знает, может быть, даже такой законник, как я, не удержался бы крикнуть: «Берегись, Наварра!»

§

Из донесения Глобальному Совету

«В соответствии с поручением экспертная группа провела ана-

лиз данных хронологического эксперимента «Генрих IV» и докладывает о его результатах.

1. Цель

Перед участниками эксперимента ставилась цель ответить на два вопроса.

Первый: возможно ли получение полезной исторической информации посредством гено-гипнотического путешествия во Времени?

Второй: какова вероятность стерильного (то есть исключаящего возникновение новых причинно-следственных связей) контакта с предками? С ответом на этот вопрос связывалось принятие окончательного решения по проекту «Хронолет».

Кроме того, имелось в виду довести до оптимальных стандартов техническую экипировку путешественника во Времени и отработать использование защитных устройств, приборов записи и хранения информации.

2. Хрононавт

После длительных и тщательных испытаний выбор был остановлен на Иваре Ольсене.

Краткие биографические сведения: родился в 2416 г. По материнской линии является прямым потомком фаворита Генриха IV, Рони, известного под именем герцога Сюлли. По отцовской линии — норвежского происхождения. В 2438 г. окончил исторический факультет Сорбонны и параллельно универсальные технические курсы. Трудовую деятельность начал учителем средней школы в Гренландии. В 2442—2446 гг. — младший научный сотрудник Московского института средних веков. В 2446—2450 гг. участвовал в комплексной этно-археологической экспедиции на Марсе. В 2450—2453 гг. — профессор Вселенского Университета. В 2453 г. зачислен в отряд хрононавтов.

И. Ольсен — автор монографий «Генрих IV и его эпоха», «Французский абсолютизм», ряда других научных работ.

В браке состоял дважды. В настоящее время холост. Бездетен.

Всесторонне развит. Коэффициенты физических и интеллектуальных способностей приближаются к абсолютным.

Здоров, энергичен, спортивен. Технические навыки 1-го разряда. Управляет всеми транспортными средствами, прошел элементарный курс космонавигации, знаком с телепатическими системами.

Обладает отличными профессиональными знаниями и широким культурным кругозором. Увлечения: живопись, поэзия, футбол.

Добр и отзывчив. Упорен в достижении цели, гибок до ловкости. Честолюбие, граничащее с тщеславием. Обходителен, общителен, обаятелен. Щедр до расточительности. Склонен к юмору. Иногда бывает упрям и задирист. Обидчив и отходчив.

3. Предшественник

Эксперименту «Генрих IV» предшествовал эксперимент «Мезозойская эра», осуществленный тремя годами ранее с участием известного зоолога Акиро Кироги.

Опыт, приобретенный первопроходцем Хроноса, существенно облегчил подготовку путешествия Ольсена. Вместе с тем в некоторых отношениях ему также пришлось выполнять миссию пионера. Принципиальное различие двух экспериментов заключается в том, что первый был просто гипнотическим, а второй — гено-гипнотическим. В случае с Кирогой расчет строился на искусственной стимуляции воображения, в фундамент которого положена сумма накопленных человечеством специальных знаний. Иначе говоря, здесь была сделана попытка привести в действие мощные резервы мозга, имеющиеся у каждого человека как представителя вида.

В случае же с Ольсеном надежды возлагались на возбуждение родовой памяти, связанной с происхождением хрононафта.

Кирога был погружен в гипнотическое состояние и «доставлен» приблизительно на «участок» 68-го миллиона лет до нашей эры. Он привез оттуда любопытные наблюдения, зарисовки флоры и фауны, в том числе некоторых рептилий из семейства динозавров, находившихся в ту пору на стадии вымирания.

Следует подчеркнуть, что техническое обеспечение путешествия Кироги значительно уступало эксперименту с участием Ольсена. Самым важным новшеством явилась кинокамера, способная записывать на цветную пленку со слуховым сопровождением образы, возникающие в сознании хрононафта.

4. Подготовка

На подготовительной стадии предстояло решить сложную задачу интенсивного погружения хрононафта в историческую среду. При этом необходимо было добиться такого положения, чтобы Ольсен почувствовал себя современником Генриха, не теряя духовной связи со своей эпохой.

Было решено отказаться от полной многомесячной изоляции, какой в свое время подвергался Кирога. Ольсена держали в курсе основных событий общественной и культурной жизни. В остальном, однако, его время целиком было занято изучением исторического материала — главным образом документального и частично художественного. Особое внимание уделялось накоплению сведений обо всем, что мог и должен был знать французский дворянин той эпохи — от своего генеалогического древа до вечерней молитвы. При этом ставилась задача в меру возможностей повторить модель личности предка Ольсена — герцога Сюзли.

За важное условие успеха эксперимента принималась имитация реальности путешествия во Времени. Ольсену, как до него Кирого,

дали понять, что хронолет проходит испытания и до их окончания решено сохранять секретность, чтобы не травмировать широкую общественность. Он был ознакомлен с ложной конструкцией, достаточно причудливой, чтобы при сравнительно высоком уровне его технической компетентности не вызвать подозрений, обучен пользованию приборами на специально созданном для этой цели щитке управления.

Кроме того, Ольсен прошел полный курс тренировок со средствами защиты и другими элементами снаряжения хроноавта (за редкими исключениями — заимствованы из экипировки космонавтов). Особое значение имели занятия с кинокамерой — единственным аппаратом из всего снаряжения, который должен был быть использован в путешествии. Ольсен практиковался с ней, как с камерой обычного типа. Между тем она рассчитана на улавливание биотоков мозга, находящегося в гипнотическом состоянии, и их преобразование в зрительные образы. Для вящей убедительности в пуговицу кафтана хроноавта была вмонтирована другая камера, которая дублировала работу первой.

5. Путешествие

Решающим этапом эксперимента явилось приведение Ольсена в гипнотическое состояние и направленное воздействие на его мозг с целью активизации воображения и наследственной памяти. Это было достигнуто при помощи аппарата «Морфохрон-2». По сравнению с первой моделью, использованной при «запуске» в прошлое Кируги, вторая существенно усовершенствована. В нее, в частности, введен дополнительный блок, позволяющий стимулировать в комплексе все факторы, участвующие в хранении памяти.

После того как хроноавт впал в состояние гипноза, в его сознание были введены кадры старта хронолета, записанные ранее во время тренировок. Вслед за этим передавалась программа, составленная из видовых сцен Парижа XVII века в районе намеченного «приземления». Эти образы, воспринимавшиеся Ольсеном как реальность, призваны были помочь ему на первых стадиях эксперимента, так сказать, навести его на след. В дальнейшем всякое внешнее воздействие было прекращено, путешествие продолжалось под влиянием стимулированного воображения и разбуженной «памяти предков».

С физиологической стороны эксперимент проходил нормально, никаких нарушений функций организма не наблюдалось. Единственное исключение составляет своеобразное «заклинивание» на фразе «Благодарю вас, ваше величество»; его можно объяснить тем, что в этот момент подсознание Ольсена было парализовано сильным чувством страха перед непредвидимыми последствиями его действий в ходе путешествия.

Ольсен вполне здоров, но нервные перегрузки привели к переутомлению, и он нуждается в отдыхе.

6. Результаты и выводы

Описание путешествия прилагается. Оно состоит из двух частей: а) беседы с Генрихом IV, записанной на киноплёнку; б) краткого рассказа хрононавта о событиях, предшествовавших беседе и последовавших за ней. Согласно его заявлению эти эпизоды не удалось запечатлеть на плёнку из-за ее плохого качества. Вопрос нуждается в дополнительном изучении.

Оценивая итоги эксперимента, можно считать его удавшимся лишь частично. Ольсен, пользуясь привычным языком, привез дополнительную информацию к психологическому портрету одного из видных исторических персонажей. Дело специалистов — определить меру ее полезности.

Вместе с тем, просматривая кинозапись беседы Ольсена с Генрихом IV, нетрудно заметить, что хрононавт не стремился извлечь из ситуации максимум сведений, которые позволили бы обновить наши представления об исследуемой эпохе. В манере его действий преобладает авантюрный элемент.

Весьма вероятно, здесь сказались просчеты в подготовке хрононавта, недостаточная мера его погружения в среду. Но нельзя исключать и того, что мы столкнулись с невидимым порогом объективизации: личность не способна раздвоиться настолько, чтобы вторая, искусственная, ее ипостась уравнилась с первой, естественной. Так ли это — могут показать лишь повторные опыты. Следующие этапы поиска должны быть, очевидно, связаны с групповым анализом прошлого, при котором один из путешественников во Времени полностью погружался бы в среду, беря на себя роль исторического персонажа, а другой вел с ним диалог от имени будущего.

Таким образом, итоги эксперимента позволяют считать геногипнотизм перспективным направлением исследования прошлого.

Анализ доставленного Ольсеном текста выявляет серьезную передержку. Мы имеем в виду заявление Генриха, будто некий посланец ХХХ столетия предупредил его о покушении Равальяка. Само собой разумеется, что это — плод фантазии хрононавта. И не может быть никаких сомнений, что выдумка понадобилась ему, чтобы отвести подозрения от самого себя. Иначе говоря, переживая в сознании эпизод убийства, он пытался ему помешать.

Представляется, что этот факт должен быть со всей серьезностью принят во внимание при решении вопроса о реализации проекта «Хронолет». (Мы говорим о психологической стороне дела, не затрагивая других аспектов — технической осуществимости, издержек и т. д.) Он свидетельствует, что современный человек по самой своей натуре, образу мышления и нравственному укладу не в со-

стоянии удержаться от вмешательства в исторический процесс, не-
взирая на опасность вызвать лавинообразные изменения, угрожаю-
щие его собственной жизни и благополучию.

Конечно, можно возразить, что нельзя судить по одному че-
ловеку обо всем человечестве. Это справедливо. Вероятно, можно
найти людей, и немало, которые не дрогнут в экстремальных обстоя-
тельствах, сумеют воздержаться от вмешательства, когда на их гла-
зах будут сжигать Орлеанскую деву, Джордано Бруно или Сервета,
отсекать голову Пугачеву или Робеспьеру. Но мы сомневаемся, что
люди этого сорта достойны представлять будущее в прошлом.

Таким образом, если даже создание машины времени для ис-
следования прошлого осуществимо, это направление следует на-
всегда закрыть, как закрыты ныне любые опыты, угрожающие фи-
зическому, психическому и моральному здоровью личности.

Гринвуд, Лефер, Кирого, Малинин. 20 июня 2456 года.

* * *

Малинин и Ольсен лениво перекидывались словами, сидя в ше-
лонгах на пляже. Отдыхающих в этот час почти не было. Солнце
грело милосердно, море едва шевелилось.

— Немного пришли в себя, Ивар? — спросил Малинин.

— Угу.

— Честно говоря, вы перенесли это спокойней, чем я ожидал.

— Подсознательно я до конца сомневался в реальности путе-
шествия. Подумайте сами, если б вы действительно прокатились в
гости, скажем, к Петру Первому, разве такая прогулка не показа-
лась бы потом сном?

— Похоже, так.

— А вообще я считаю, что нельзя строить эксперимент на
самообмане.

— Это было ясно уже после опыта с Кирогой. Я говорил тогда
Гринвуду. Но вы же его знаете, упрям как осел.

— Честно говоря, до сих пор не могу ему простить затею с
лютней.

Они помолчали.

— Кстати, о лютне, — сказал Малинин. — Во всей этой истории
для меня остался неясным один вопрос: где вы научились играть на
ней? Насколько я знаю, и слухом-то вы никогда не отличались.

Ольсен задумался, перебирая руками теплый песок.

— Где я научился играть на лютне? — переспросил он. — Если
бы я знал...

■ ЗАРУБЕЖНАЯ ФАНТАСТИКА

ПОЛ АНДЕРСОН

Государственная измена

Через три часа за мной придут. Распахнется дверь. Двое в парадной форме встанут в проходе, с оружием наизготовку. Не знаю, будут ли их лица выражать отвращение и ненависть или болезненную жалость, но уверен, что они будут трогательно юными, эти лица, как у всех нынешних рядовых. Затем между ними пройдет Эрик Халворсен и встанет по стойке смирно. Я тоже. «Эдвард Брекиридж», — произнесет он и продолжит дальше, как положено. Совсем недавно он звал меня Эд. Мы одноклассники; в последний отпуск мы провели вместе такой вечер, что сейчас о нем уже наверняка ходят легенды. (То было в Порт-Желанин, а на следующий день мы махнули к морю, красному на той планете, и кувыркались в прибое, и блаженствовали на песке под палящим солнцем.) Не знаю, что увижу в его глазах. Любопытно, что поведение ближайшего друга может быть непредсказуемо. Но так как он всегда был хорошим офицером, следует предполагать, что он честно выполнит свой долг.

Я тоже. Нет смысла нарушать ритуал. Пожалуй, мне не стоит отказываться и от священника. Я сам добавляю штрихи к портрету Люцифера сейчас, когда крушение нашего мира сопровождается взрывом религиозности. Услышат ли мои дети в школе: он был не только предателем, но и грязным безбожником?.. Все равно. Позвольте мне хоть сохранить достоинство и остаться самим собой.

Я пройду по коридору между застывшими телами и еще более застывшими лицами людей, которыми командовал; пробьют дробь барабаны. Люк внутреннего отсека уже будет широко распахнут. Я шагну в камеру, люк закроется. Тогда, на миг, я останусь один. И постараюсь удержать память об Элис и детях, но, боюсь, мой пот будет пахнуть слишком резко.

В подобных случаях воздух из камеры не откачивают. Это было бы жестоко. Они просто нажимают кнопку аварийного открывания. (Нет, не «они». Кто-то один. Но кто? Не хочу знать.) Внезапно мой гроб заполняется тьмой и звездами. Земной воздух выталкивает меня. Я вылетаю.

Ничего больше для меня не существует.

Они верно поступили, дав мне этот психограф. Слово написанное лжет, но не могут лгать молекулы мыслезаписывающей ленты. Мир убедится, что я был по крайней мере честным дураком; от этого, быть может, будет лучше Элис, Жван, маленькому Бобби, который стал походить на отца,—так написано в ее последнем письме. С другой стороны, далеко не специалист по использованию этого устройства, я открою больше, чем хотелось бы.

Что ж, попробайся, Эд. Запись всегда можно стереть. Хотя почему тебя волнует это, если ты собираешься умереть.

Друзилла?

НЕТ.

Уходи. Забирай из моей памяти благоухающие летом волосы, ощущение груди и живота, птицу, поющую в саду у твоего окна,— все забирай. Элис моя единственная, просто слишком долго я был оторван от нее. Но нет, это тоже неправда, мне было хорошо с тобой, Дру, и я ничуть не жалею ни о миге из наших ночей, но как же тяжело будет Элис узнать... или она поймет?.. Я не могу быть уверен даже в этом.

Лучше подумай о возвышенном. Например, о сражении. Убивать вполне дозволено; это вот любовь опасна и должна держаться на привязи.

Морвэйн не забудет нескольких часов в ослепительном блеске Скопления Кантрелла. Попытка оправдаться; помнишь, Эрик Халворсен, моя эскадра нанесла врагу тяжелый удар, но военный трибунал не может следовать подобной логике. Почему я атаковал превосходящие силы противника, после того как предал планету... человеческий род? В деле записаны мои слова: «Я глубоко убежден, что выполнение порученной нам задачи повлекло бы катастрофические последствия. В то же время хороший результат мог принести удар в другом месте». Да будет сказано, однако, к предельной честности этой машины, что я надеялся на плен. Я хочу умереть не больше, чем ты, Эрик.

И кто-то же должен представлять людей по пришествии Морвэйна. Почему не я?

Одно среди прочих соображение против: Хидеки Ивасаки. (То есть Ивасаки Хидеки; у японцев сперва идет фамилия, мы такая богатая вариациями форма жизни.) «Ия-а-а!» — закричал он, когда мы получили лобовой удар. И крик этот ворвался в мои уши через судорожный скрежет металла, через свист вырывающегося воздуха.

Потом нас накрыла тьма. Гравиполе тоже исчезло, я парил, кувыряясь, пока не ударился о переборку и не схватился за поручень. Кровь во рту отдавала влажным железом. Когда туман перед глазами рассеялся, я увидел светящуюся голубым аварийным светом главную панель и вырисовывавшуюся на ее фоне фигуру Ива-

саки. Я узнал его по флюоресцирующему номеру на спине. Сквозь дыру в его скафандре вырывался воздух вперемешку с кровью.

У меня еще мелькнула мысль сквозь судорожные толчки пульса: да ведь нас вывели из строя! Мы не перешли на аварийный контроль, мы неуправляемы — должно быть, сгорели переключающие цепи. Мы можем лишь сдаваться. Быстро включайся в сеть и прикажи передавать сигнал капитуляции!.. Нет, сперва формально сдай командование Фенштейну на борту «Йорктауна», чтобы эскадра могла продолжать бой.

Задвигались руки Ивасаки. Умирая, он плавал перед разбитым сверхпроводящим мозгом и что-то пытался ремонтировать. Это длилось недолго. Всего несколько соединений, чтобы включилась аварийная система. Я и сам мог попробовать, и то, что не сделал этого, — вот моя настоящая измена. Но потом я бросился вместе с Мбото и Холалом ему на помощь.

Мы немного могли сделать. Он был офицер-электронщик. Но мы могли подавать ему инструменты. В голубом свечении я видел его искаженное лицо. Он не позволил себе умереть, пока не кончил работу.

Зажегся свет. Вернулся вес. Ожили экраны. Безжалостно ярко сверкали звезды, но все затмила вспышка в полумиллионе километров. И: «Por Dios! — вскричал офицер-наблюдатель. — Это же крейсер джанго! Кто-то вклеил в них ракету!»

Позже оказалось, что это отличился «Эгинкорт». Я слышал, его капитан представлен к награде. Он мне благодарен?

В тот момент, однако, я думал лишь о том, что Ивасаки оживил корабль и мне нужно продолжать драться. Я вызвал врачей, чтобы оживить его самого. Он был хорошим парнем, застенчиво показывавшим мне фотографии своих детей под вишнями Киото. Увы. В нормальных условиях, в госпитале, его бы подключили к машинам и продержали до тех пор, пока не вырастят новый желудочно-кишечный тракт; на военных кораблях нет такого оборудования.

В уши ревели доклады, перед глазами мельтешили цифры, я принимал решения и отдавал приказы. Мы не собирались сдаваться.

Вместо этого мы прорвались и вернулись на базу — те, кто уцелел.

Мне думается, что военные всегда были образованными людьми, хотя нам легче представить образ эдакого храброго вояки. Но, готовясь сражаться в межзвездном пространстве за целую планетную систему, необходимо понимать устройства, которыми пользуешься; стараться понимать соседей по галактическому дому, таких же чувствующих, как человек, но отделенных от нас миллионами лет эволюции; необходимо знать и понимать самого чело-

века. Так что современный офицер образован лучше и привык думать больше, чем средний Брат Любви.

О, это Братство! Посидели бы они на занятиях у полковника Г., заслужившего Лунный Полумесяц еще до моего рождения...

Солнечные лучи скользили по газонам Академии, дробились в густой листве дубов, сияли на орудии, стрелявшем при Трафальгаре, и падали на кометы у него на плечах.

«Джентльмены,— сказал он как-то на медленном, искаженном эсперанто, служившем предметом многочисленных шуток в наших общежитиях, и подался вперед над столом, оперевшись кончиками пальцев,— джентльмены, вы слышали немало слов о чести, достоинстве и долге. Это истина. Но чтобы жить по этим идеалам, надо правильно увидеть свою службу. Космические войска — не элита общества; не следует ожидать высочайших материальных вознаграждений или почестей.

Мы — орудие.

Человек не одинок в этой вселенной. Существуют другие расы, другие культуры, со своими чаяниями и надеждами, с собственными страхами и огорчениями; они смотрят своими глазами и думают свои думы, но их цели не менее верны и естественны для них, чем наши для нас. И хорошо, если мы можем быть друзьями.

Но так бывает не всегда. Кто-то объясняет это изначальным грехом, кто-то кармой, кто-то всего лишь присущими нам ошибками... Так или иначе, общества иногда могут вступать в конфликт. В таких случаях надо договариваться. И здесь существенна равенность — равная способность уничтожать, да и другие более высокие способности. Я не говорю, что это хорошо; я просто отмечаю это. Вы собираетесь стать частью орудия, которое дает Земле и Союзу эту способность.

Любое орудие может быть использовано не по назначению. Молотком можно забить гвоздь или разнести череп... Но то, что вы военные и подчиняетесь военной дисциплине, не освобождает вас от ответственности гражданина.

Война — не конец, а продолжение политики. Самые кошмарные преступления совершались тогда, когда это забывали. Ваш офицерский долг — долг слишком высокий и сложный для занесения в Устав — помнить...»

Вероятно, в своей основе я лишен чувства юмора. Я люблю хорошие шутки, не прочь повеселиться на вечеринке, в группе меня ценили за забавные стишки, но к некоторым вещам я не могу относиться иначе, чем сверхсерьезно.

Например, к шовинизму. Я не могу выносить слово «джанго», как не мог бы выносить слово «ниггер» несколько столетий назад.

(Как видите, я неплохо знаю историю. Мои хобби, да и способ коротать время среди звезд.) Это мне припомнили на суде. Том Дир присягнул, что я хорошо отзывался о Морвэйне. В трибунале были честные люди, ему сделали замечание, но, Том, ты же был моим другом. Или нет?

Позвольте мне просто рассказать, что произошло. Мы заправлялись на Асфаделе. Асфадель! (Да-да, я знаю, это целый мир, с ледяными шапками, пустынями и вонючими болотами, но говорю я про тот кусочек, который мы, люди, сделали своим в те славные дни, когда ощущали себя господами вселенной.) Белоснежные горы, подлирающие васильковое небо; шумные птичьим говором долины, пестрящие цветами; маленькие веселые города и девушки... Но то был уже разгар войны: здания пустовали, скрипели на ветру двери, гулко раздавалось эхо шагов. Вечерами светили звезды — принадлежащие врагу. То и дело прокатывался гром — эвакуировалось население. Асфадель пал через два месяца.

Мы сидели в заброшенном баре — Том и я — и, нарушая инструкции, хлестали спиртное. С тоскливым воем пробежала сбитая с толку, голодная собака.

— Будь они прокляты!.. — закричал Том.

— Кто? — спросил я, наливая. — Если ты имеешь в виду недоносков из Расквартирования, то полностью с тобой согласен. Но не слишком ли большую работу ты вваливаешь на Всевышнего?

— Сейчас не время шутить, — сказал он.

— Напротив, больше ничего не остается, — ответил я.

Мы только что узнали о гибели Девятого Флота.

— Джанго, — яростно процедил он. — Грязные, мерзкие извращенцы.

— Морвэйн, ты хочешь сказать, — поправил я. Я тоже был пьян, иначе пропустил бы его слова мимо ушей. — Они не грязные. Они еще щепетильнее, чем мы. Сора в их городах не увидишь. Они трехполье, выделяют клейкий пот и имеют кошачью походку, но что с того?

— Что с того? — Он занес кулак. Лицо его исказилось, побелело, лишь ярко горели лихорадочные пятна на щеках. — Они собираются завладеть вселенной, а ты спрашиваешь, что с того?!

— Кто говорит, что они собираются завладеть вселенной?

— Новости, ты, идиот!

Я не мог ответить прямо, и я произнес, напряженно подыскивая и осознавая слова, как бывает в определенной стадии опьянения:

— Планеты земного типа встречаются редко. Их интересует то же, что и нас. Территориальные споры привели к войне. Они выявили, что их цель — сбить с нас спесь, точно так же, как наша — сбить спесь с них. Но они ничего не говорили о том, чтобы сбросить

нас с планет — с большинства планет, которые мы уже занимаем. Это было бы слишком дорого.

— Им стоит лишь вырезать колонистов!

— А мы бы вырезали — сколько там? — около двадцати миллиардов и у нас, и у них — мы бы вырезали такое количество разумных существ?

— Я бы с удовольствием, — процедил он сквозь зубы. — Эти чудовища, — добавил он шепотом, — под шпильями Оксфорда...

Что ж, для меня это будут чужаки, шагающие по земле Вайоминга, где вольные люди некогда гнали скот под щелканье бичей; для Ивасаки — демоны перед Буддой в Камакуре...

— Они образуют правительство, если победят, — сказал я, — и кое о чем мы научимся думать по-иному. Но знаешь, я встречался с некоторыми из них до войны и довольно близко сошелся — так вот, им очень многое в нас нравится.

Некоторое время он сидел, не двигаясь, как будто застыл в столбняке, затем выдохнул:

— Ты хочешь сказать, что тебе наплевать, кто победит?

— Я хочу сказать, что надо смотреть правде в глаза, — произнес я. — Мы должны будем приспособиться, чтобы сохранить как можно больше... если они победят. Мы можем оказаться полезными.

Тут он меня ударил.

А я не ответил. Я просто вышел, в противоестественно чудесный день, и оставил его плачущим. О происшедшем мы впредь не говорили и работали вместе с подчеркнутой вежливостью.

Он присягнул, что я хотел стать коллаборационистом.

Элис, ты когда-нибудь понимала, за что шла война? Ты сказала «до свидания» с почти невыносимой для меня храбростью, и в единственный мой за пять лет земной отпуск мы слишком НЕЛЬЗЯ, НЕЛЬЗЯ, НЕЛЬЗЯ.

Когда я уезжал, шел дождь. Земля, еще черная после зимы, грязные кучи тающего снега, низкое небо, словно какая-то злоеющая серая крыша, щупальца тумана, опутывающие мой дом... Но я все равно видел — очень далеко — то плато, куда я собирался взять когда-нибудь сына на охоту. Мелкие капли у тебя в волосах... Я слышал журчание ручья, вдыхал влажный воздух, ощущал твоё тело и жесткий комок в желудке.

Надеюсь, ты найдешь себе другого. Это может быть непросто; это будет непросто, если я тебя знаю. Ты жена предателя, но слишком чиста для этих братьев, которые, как стервятники, будут виться вокруг. Но кто-нибудь из Космических Войск, вернувшийся на ставшую незнакомой Землю...

Да, я ревную. Вот только странно — не к словам «я люблю тебя», которые ты шепнешь в темноте. А к тому, что он станет отцом Жван и Бобби. Не оправдывает ли это Друзиллу (и других, бывало), если я никогда не сомневался в твоей верности?

Однако предполагается, что я должен объяснить нечто, считающееся несравненно более важным. Дело только в том, что все это настолько просто, что я не понимаю, зачем нужен этот психограф.

Сферы наших интересов пересекались задолго до войны. «Пограничный конфликт» — неудачный термин; вселенная слишком велика для границ. Они основали преуспевающую колонию на второй планете ГГС 421387, промышленность ее превалирует над всей системой. И эта планета всего в пятидесяти световых годах от Земли.

Свара началась значительно дальше. Савамор — так мы называли спорную планету, ибо человеческая гортань не в состоянии передать ту особую музыку, — был под их протекцией. Они должны были защищать его, что связывало значительные силы.

Мы эвакуировали Асфадель, не так ли? Да, но Савамор был слишком дорог. Не просто индустриальная база, не просто стратегическое расположение, хотя, естественно, и они играли немалую роль. Савамор — это легенда.

Я бывал там, зеленым лейтенантом на борту «Данно-ура», в те дни, когда Флот наносил визиты доброй воли. Уже горели споры, уже были стычки, угроза висела в воздухе. Мы знали, и знали они, что корабли наши кружат вокруг планеты в знак предупреждения.

И все же мы были понято возбуждены, получив увольнения. Мы сошли в порту Дорвей, и вскоре я остался один среди зеленых башен, на зеленом ковре травы... Разве мог я не назвать это Изумрудным Городом? Через несколько часов я устал бродить и присел на террасе послушать музыку. Мелодии странные, плавные, тягучие, человеку ни за что такие не придумать, но мне они нравились. Глядя на прохожих — не только морва, но существа из двадцати различных рас, тысячи различных культур, — я вдруг так резко и ярко почувствовал себя космополитом, что это ощущение сравнимо лишь с первым поцелуем.

Ко мне подошел морва.

— Сэр, — обратился он на эсперанто — не буду пытаться вспомнить особенности его акцента, — позвольте разделить радость вашего присутствия.

— С удовольствием, — отозвался я.

И мы начали говорить. Конечно, мы не пили; да это и не требовалось.

Тамулан было одно из его имен. Сперва мы обменивались любезностями, потом перешли на обычаи, потом на политику.

Он был безукоризненно вежлив, даже когда я горячился. Он просто показывал, как выглядят вещи с его стороны... впрочем, вы еще заслушаетесь этого в ближайшие годы.

— Мы не должны воевать,— сказал он.— У нас слишком много общего.

— Может быть, причина именно в этом,— заметил я и поздравил себя с тонким наблюдением.

Его щупальца опустились; человек бы вздохнул.

— Возможно. Но мы естественные союзники. Кто может выгадать от войны между нами, кроме Билтуриса?

В те дни Билтурис был для нас слишком далек и незаметен. Мы не ощущали их давления, эту тяжесть нес Морвэйн.

— Они тоже разумны,— сказал я.

— Чудовища,— ответил он.

Тогда я не поверил тому, что он рассказал. Теперь, узнав неизмеримо больше, я бы не усомнился. Я не допускаю, что раса может потерять право на существование, но некоторые культуры — безусловно.

— Не почите ли вы наш дом своим присутствием? — наконец сказал он.

Наш дом, заметьте. Мы можем кое-чему у них поучиться.

А они у нас, без сомнения. Увы, все обесценено шумихой, раздутой вокруг того, За Что Мы Сражаемся. Должно пройти время...

Так за что же мы сражаемся? Не за пару планет; обе стороны достаточно рассудительны, чтобы пойти на уступки, хотя именно территориальные притязания послужили непосредственным поводом. И вовсе не за чье-то желание насадить свою систему ценностей; только наши комментаторы настолько глупы, чтобы верить в это. Так за что, в самом деле?

Почему сражался я?

Потому что я был офицером действующей армии. Потому что сражались мои братья по крови. Потому что я не хочу, чтобы завоеватели попирали нашу землю. Не хочу.

Говорю это в психограф и не собираюсь стирать запись, ибо страстно желаю, чтобы мне поверили: я за победу Земли. За это я отдал бы не только свою жизнь, это как раз проще всего. Нет, не задумываясь, я кинул бы в огонь и Элис, и Бобби, и Жеан, которая сейчас, должно быть, превратилась в самую очаровательную смесь ребенка и девушки. Не говоря уже о Париже, пещерах, куда мои предки затаскивали мамонта, обо всем распроклятом штате Вайоминг...— из чего следует, что планета Савамор вызовет у меня лишь легкое сожаление. Так?

Опять разбредаются мысли.

Я хочу, чтобы мой народ был хозяином своей судьбы. Над Землей нельзя господствовать. Но равно ненавистно господство Земли.

Я бы хотел написать любовное послание своей планете, но из меня никудышный писатель, и, боюсь, ничего кроме сумятицы не получится: горящее закатом зимнее небо; «...что люди созданы свободными и равными»; поразительная крохотность Стонхенджа и поразительная масса Парфенона; лунный свет на беспокойных водах; квартеты Бетховена; шаги по влажной мостовой; поцелуй — и красный, сморщенный, негодующий комок жизни девять месяцев спустя; перекачивание лошадиных мышц между бедрами; возмущительные каламбуры; моя соседка миссис Элтон, вырастившая трех сыновей после смерти мужа... Нет, стрелка бежит, время уходит слишком быстро...

Меня инструктировал не кто иной, как сам генерал Ванг. Он сидел на командном пункте, в недрах «Черта с два»; за его большой лысой головой мерцал экран звездного неба. Я встал по стойке смирно, и в наступившей тишине завис рокот вентиляторов. Когда генерал наконец произнес: «Вольно, полковник, садитесь», я был потрясен, услышав, как он состарился.

Он еще поиграл ручкой, прежде чем поднял глаза.

— Дело совершенной секретности. В настоящий момент компьютер дает 87 % вероятности успеха — успех определяется как выполнение задания с потерями не более 50 %, но если просочится хоть слово, операция станет бессмысленной.

Я никогда не верил слухам об агентах Морвэйна среди нас. Тем не менее я кивнул и сказал:

— Ясно, сэр.

— От этой штуки, — продолжал он тем же мертвым голосом, повернувшись к экрану, — мало проку — чересчур много звезд. Но все же общее положение представить можно. Смотрите.

Его руки прикоснулись к пультам, и звезды окрасились в два цвета: золотистый и багровый. Цвет врага.

Я видел, как мы в беспорядке отступаем, оставляя парсек за парсеком, я видел вражеские клинья, забитые глубоко в нашу оборону среди звезд, что еще светились золотым, и тогда уже понял, чего следует ожидать.

— Эта система... весь сектор... внешние коммуникации... хранилища... ремонтная база...

Я едва слышал. Я снова был на Саваморе в доме Тамулана.

О да, эскадра могла пробиться. Космос велик, его нельзя охранять везде. У цели, конечно, будут оборонительные силы, но слишком, однако, серьезные в случае неожиданной атаки; и потом

придется прорываться сквозь корабли, которые как пчелы ринутся со всех сторон трехмерного пространства. Но уже никто не помещает сбросить сверхбомбу в небо Савамора.

Это даже не антигуманно. Просто будет вспышка и одновременный взрыв стольких мегатонн, что вся атмосфера мгновенно превратится в свободную плазму. Действительно, еще долго будут гулять огненные бури, не оставив ничего, кроме выжженной пустыни, и миллионы лет пройдут, прежде чем жизнь выйдет из океанов. Но Тамулан не поймет, что случилось. Если Тамулан не сражается со своим флотом. Если еще не умер, зажимая выпадающие из живота внутренности или судорожно хватая ртом воздух, которого уже нет вокруг, как умирали люди на моих глазах. Без населенной планеты, служащей базой экономики, промышленность на других мирах ГГС 421387 не сможет существовать; клин обломается. Без этого клина, ножом нацеленного на Землю...

— Они не бомбардировали наши колонии...

— Мы тоже,— сказал Ванг.— Теперь у нас нет выбора.

— Но...

— Молчать! — Он приподнялся, одно веко задергалось.— Думаете, мне легко?! — И, немного погодя, таким же бесстрастным монотонным голосом: — Они получат тяжелый удар. Мы сможем удерживать этот сектор по крайней мере еще год, что, между прочим, продлит на год войну.

— Ради этого?

— Многое может случиться за год. У нас может появиться новое оружие. Они могут решить, что игра не стоит свеч. Наконец, просто проживут еще год там, дома.

— А если они ответят тем же? — заметил я.

Смелый человек; он встретил мой взгляд.

— Никому не удавалось жить, не рискуя.

Я ничего не мог ответить.

— Если вы сомневаетесь, полковник,— произнес он,— я не стану вам приказывать. Я даже не буду хуже о вас думать. Есть много других офицеров.

И на это мне нечего было сказать.

Да будет здесь ясно видно, как было видно на моем процессе: ни один человек под моим командованием не виноват в случившемся. На всех кораблях эскадры только я один знал истинную задачу. Капитаны считали, что цель рейда в район Савамора — охота за некой укрепленной военной базой, подобной нашей. Офицеры-артиллеристы, очевидно, кое-что могли подозревать, зная характер груза, но слишком низко стояли они на служебной лестнице. И все поверили, что полученная в последний момент информация

заставила меня изменить курс на Скопление Кантрелла. Там мы вступили в наш доблестный, кровопролитный и совершенно бесполезный бой, победили и вернулись.

Таким образом, виноват я. Почему?

На суде я говорил, что, считая атаку на Савамор безумием, я решил выбить вражеский клин неожиданным ударом по Скоплению. Чепуха. Мы лишь потрепали их, что мог предсказать любой кадет-второкурсник.

В душе я надеялся привести в негодность силы, которые Ванг мог использовать для уничтожения Савамора с более надежным офицером во главе.

Факты доказывают мою правоту. Мы уже сдали «Чёрта с два» и теперь не можем обойти триумфально наступающего противника. Да в этом и нет смысла: они выпрямили линию фронта, и остаток войны будет вестись обычными методами и средствами.

Моей конечной целью был плен. Они, как пока и мы, хорошо обращаются с пленными. Со временем я бы вернулся к Элис с немалым опытом за плечами. А разве моему народу не понадобятся посредники? Или руководители? Перед лицом Билтуриса Морзэйн захочет иметь союзников. Мы установим цену за дружбу, и ценой этой может быть свобода.

Сожги мы Савамор, я сомневаюсь, что Морзэйн не расправился бы с Землей. Народ Тамулана не настолько добр. А даже и так — не посчитали бы они долгом стереть до основания продукты, мечты и следы цивилизации, способной на такое, и построить заново по своему подобию? Смогли бы они доверять нам? Кто когда-нибудь сможет простить Дахау?

Сражаясь честно, прямо глядя в лицо поражению, мы можем надеяться спасти многое; надеяться даже, что через десятилетие этим будут восхищаться.

Конечно, все это предсказано, предполагая, что Морзэйн победит. Хочется верить в чудо: вот-вот что-нибудь изменится, стоит лишь продержаться... Я сам верил; я задушил свою веру и противопоставил собственное суждение тому, что нельзя назвать иначе, как всенародным.

Прав ли я? Будет ли моя статуя стоять рядом со статуями Джефферсона и Линкольна, так что Бобби мог бы показать на нее и сказать «Он был моим папой»? Или, чтобы избежать плевков, ему придется сменить фамилию в тщетной надежде затеряться? Я не знаю. И не узнаю никогда.

Оставшееся мне время я буду думать об этом.

Перевод с английского
Владимира Баканова

Разведчик

Вы интересуетесь астронавтикой, а не знаете историю о Звездном Соне! Странно, ведь когда это случилось, интерес к межзвездным полетам после многих лет забвения вновь стал постепенно возрастать, а события, связанные с Соней, немало этому способствовали.

Впрочем, прошу прощения, вы же были тогда еще ребенком, а потом столько всякого произошло... Почитайте-ка сборник, составленный... Хотя нет, есть другой путь, получше. Выберите-ка время и побывайте в Музее истории космонавтики, теперь он снова называется Музеем звездоплавания. Лучше всего, если вы заглянете туда в будний день и с утра.

Там вы увидите неплохо сохранившийся одноместный звездолет. Не заметить его нельзя — это единственный целый корабль во всем музее, к тому же весьма оригинальной конструкции. Увидев его, вы сами поймете, о чем я говорю. Стоит он в отдельном зале, и смотрителем там один старичок. Попросите его объяснить вам устройство этого корабля, и, если повезет, он расскажет вам и историю про Соню. Только ничему не удивляйтесь и не вздумайте его прерывать, даже если вам покажется, что его объяснения к делу не относятся. Рассказывать по-другому старик просто не умеет. И еще одно: если посетителей будет много, то расспрашивать его не стоит, он вас и не увидит — тут уж он с корабля глаз не спускает.

Но когда он начнет рассказывать, путаясь и спотыкаясь, все время отвлекаясь от сути дела, ему все-таки удастся дать вам описание космического корабля.

1. ГИПЕРПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ. БЕЗМОЛВНОЕ НЕБО

Медленно приближался берег. Деревья стояли у самой воды, их ветви и вылезшие на поверхность корни образовывали ходы и арки, где царила полутьма.

«Какие большие деревья», — изумленно сказала Солифь, указывая рукой вперед, и он увидел, что она права, — из города лес казался куда меньше.

«Расстояние», — ответил он и обнял ее за плечи, — это из-за расстояния».

Гидроплан оторвался от воды и резко взмыл вверх, и вот они уже перед стеной из деревьев. Они оставили гидроплан висеть над

Der Kundschafter. Из книги Erik Simon: Fremde Sterne,
© Verlag Das Neue Berlin, Berlin 1979,

лесом, включили свои антигравитационные поля и спустились прямо в чащу.

Потом они вдруг снова очутились в гидроплане, теперь уже возвращавшемся назад в город — двадцать его башен светло-серого и золотистого цветов виднелись вдали, возвышаясь над мелководной бухтой. Дома казались неестественно низкими и будто бы убежали от гидроплана. И тогда ему стало ясно, что гидроплан стоит на месте.

«Ты забыл захватить запасную ракету с горючим», — сказал пилот-робот, находившийся тут же, в гидроплане.

Но Солифь теперь рядом не было. Где же она? Он выскочил на поверхность воды и побежал по направлению к городу — Солифь должна быть там. Однако он скользил и падал, не продвигаясь ни на шаг, а расстояние было слишком велико. Корни деревьев оплетали его ноги и не отпускали. Откуда взялись эти заросли прямо на поверхности моря? Как он ни старался, ему не удавалось освободиться, а башни города убежали все дальше, все быстрее, хотя и оставались в поле видимости. Это так его удивило, что он проснулся...

Он сразу понял, что находится в кабине своего звездолета, в своем кресле, но вызванное сном чувство изумления и напряжения нервов не оставило его и тогда, когда он окончательно пробудился и забыл то, что видел во сне.

Как обычно, он бросил первый взгляд на приборы на главном пульте. Все в норме, так что он может полежать еще минуту-другую. Времени у него много — больше, чем ему хотелось бы. Вот уже почти двести суток он торчит на этой планете, которая с самого начала показалась ему неинтересной и пустынной и которую он за это время успел основательно возненавидеть.

Наконец он поднялся из силового поля и включил экран кругового обзора, хотя и знал, что ничего нового он там не увидит — те же тупые оранжево-коричневые дюны и плоский горный хребет на юго-востоке. Вопреки всякой логике он ненавидел этот пейзаж, который здесь был таким же, как и повсюду на этой планете с ее разреженной атмосферой, постоянно безоблачным черно-фиолетовым небом, чей сумеречный цвет с трудом пропускал свет звезд, и этот большой красноватый диск, неподвижно висевший на западе между горизонтом и зенитом, — близкое, но бессильное солнце этого мира.

Он уже подумывал о том, чтобы перебраться со своим звездолетом куда-нибудь в другое место на этой планете, только что бы это изменило? Разве что положение солнечного диска, профиль почвы да рисунок созвездий на небе — больше ничего.

Он мог бы заняться исследованием планеты, чьим пленником

он был сейчас, но только это уже давно проделали его предшественники.

Он выключил экран, зная, что в эти сутки больше его не включит. «Сутками» он называл период времени, объединявший сон и бодрствование,— в сумме это составляло двадцать часов. Планета была обращена к своему солнцу всегда одной стороной, и он мог бы подобрать для себя другой жизненный ритм, а то и вообще не подбирать никакого, а спать и бодрствовать, когда ему заблагорассудится. Но он определил для себя этот двадцатичасовой интервал и придерживался его, потому что такая регулярность, связанная с внешним миром, помогала ему сохранять внутреннюю дисциплину.

Потом Разведчик сел за локаторы корабля и стал вслушиваться в космическое пространство, хотя и знал, что смысла в этом немного — автоматы намного раньше обнаружат появление запасной ракеты с топливом и известят его. Если, конечно, ракета вообще появится. Порой ему уже не верилось в это. И все же какое-то время он заставил локаторы ощупывать безмолвное небо, пока не надоело, и тогда он отправился в ежедневный контрольный обход корабля.

Большую часть звездолета занимали двигатели. Сперва он проверил гравитационные машины. Создаваемые ими поля тяготения и антитяготения позволяли кораблю приземляться на планеты и стартовать с их поверхности, а в открытом космосе — разогнаться до скорости, близкой к скорости света. Здесь, как и следовало ожидать, было все в порядке, в противном случае приборы в его рубке давно уже сообщили бы о неполадках.

Затем он проверил гиперпространственный двигатель — главную часть всей ходовой системы. Именно она отличала его корабль от ракет с автоматическим управлением, которые шли с субсветовой скоростью, а то время как на родной планете пролетали десятилетия, а то и века. Разведчик был уже четвертый год в пути, и ему предстояли еще два года полета. Но эти шесть лет соответствовали всего лишь восьми годам жизни там, дома. Два года разницы во времени объяснялись теми короткими участками, преодолевая которые он использовал гравитационный двигатель,— в гиперпространстве же корабль мчался с многократной световой скоростью. Так что, вернувшись, он сможет встретиться со своими современниками, ненамного постаревшими по сравнению с ним. Конечно, за эти восемь лет многое изменится, но все-таки он вернется в тот же мир, из которого улетел, а не в какой-то совершенно чужой мир далекого будущего.

Так это все и будет — если, конечно, появится ракета с топливом. Гиперпространственный двигатель пожирал невообразимое количе-

ство энергии. Поэтому корабль Разведчика должен был делать в пути дозаправку. В этих целях еще задолго до вылета по его маршруту отправляли автоматические грузовые ракеты с медленными, экономичными гравитационными двигателями.

Для него были предусмотрены две такие ракеты. Сейчас, на обратном пути, он должен был встретить на орбите этой планеты уже вторую ракету. Система красного солнца как раз и была назначена в качестве места встречи. Конечно, если ракета с топливом потерпела в пути аварию — а что еще могло быть причиной ее задержки? — то тут уж надежд мало. Но несмотря ни на что, он решил выдержать срок ожидания, который сам для себя установил, — двести дней. Оставалось еще шесть.

Он закончил обход. Двигатели были в порядке. Правда, скрытый дефект — если таковой был — ему при наружном осмотре едва ли удалось бы обнаружить, но за этим следят датчики автоматического контроля. А они показывали, что все в полном порядке, лишь энергонакопители были почти пусты. Он мог ограничиться опросом контрольных систем прямо в рубке, но в конце концов хоть что-то он должен был делать! И его задача на оставшиеся шесть дней — проводить осмотр еще тщательнее.

Теперь нужно проверить системы локаторов, хотя он отлично знает, что они функционируют нормально, потому что постоянно пользуется ими и без конца их перепроверяет — из опасения, что какой-нибудь дефект не позволит ему обнаружить появление ракеты.

Да, еще агрегаты комплекса жизнеобеспечения. Их проверку он решил отложить на потом — на завтра или послезавтра. А гипотермическую камеру он обследует непосредственно перед стартом, через шесть дней. Ведь если ему придется возвращаться на гравитационном двигателе, то полет будет продолжаться не два года, а целых сорок восемь лет! На борту, правда, пройдет времени ровно наполовину меньше, а благодаря гипотермокамере постареет он и того меньше. Для полета с субсветовой скоростью энергии было достаточно.

Но когда он вернется, Солифь будет почти восемьдесят...

Существовала и еще одна возможность, но тоже не из лучших. Он мог бы остаться на этой планете, залечь в гипотермокамеру и ждать. Только зачем обрекать себя на добровольный плен в этом чужом мире? А лучше ли рассчитывать на один шанс из миллиона и тешить себя надеждой на то, что ракета просто почему-то запаздывает и в конце концов появится? Не слишком ли долго цепляется он за эту последнюю надежду? Ведь двести дней напрасного ожидания — это масса потерянного времени. Нет, теперь он твердо знает: через шесть дней — старт, и это единственное рациональное решение...

И пусть даже при последней проверке обнаружится какой-либо дефект, или вероятность дефекта, или подозрение в неточности работы аппаратуры... К примеру, гипотермической камеры, или навигационных приборов, или же стоящего без дела в ангаре вездехода — нет, ничто больше не станет поводом для отсрочки, для отмены установленного срока, как это было сто пятьдесят дней назад, сто дней назад...

2. ЛОКАТОР. КРАСНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК

Гости уже собрались, не было только Солифь. «Где же она?» — спросил кто-то из гостей, а второй сказал: «Подумавешь, а что ей тут делать? И кто она такая, чтобы без нее не обошлись?» — «Солифь здесь нет», — заявил один, а другие дружно согласились: «Разумеется, ее нет», и все противно захихикали.

Почему они такие дураки, такие злые дураки? «Что вам здесь надо?» — спросил он их всех. Они не знали, что ответить, и решили уйти. А ведь они пришли на день рождения Солифь и не могли уйти просто так. К тому же и Солифь была тут, как же они смели говорить, будто ее нет? «Потому что мы ее уже поздравили, ты один только не поздравил».

Они были правы, и ему стало так стыдно, что он не может увидеть Солифь, и, значит, ее и вправду нет. «Да вот же она!» — закричали друзья, и до него дошло, что теперь ему нечего стыдиться. И впрямь — она стояла перед ним, и он поздравил ее с восьмидесятилетием. «Но, — сказал он, хитровато улыбаясь, — на самом деле тебе не восемьдесят, а только семьдесят девять, да нет, всего лишь тридцать четыре». И все изумились его словам. Солифь сделала большие глаза, огромные глаза. Но это же было так просто — он подарил ей часы, которые постоянно отставали на пятьдесят дней, нет, на сто дней. Тут он понял, что удивлялись они не этому, а тому, что часы тикали так громко. «Почему они так громко тикают?» — спросил он себя и других, но не услышал ответа, потому что все заглушил грохот часов. Это же будильник, подумал он, и это было его последней мыслью во сне и первой наяву...

Но это был не будильник, да и шум был не таким уж громким. Звук шел от акустического прибора, связанного с локатором, — кто знает, сколько времени он работал, пока не разбудил Разведчика! — прибор показывал, что вблизи планеты появился активный летающий космический объект.

Разведчик должен был бы стремглав кинуться к контрольному пульту, но он встал медленно, осторожно, почти лениво, словно

боясь, что его резкие движения испугают тикающий прибор и тот замолчит, а может, и сомневаясь в реальности этого тиканья и в том, что оно означало.

Когда же он сел за пульт и начал считывать показания датчиков, он понял, что никакой ошибки нет — приборы однозначно свидетельствовали: активный летающий объект с произвольно изменяющейся орбитой. Это была ракета.

Значит, долгое ожидание — без малого двести дней! — не было напрасным. Ракета, замедляя скорость, брала курс на планету.

Вероятно, сигнальный датчик был все же с дефектом, иначе локатор обнаружил бы ракету намного раньше. Да и Разведчик давно открыл бы ее приближение, если бы ежедневное сидение у локатора не надоело ему за эти дни до того, что он в конце концов смирился с тем, что экран его локатора постоянно пуст. А акустический прибор начал работать уже при непосредственном приближении объекта. Если все будет идти нормально, то в течение полутора суток ракета с топливом приблизится к планете, перейдет на круговую орбиту и по его команде совершит посадку.

Он откинулся на спинку кресла, вглядываясь в экран — звездное небо на черном фоне. Звезды на экране выглядели оранжевыми точками, а светило представлялось маленьким кружком. Планеты и их спутники электроника показывала зелеными точками и синими крестиками, но их на экране не было, так как система не имела спутников, а вторая планета оставалась невидимой, потому что Разведчик включил воспроизведение лишь одного участка неба со светящимся красным треугольником в центре.

Красным на экране обозначались космические объекты, опознанные как активные летающие тела. Все другие цвета, предусмотренные для лучшей ориентации в системах с многочисленными планетами, здесь были не нужны — важным был только этот красный треугольник, неподвижно застывший на усеянном оранжевыми точками фоне.

Но Разведчик знал: под зеленой лентой датчика рядом с экраном появилась теперь и красная лента со светящимися цифрами, которые показывали расстояние, отделявшее ракету от планеты. Данные были очень точными, и он долго не мог отвести взгляд от последних трех из длинного ряда цифр, медленно сменявших одна другую. Он смотрел на них не отрываясь, как будто это могло ускорить приближение ракеты.

Как часто, даже когда надежда казалась ему уже плохо замаскированным самообманом, Разведчик рисовал себе, какая охватит его радость, какой это будет для него праздник, когда появится

наконец эта ракета с запасом топлива. Сколько вариантов того, как придет к нему эта долгожданная минута, проходило перед его мысленным взором — в том числе и таких, которые совсем не радовали, а то и вовсе идиотских, вроде того, что вот появилась долгожданная ракета, а он не поверил этому да так и остался на планете до конца дней своих. Действительно, идиотизм, но кто знает, до какого состояния он дошел бы, если бы пришлось еще ждать и ждать.

И вот теперь он знал точно — ракета тут, однако вместо безудержного ликования его наполняло одно лишь чувство нетерпения.

Он резко встал. В его распоряжении еще около полутора суток, но и дел было сверх головы — ведь нужно все подготовить. Чем же следует заняться в первую очередь? Он опять сел, развернулся вместе с вращающимся креслом влево так, чтобы иметь прямо перед глазами пульт с главными контрольными приборами. И снова бросил взгляд на экран, где какое-то время спустя, когда он уже совершит прыжок через пространство, засветятся пять зеленых точек и два оранжевых кружка, а рядом с экраном, по красной ленте счетчика, побегут, сменяя друг друга, цифры, показывающие расстояние: 303, 302, 301, 300, 2VV, 2VX, 2V9, 2V8... Его левая рука легла на клавиатуру проверки состояния агрегатов. Клавишей было шесть — по одной на каждый палец.

3. ГРАВИТАЦИОННЫЕ МАШИНЫ. ДАЛЕКАЯ ОРБИТА

Разведчик смотрел то на участок контрольного пульта, служащий для управления гравитационными машинами, то на экран локатора, где было уже заметно, что красный треугольник движется. Прошло более двух суток с того момента, как он появился там, на экране. Теперь в соответствии с программой ракета перешла на околопланетную круговую орбиту. Незапрограммированным было только то, что она оставалась на этой орбите и не прореагировала на команду о посадке, которую дал ей Разведчик. Ракета на орбите вообще не подчинилась ни одной из многочисленных команд Разведчика, переданных ей по радио в течение последних часов.

Однако по сравнению с тем фактом, что ракета все же появилась, ее «непослушание» представлялось всего лишь незначительным инцидентом, заурядной трудностью, которую нужно и можно преодолеть.

В эту ночь Разведчик спал недолго, но зато спокойно и, кажется, снова видел сон. Только теперь это было неважно — ведь скоро он не во сне, а наяву увидит свой город и над ним небо, на котором сияют два солнца.

Туда были направлены в прошедшую ночь все его мысли. Он обдумал все возможные случайности и приготовился к ним. Олоздание ракеты и поломка ее сигнального устройства — все это явные следствия какой-то аварии, так что следует ожидать, что и другие ее рабочие узлы могут оказаться поврежденными.

Щелчок тумблера — и на экране появились схематичные изображения планеты и орбиты ракеты. Она проходила почти точно над кораблем Разведчика, и это упрощало задачу. Все было подготовлено, вычислено и выверено, следовало только включить гравитационные машины.

Когда ракета вновь появилась над горизонтом, мощный пучок направленной гравитации захватил ее. На экране было видно, как ее орбита все больше сближается с двумя дугами, одна из которых обозначала поверхность планеты, а другая — границу слоя атмосферы, в котором должно будет проходить торможение.

Двигатели ракеты не оказали никакого сопротивления — ведь в конечном-то счете генераторы гравитации намного сильнее и без труда справились бы с ними. Искусственные поля тяготения как бы всосали в себя ракету.

Целенаправленная автоматика вела силовое поле, окружившее снижавшуюся ракету, в то время как второй гравитационный пучок, прочно удерживавший корабль Разведчика, опирался на всю массу планеты. За мгновение до того, как ракете исчезнуть за горизонтом, окружавшее ее поле было отключено, а затем — тоже автоматически — отключилось и опорное поле. На экране появилась новая тонкая линия в виде вытянутого эллипса. Вблизи надира она высоко поднималась над прежней круговой орбитой, в то время как на стороне Разведчика резко падала вниз, врезалась в атмосферу.

При такой эксцентрической орбите должно пройти какое-то время, прежде чем ракета вновь появится в зоне видимости и можно будет провести вторую — и заключительную — часть маневра. Теперь Разведчику нужно было потерпеть совсем короткое время, казавшееся ему, однако, бесконечным.

Гравитационные машины, расположенные в обоих концах звездолета, поджидали нового появления ракеты, чтобы окончательно притянуть ее к поверхности планеты, а затем — потом, позже — выполнить и основную задачу: на поле искусственного тяготения и поле антитяготения вынести корабль в открытый космос и довести затем ускорение до такой величины, чтобы можно было включить гиперпространственный двигатель, чьи девять шаровидных трансдизимензionateоров опоясывали приплюснутый корпус звездолета.

Как только ракета снова вынырнула из-за горизонта и на экране

появилась кривая ее новой орбиты, сопровождаемая соответствующими цифровыми данными, Разведчик, к своему глубокому изумлению, вынужден был констатировать, что эта орбита не совпадает с рассчитанным эллипсом. Она проходила выше — ненамного, но все-таки достаточно высоко, чтобы избежать тормозящего воздействия атмосферы. Где-то над противоположной стороной планеты на очень короткое время включился двигатель ракеты, что и привело к изменению ее курса. Тормозящее воздействие атмосферы не могло теперь помочь сохранению ценного заряда энергии. Что же, придется пойти другим путем — гравитационные машины Разведчика обладали достаточной мощностью, чтобы заставить строптивую ракету совершить посадку.

Он изменил масштаб изображения на экране. Теперь ракета как бы лежала в сетке почти спрямленных и горизонтальных дуг, дававших сведения о расстоянии до поверхности планеты, и почти параллельных им, лишь к краю экрана слегка закруглявшихся радиусов с угловыми данными по отношению к кораблю Разведчика. Ракета находилась точно в центре экрана, в то время как система координат медленно перемещалась вверх и — значительно быстрее — в сторону. Наклонная прямая с цифрами на ее верхнем конце показывала гравитационный пучок, он был автоматически направлен на ракету. Но теперь Разведчик сам регулировал силу поля, и цифры на конце прямой показывали постоянно возрастающую силу гравитационного засасывания. Система координат все заметнее лезла вверх. Ракета, этот детский воздушный шарик в мощных потоках силы тяготения, приблизилась к поверхности планеты и вошла наконец в ее атмосферу.

И тут вдруг восходящее движение координат замедлилось. Шарик явно не хотел подчиняться правилам игры!

Очевидно, ракета включила собственные генераторы гравитации. Отсюда следовало, что ее система автоматики повреждена весьма основательно, поскольку программой подобные маневры не предусматривались. Теперь Разведчик должен бороться не только с инерционной массой ракеты, но и с ее двигателями. Однако он не потерял самообладания. Цифры близ прямой пучка поля показали его возрастание, спрямленные дуги опять полезли вверх, а это означало, что ракета снижается. Причем намного быстрее спешили в сторону угловые координаты, показывая, что скоро будет достигнут зенит.

Разведчик усилил поле до предела. Ракета немного ускорила снижение — и вдруг скользнула вниз, словно падающая звезда. Теперь она вошла в атмосферу так глубоко, что приземление стало неизбежным. Разведчик тут же отключил поле — пусть ракету посадит автопилот, используя ее собственное антигравитационное поле.

Однако скольжение ракеты через разреженную атмосферу шло с прежней скоростью. Почему же автопилот не включает тормозные двигатели? Ведь ракета сгорит или разобьется при посадке!..

Вновь пучок силового поля максимального напряжения подхватил ракету, но теперь цифры на экране побежали в обратном порядке. Гравитационные машины корабля Разведчика излучали анти-тяготение, чтобы затормозить ее падение. Но эффект был небольшим, поскольку ракета давно уже прошла над звездолетом, теперь она удалилась от зенита, и угол для действия пучка силового поля был неудобным.

До самого конца ракета оставалась на экране, а это значило, что она не сгорела. Разведчику удалось лишь несколько уменьшить силу удара при посадке — предотвратить удар он не смог. И он боялся и подумать, в каком состоянии будет после такого приземления главный груз ракеты — ее энергонакопители.

4. ВЕЗДЕХОД-РАЗВЕДЧИК. ЗАХОДЯЩЕЕ СОЛНЦЕ

Вездеход-разведчик имел форму продолговатого, сильно сплющенного трехосного эллипсоида, при полете его дно почти касалось каменистой поверхности планеты. Между гравитационными агрегатами и другими машинами в самом центре вездехода имелось небольшое пространство — узкая кабина, в которой Разведчик провел в полулежащем положении вот уже несколько часов. Теперь большая часть пути была позади.

Грузовая ракета лежала где-то на границе между дневной и ночной сторонами планеты. Огромный пурпурный диск солнца, словно бы застрявший в небе, наконец наполовину скрылся за горизонтом. Разведчик ни разу не обернулся, чтобы взглянуть на него. Солнце интересовало его так же мало, как и панорама черно-красных сумерек.

Когда солнце исчезло окончательно и огни вездехода перекрыли слабый свет заката, еще пробивавшийся сквозь разреженную атмосферу, Разведчик начал сомневаться, на верном ли он пути. Ракета должна находиться в этом районе, почему же он не может найти ее? Или компьютер звездолета неверно определил место падения, или есть какой-то дефект в навигационном аппарате вездехода, или же он сам, Разведчик, допустил ошибку? Конечно, он обязательно найдет ракету, даже если придется значительно расширить район поиска. Только все это потребует лишних затрат энергии и времени — впрочем, разве дело во времени?

А вдруг полученные при посадке повреждения отнюдь не

столь большие, как он предполагал, и за то время, пока он торчит в этой узкой кабине, ракета вновь ушла в небо!

Но он отбросил эту мысль, не желая даже подумать, хорошо это или плохо, и продолжал пристально вглядываться в окружающую его местность, не замедляя хода гравиплана. Однако нетерпение, как и внутреннее беспокойство, продолжало расти. Ведь все могло случиться...

Минуту спустя он увидел ее. Сначала это был лишь всплеск на экране радара, с таким же успехом причиной его могла быть какая-нибудь скала с металлическими вкраплениями, но затем через оптическое устройство вездехода он увидел ярко сверкающее пятно, еще очень далеко, но уже различимое в мощном потоке света запасного прожектора.

Чем ближе, тем более странными казались ему причудливые очертания ракеты. Огромный ее кусок отделился от линзообразного корпуса и криво торчал, будучи единственной четко различимой частью обломков.

И пока вездеход на максимальной скорости мчался вперед, Разведчик не отрывал взгляда от картины, которая вырисовывалась все крупнее и четче: неправдоподобно длинный корпус обтекаемой формы, косо врезавшийся в землю, не имел ни характерных внешних агрегатов гравитационного двигателя, ни пояса из шаров-транзидимензионаторов, и притом не было видно никаких наружных повреждений, хотя, конечно, судить о состоянии этого космического корабля Разведчику было трудно. Он знал только одно — таких кораблей на его родной планете не строили.

5. ГИПОТЕРМИЧЕСКАЯ КАМЕРА. УРОДЛИВОЕ ЛИЦО

Разведчик очнулся — спокойно и без всякого перехода, точно машина, которую переключили, он сменил состояние сна без сновидений на состояние привычного бодрствования. Таблетки, которые он принимал с первого дня после старта с оранжево-коричневой планеты в системе чужого безымянного солнца, позволяли ему проводить большую часть времени во сне, и благодаря тем же таблеткам ему редко снились сны о родине, о Солифь, о двойных тенях от башен его родного города. Может быть, медикаменты просто заставляли его забывать сны после пробуждения, и он не знал, следует ли ему быть благодарным им за это.

Как обычно, первый взгляд он бросил на пульт с шестью главными контрольными приборами. Все было в норме, так что он может полежать еще минуту-другую. Времени у него было даже больше, чем ему бы хотелось; полет продлится еще десятки лет.

Не поднимаясь, он принял простую пищу, которая обеспечивала его тело необходимыми питательными веществами на время до нового пробуждения, а затем и обычную дозу снотворного длительного действия; до следующего периода бодрствования теперь далеко.

В сущности, он продолжал делать то же, чем занимался и на чужой планете,— он ждал. Тогда это были дни, а теперь годы, бесконечные десятилетия полета с субсветовой скоростью. И даже путь в гипотермическую камеру его корабля был для него заказан.

Порой он надеялся: вот он проснется и обнаружит, что все еще торчит на той планете в ожидании ракеты с топливом, а все прочее ему просто приснилось. Да нет, слишком уж хорошо помнил он и красный треугольник на экране локатора, и гравитационный луч, и разбившийся чужой звездолет...

Когда первый шок прошел, Разведчик вернулся на вездеходе к своему кораблю, так и не долетев до сбитой ракеты. Затем он перелетел на звездолете к месту ее падения и начал обследовать обломки. Да, это было похоже на сон, на кошмар, на страшный сон о чужом, разрушенном лабиринте, в котором то тут, то там Разведчик наткнулся на нечто понятное, смутно знакомое ему. Он обследовал секции ракеты, показавшиеся относительно неповрежденными, и агрегаты, о назначении которых Разведчик мог догадываться. Все говорило за то, что двигатели сбитой ракеты работали на ядерном топливе. На родине Разведчика когда-то давным-давно тоже предпринимались такие попытки, но потом от них отказались, так как только что изобретенный гравитационный двигатель — гиперпространственного перехода тогда еще не открыли — был более мощным и более надежным. По всей вероятности, строители ракеты пошли дальше по пути использования ядерной энергии и сумели многого добиться, если уж они рискнули отправиться на таком двигателе в межзвездное пространство. Разведчику казалось чудом, что реакторы не взорвались при падении ракеты. Да, тогда бы уж от нее ничего не осталось — ни обломков, ни рубки управления, оказавшейся почти неповрежденной. И это было самым удивительным — рубка управления корабля...

Разведчик поднялся из силового поля, еще раз взглянул на экран с неподвижными чужими созвездиями в виде маленьких оранжевых кружков и начал обычный контрольный обход корабля. Небольшие дополнительные агрегаты гравитационных машин создавали в корабле искусственное поле нормального тяготения, и этот обход, как две капли воды, походил на те бесцельные осмотры, которые в свое время помогали ему продлевать сроки ожидания на планете.

Но были и отличия. Тогда он еще надеялся, что ему удастся

вернуться на свою планету и в свое время, и его ожидание было бесконечным самообманом. Теперь же он вновь находился на пути к цели, и с тех пор, как начался полет, каждый контрольный обход он начинал с сектора систем жизнеобеспечения. В этом заключалось второе отличие, потому что там, в единственной на корабле гипотермической камере, лежал космонавт с чужого звездолета.

Войдя в помещение с гипотермической установкой, Разведчик первым делом задержался у рубильника на стене — он с самого начала отключил здесь агрегаты искусственного тяготения, потому что это представлялось ему самым надежным для сохранения жизни «пришельца», который лежал в анабиозе в герметической сублимационной ячейке. У Разведчика отнюдь не было полной ясности о состоянии космонавта. Правда, он знал, что физиологическая жидкость, с помощью которой увеличивалась теплопроводимость клеточной субстанции и не допускалось опасного кристаллообразования в процессе быстрого охлаждения, действовала и на организмы другого вида. Но, может быть, она в то же время оказывала на него какое-то побочное, непредвидимое, разрушительное воздействие? Он не мог утверждать обратного. Он вообще мало что мог, после того как ему легко удалось сбить чужую ракету.

Оболочка сублимационной ячейки была толстой, со множеством большей частью ненужных теперь приспособлений и датчиков, с непрозрачными стенками. Но Разведчик помнил, как выглядит чужой космонавт! Уж этого-то ему никогда не забыть. И рост у них был почти одинаков — именно на этом строил Разведчик все свои планы спасения инопланетного «гостя».

Разумеется, были и отличия: рентгеновский снимок выявил поразительную асимметрию внутренних органов инопланетянина. У него было, например, вполне нормальное сердце, но располагалось оно не в середине, а было сдвинуто влево за счет одного легкого, и важные органы обмена веществ тоже были расположены не попарно, а поодиночке, что, конечно же, увеличивало уязвимость организма. Но, во всяком случае, он отнюдь не был одним из тех совершенно иных физически, фантастических, одаренных разумом монстров, которых некоторые ученые рассчитывали встретить во вселенной. Нет, в основном он был похож на Разведчика, и тот невольно вспомнил, как в свое время он потешался над людьми, рисовавшими инопланетян по своему образу и подобию, или над писателями-фантастами, которые пытались эффектно обыграть простодушное предположение, что у тех разумных существ вместо шести будет четыре, пять или семь пальцев.

У «гостя» их было пять.

И в его лице не было никаких особых отклонений, оно не отличалось от лица Разведчика; те же два глаза, нос, рот... Вот

только пропорции были несколько иными: глаза — необыкновенно светлые и широкие, нос — огромных размеров и клювовидной формы, а рот — словно обрамлен красной каймой... Все это не имело отклонений от нормы настолько, чтобы казаться действительно чем-то совершенно чуждым, нет, просто это было странное, уродливое лицо.

6. НАВИГАЦИОННЫЕ ПРИБОРЫ. ДРУГОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ

Казалось чудом, что инопланетянин сумел пережить катастрофу. Когда Разведчик проник внутрь сбитой ракеты, он нашел его тяжело раненным в рубке. Наверное, только благодаря наличию амортизаторов у кресла пилота не произошло самого худшего, но часть пульта управления упала и раздробила ему ноги по самые колени. Выше же колен скафандр неестественно глубоко врезался в тело — вероятно, там имелись эластичные кольца безопасности, которые автоматически стягивались в случае повреждения и разгерметизации скафандра.

Разведчику без труда удалось высвободить тело находившегося без сознания космонавта. Не тратя ни секунды на размышления, словно он не ожидал ничего другого и много раз уже отработывал свои действия на тренировках, Разведчик перенес умирающего пилота в свой корабль, уложил его в сублимационную ячейку и включил автоматические приборы, которые и сделали все необходимое: разрезали скафандр инопланетянина и моментально включили холодильные агрегаты на полную мощность. Теперь они должны были удерживать раненого на границе между жизнью и смертью так долго, как это будет возможно.

Все это автоматы проделали без его вмешательства, вспоминал Разведчик, продолжая обход корабля. И сам он тогда действовал со скоростью и точностью хорошо налаженного механизма, который, не ведая сомнений, выбирает по заданной программе и отработывает самый оптимальный вариант. Позднее, когда было время для размышлений, Разведчик с удивлением обнаружил, что дело сделано.

Он закончил инспекционный обход. Как всегда, агрегаты работали нормально за исключением тех, которые, как, например, шары-дизенсориаторы, не функционировали из-за отсутствия энергии. Начало сказываться действие снотворного, пора возвращаться в рубку, чтобы бросить последний взгляд на навигационные приборы и затем погрузиться в сон без сновидений.

С помощью таблеток ему удастся часть времени держаться на расстоянии от сознания — от сознания, но не от плоти. К концу

полета, надо думать, он не сможет жить без препаратов, будет, наверное, продолжать спать и стареть. Но это уже не играет никакой роли, сказал он себе, все равно, когда мы долетим, я буду глубоким стариком и не встречу никого, кого бы я знал.

Однако в одиночку ему не удастся помочь раненому, и остается только надеяться, что анабиоз не допустит окончательной смерти инопланетянина, пока корабль Разведчика, еле плетущийся сейчас на гравитационном двигателе, не встретит помощи. Шанс ничтожно малый, но единственный, и гипотермическая камера, в которой лежал чужой космонавт, была единственной на корабле.

Разведчик вошел в рубку и бросил взгляд на навигационные приборы. Отклонений от курса нет.

Он вспомнил, как после спасения пилота с ракеты он долго и безуспешно пытался разобраться в ее обломках. Насколько легко было спасти пилота (если, конечно, то, что он сделал, действительно спасло его), насколько легко было доверить жизнь пилота системам жизнеобеспечения корабля Разведчика и автоматическим приборам гипотермической камеры, настолько трудными, да что там, почти безнадежными представились ему вначале попытки обнаружить среди покореженных механизмов непонятного назначения те, чужие навигационные приборы. И все-таки в конце концов он сумел определить, откуда прилетел чужой звездолет! Неясным оставалось только, как смогли эти, казалось бы, примитивные ядерные двигатели справиться с таким расстоянием: ведь планета, где они встретились, была ненамного дальше от Двойного Солнца Разведчика, чем от родины чужестранца.

Экран локатора, подсоединенного теперь к навигационным приборам, показывал только два цвета — черный и оранжевый. Если бы он воспроизводил цвета звезд, какими они были на самом деле, то на экране возникла бы типичная картина эффекта Доплера и звезды расположились бы по спектру концентрическими кругами в фокусе экрана. Но экран фиксировал только самое важное, ведь на него проецировались не все звезды, а только те, что были нужны для ориентации в космическом пространстве. И главное, неизменно остававшееся в центре экрана, — цель.

Засыпая, Разведчик подумал, что хорошо было бы все же увидеть во сне светлый город с башнями у моря, Солифь и друзей, морской берег, ярко освещенный двумя горячими бело-голубыми солнцами. На таком расстоянии и Двойное Солнце предстало бы здесь, на экране, обычным оранжевым кружком. И пусть он опять, проснувшись, забудет свой сон, может, это и хорошо, но ему так хочется его увидеть!.. Ведь он знал: символическое изображение локатора на этот раз почти соответствовало действительности. Оранжевый кружок в центре экрана не был бело-голубым горячим Двой-

ным Солнцем, это была одинокая, кроткая, желтая звездочка на краю Галактики...

Разумеется, такое описание звездолета страдает неполнотой, но старик, следящий за порядком в этом зале, всегда рассказывает о корабле только так или почти так. Что же касается технических подробностей, то вам лучше всего предварительно заглянуть в каталог, потому что спрашивать об этом старика не имеет никакого смысла. Так или иначе, он все равно свернет на историю о Звездном Соне. Большую часть этой истории он, надо полагать, сочинил сам — ведь, как известно, астронавт-инопланетянин умер вскоре после того, как корабль вошел в пределы Солнечной системы. Умер он, по всей вероятности, от истощения, так как на последнем этапе полета он спал, почти не просыпаясь, и не принимал пищи.

Про это старик на рассказывает, хотя кто угодно может прочитать об этом в «Отчете Комиссии по расследованию». Я не знаю, почему он не упоминает многих достоверных фактов, и уж тем более не понимаю, зачем он вместо этого рассказывает подробности, явно вымышленные. Опять же, чего ради он столь неуклюже дополняет «Отчет» преувеличенно драматизированными деталями? Говорят, он сам был когда-то космонавтом. В то время таких, как он, называли чудаками. Одни из них летали по привычным маршрутам к ближним планетам, что считалось — да и вправду было — скучным занятием. А другие — ну, таких было немного — были звездолетчиками, транжирившими, по общему мнению, свои собственные жизни и общественные средства. Мне не удалось выяснить, к какой из этих двух категорий принадлежал старик, но, вероятнее всего, к первой. Может, сейчас, когда общественное мнение переменилось, он таким вот образом хочет взять реванш за пренебрежительное отношение к его профессии, так сказать, задним числом добиться признания? Но и это не может объяснить до конца его странной любви к этому звездолету. А она порой принимает просто болезненные формы, и удивительно, что дирекция музея все ему прощает. Вот совсем недавно он всыпал одному парню, который решил отвинтить какую-то деталь как сувенир и не подумал — если он вообще о чем-то думал, — что старик сможет полезть за ним в самые дальние уголки звездолета. А ведь полез, хоть у него и протезы вместо ног.

Перевод с немецкого
Александра Федорова

■ ПУБЛИЦИСТИКА

ВСЕВОЛОД РЕВИЧ

«Мы вброшены в невероятность»

(К 60-летию первого издания «Аэлиты»)

Новое искусство, родившееся после Октября 1917 года, в самой своей основе было устремлено в будущее, и, может быть, именно эта его особенность стала главным стимулятором стремительного, почти взрывоподобного расцвета советской послереволюционной фантастики. К фантастике толкали невероятность, фантастичность самой действительности. Именно об этом говорил Валерий Брюсов, обращаясь к «Товарищам интеллигентам» и упрекая коллег, не принявших или не понявших революцию, за то, что они отказали собственному народу в помощи как раз тогда, когда он больше всего в ней нуждался.

Еще недавно, всего охотней
Вы к новым сказкам клонили лица:
Уэллс, Джек Лондон, Леру и сотни
Других плели вам небылицы.

И вы дрожали, и вы внимали
С испугом радостным, как дети,
Когда пред вами вскрывались дали
Земле назначенных столетий...

И вот свершилось. Рок принял грезы,
Вновь показал свою превратность:
Из круга жизни, из мира прозы
Мы вброшены в невероятность!

Но и те писатели, для которых вопроса «принимать или не принимать» революцию не было, и те, которые должны были еще победить смятение и сомнение, тянулись к фантастике,— через сдвиги в пространстве и времени, через соприкосновение с иными мирами, через затуманенные картины грядущего они пытались передать свое ощущение от подступивших вплотную событий. Не случайно в 20-х годах дань фантастике отдали многие крупнейшие (или ставшие крупнейшими впоследствии) советские литераторы:

Маяковский, Эренбург, Каверин, Катаев, Шагинян, Булгаков, Платонов, не говоря уже о писателях рангом поменьше.

Пожалуй, самыми заметными произведениями советской фантастики послеоктябрьского десятилетия были два фантастических романа Алексея Николаевича Толстого. В этом году исполняется 60 лет со дня появления его несравненной «Аэлиты».

«Аэлита», можно сказать, первое в русской и советской литературе создание подлинно художественной фантастики, одна из немногих выдержавших испытание временем книг этого жанра, появившихся у нас в те годы.

Если ее первое издание (1923 г.) имело десяти тысячный тираж (впрочем, для тех времен немалый), то для того, чтобы охарактеризовать ее дальнейшую популярность, достаточно напомнить, что, например, только в 1977 году «Аэлита» была издана пять раз — в Москве, Перми, Улан-Удэ, Днепропетровске и Киеве общим тиражом почти миллион экземпляров.

Автор «Аэлиты» А. Н. Толстой в то время еще не стал ведущим советским писателем, но уже был литератором с достаточно крупным именем. Свой роман он писал за границей, в эмиграции, куда уехал в 1919 году. О его настроениях той поры можно судить, например, по письмам к К. Чуковскому: «Эмиграция, разумеется, уверяла себя и других, что эмиграция — высококультурная вещь, сохранение культуры, неугашение священного огня. Но это так говорилось, а в эмиграции была собачья тоска... Эта тоска и это бездомное чувство вам, очевидно, не знакомы... Много людей наложило на себя руки. Не знаю, чувствуете ли вы с такой пронзительной остротой, что такое родина, свое солнце над крышей?..»

Чуковскому же Толстой в октябре 1922 года сообщил о работе над «Аэлитой»: «... спешно кончаю роман («Аэлита» — закат Марса). Аэлита — имя очень хорошенькой и странной женщины. Роман уже переводится на немецкий...»

Когда летом 1923 года А. Толстой вернулся на родину, роман уже был опубликован и в журнале «Красная новь» и отдельным изданием.

Почему же ему понадобилась фантастика, что было даже несколько странно для автора, заслужившего известность повестями из жизни уходящего дворянства, писателя с заметным уклоном в историю России, в русское народное творчество. А тут Марс! «Что с ним случилось, не знаем, — писал в те годы К. Чуковский, — и он внезапно весь переменялся. Переменившись, написал «Аэлигу». «Аэлита» в ряду его книг — небывалая и неожиданная книга, книга не о прошлом, не о будущем. В ней не Свиньи Овражки, но Марс. Не князь Серпуховский, но буденовец Гусев, и тема в ней непохожа на традиционные темы писателя: восстание пролетариев на Марсе.

Словом, «Аэлита» есть полный отказ Алексея Толстого от того усадебного творчества, которому он служил до сих пор».

Причин обращения Толстого к фантастике несколько. Можно предположить, что одна из главных — это желание писателя создать произведение о современности, высказать свое отношение к великим событиям в родной стране, но одновременно недостаточное знание новой действительности, может быть, даже известная боязнь прикоснуться к ней. В этой сложной творческо-психологической ситуации именно многоликая фантастика пришла на помощь художнику. Конечно, в изображении революции на Марсе немало наивного, особенно на сегодняшний взгляд, хотя, быть может, именно на сегодняшний в этой наивности заключена особая прелесть. Как бы то ни было, «Аэлита» рождена и вдохновлена революционными событиями, и пусть политические взгляды недавнего графа еще не были устоявшимися, свое отношение к революции он сумел передать однозначно, это отношение сквозит как в изображении немногочисленных петроградских сцен, так и опосредствованно, через «действительность» Марса.

Главное в «Аэлите» — это свежий ветер революции, который толкает людей на самые невероятные поступки и подвиги; нет ничего невозможного в этом взлохмеченном, голодном, прекрасном и яростном мире. Духом обновления всего — Земли, Марса, человеческих душ веет со страниц «Аэлиты». На Марс, так на Марс, за чем дело стало, товарищи! Прочтя объявление инженера Лося, приглашавшее желающих на соседнюю планету, красноармеец Гусев и остальные жители Петрограда не слишком-то и удивились, зато оно привело в изумление и даже обалдение американского корреспондента Скайлса, который, правда, «со спокойным мужеством... ожидал всего в этом безумном городе», но тем не менее объявление подействовало на него крайне болезненно. Контраст материальной нищеты тогдашнего Петербурга и грандиозности такой задачи, как полет на Марс, слишком велик, чтобы быть только «обстоятельством места и времени», он становится символом величайших дерзаний.

Хотя известно, что А. Толстой, кстати, инженер по образованию, был знаком с трудами Циолковского, и ракета, сконструированная инженером Лосем, возникла в романе совсем не по наитию, но это, конечно, чисто литературная ракета, на особое правдоподобие не претендующая. Толстого вовсе не заботит научная достоверность, его волнуют гораздо более важные для литературы художественно-поэтические задачи. Великолепный пример — это пролет корабля через голову кометы. Гусев стоит у окошка и покрикивает: «Легче — глыба справа... Давай полный!.. Гора, гора летит... Проехали... Ходу, ходу, Мстислав Сергеевич». Такие строки не про-

изводят впечатления ни фальши, ни пародии и совсем не заслуживают иронии, с которой на них обрушился такой литературный авторитет, как Ю. Тынянов: «Взлететь на Марс, разумеется, не трудно — для этого нужен только ультралиддит (вероятно, это что-то вроде бензина)...» Насмешки между тем должны адресоваться лишь к тому, к чему сам сочинитель относится всерьез. А если приглядеться к роману повнимательней, то также нетрудно, как взлететь на Марс, найти в нем и детали, совсем не вызывающие иронического отношения, например, тот шарик, с помощью которого Аэлита на первых порах общается с землянами — аппарат для перевода мыслительных образов в зрительный ряд; сцена кажется перенесенной в «Аэлиту» из какой-то современной книги. Да и сама телесвязь, позволяющая видеть и слышать на дальних дистанциях, тоже не малого стоит по тем временам.

Первое произведение, которое вспоминаешь, когда думаешь о литературном окружении «Аэлиты», — это, конечно, «Война миров» Герберта Уэллса. И действительно, мимо могучего влияния Уэллса вряд ли может пройти хоть один фантаст нашего столетия. В данном случае речь идет не только о марсианской теме, сильнее всего заметна, если можно так сказать, отрицательная связь с концепцией человека в уэллсовских романах. Об этом говорит сам А. Толстой: «Утопический роман почти всегда, рассказывая о социальном строе будущего, в центре внимания ставит машины, механизмы, необычные аппараты, автоматы и проч. Почти всегда это происходит в сверхурбанистической обстановке фантастического города, где человек в пропорциях к этому индустриальному величию — ничтожная величина. В романах Уэллса человек будущего всегда дегенерат, и это характерно для уэллсовского «социализма».

Толстовская «Аэлита» прославляет, возвеличивает человека, человечество, Землю, как колыбель творческих сил, оплодотворивших и древний Марс. Но дело не только в общей постановке проблемы, может быть, главное завоевание А. Толстого в том, что в фантастике наконец-то появились живые люди. На это обстоятельство практически обращали внимание все исследователи творчества А. Толстого, и благожелательные и недоброжелательные, но очень часто в оценке героев «Аэлиты» проявляется некоторая странность. Критиков «не устраивают» герои А. Толстого, им хочется, чтобы они были несколько другими, лучше, что ли. Например, их не устраивает душевная растерянность конструктора ракеты Лося или некоторая примитивность Гусева. Еще до войны Л. Жуков старался «улучшить» Лося: «Читатель вправе думать, что инженер Лось еще и еще раз полетит на Марс. Эта волевая активность заражает читателя, пробуждает в нем здоровое стремление двигаться вперед и вперед». Уж кто-кто, а Лось энергией похвастаться не может, и воспитать

ее в читателях тоже. Но и такой солидный современный литературовед, как М. Чарный, выражает сожаление, что писатель построил сюжет романа так, а не иначе: вот если бы А. Толстой оставил Лосю с Аэлитой, то этот образ получился бы более определенным, Лось бы скорее «разоблачил» себя.

Но не лучше ли нам принять героев романа такими, какими их изобразил автор? Они ведь вовсе не обязаны быть идеальными представителями земной цивилизации, и почему это надо «заставлять» автора отправлять в гости к марсианам лучших, сознательных интеллигентов или красноармейцев. Если бы они были лучшими и сознательными, то они и вели бы себя на Марсе по-другому, а тогда, может быть, и романа бы вовсе не было.

Для чего летит на Марс Мстислав Сергеевич Лось? В сущности, это романтическое бегство: тоска по погибшей жене, душевное смятение, даже разочарованность в жизни. В сумбурной, бессвязной предлетной речи он говорит: «...Не мне первому нужно было лететь. Не я первый должен проникнуть в небесную тайну. Что я найду там? — Забвение самого себя... Нет, товарищи, я — не гениальный строитель, не смельчак, не мечтатель, я — трус, я — беглец...» Все эти настроения были значительно сильнее выражены в первом варианте «Аэлиты». Неврастенический, нерешительный Лось резко не похож на будущих традиционных космических капитанов — с лицами и сердцами, словно вытесанными из гранита. Почему у А. Толстого получился именно такой характер, нетрудно догадаться. Ведь «Аэлита», как уже говорилось, была написана в эмиграции, с которой писатель внутренне порвал, но находился-то он еще за рубежом.

С эмигрантскими настроениями А. Толстого связано и особое внимание к теме родины. Герои романа ни на секунду не забывают об оставленном на Земле, стремятся к ней всей душой. О Земле, о России они говорят только с волнением, и не сам ли автор стоит за восклицательными знаками? «Влажный шар медленно поворачивался. Слезы мешали глядеть. Душа, плача от любви, летела навстречу голубовато-влажному столбу света. Родина человечества! Плоть жизни! Сердце мира!»

Вероятно, этими особенностями душевного состояния автора объясняется и та поразительная лирическая сила, которой пронизана любовь Аэлиты и Лося, любовь, преобразующая этого раскисшего, размягченного человека. Вырвавшись из объятий Аэлиты, он берет маузер и уходит к Гусеву, к восставшим, к борьбе, хотя совсем недавно, поглощенный своими переживаниями, просил оставить его в покое со всякими революциями. Не сделай он этого, может быть, даже Аэлите, потерявшей голову от любви к землянину, пришло бы на ум, что ее избранник ни на что уже не пригоден,

что и из него ушла навсегда та «свирепая и властная» любовь к жизни, о которой говорит в предсмертный час руководитель повстанцев Гор и которой так не хватает ему самому и всему Марсу.

Преображается и Азлита, огонь очистительной любви так же ярко вспыхивает в этой одурманенной ложной мудростью весталке, как костры, зажженные русским красноармейцем Гусевым на площадях марсианской столицы, где они не загорались уже тысячу лет.

В книге скрыт какой-то секрет, плохо поддающийся грубоватому литературоведческому препарированию. Почему образ Азлиты так поэтичен? Ведь автор не дал нам возможности проникнуть в ее душу, не поделился с нами ее мыслями. Мы смотрим на «Видимый в первый раз свет звезды» (так переводится ее имя с марсианского) все время со стороны — глазами Лося или Гусева. Даже портрет ее дан беглым наброском — кроме постоянного подчеркивания ее хрупкости да пепельных волос, и голубовато-белой кожи, мы ничего больше не узнаем. Но это не мешает нам видеть ее совершенно отчетливо, гораздо более отчетливо, чем, скажем, расплывчатого Лося. Не последнее место в формировании облика этой девушки занимают ее рассказы об Атлантиде и песни, которые она поет. Азлита мудра и величава, она носительница древнего знания. Но застывшее знание мертво, его нужно оживить потоком свежей крови, принесенной с Красной Звезды, для Марса — это Земля, молодая, горячая Земля. (Скрупулезные комментаторы уличили автора в научной ошибке: Земля с поверхности Марса вовсе не должна гореть красным пламенем, а отливать голубизной. Но опять-таки — не цвет ли это революции?) Только любовь к смелым и сильным людям — таким ей показался инженер Лось — может вырвать ее из затхлой повседневности, из умиротворенного медленного умирания, к которому толкает марсиан ее отец Тускуб, может наполнить жизнь смыслом; такая любовь способна преодолеть все препятствия и даже перемахнуть через космические бездны: «Где ты, где ты, где ты, где ты, Сын Неба?»

На последних страницах образ Азлиты расширяется до вселенских масштабов, до образа идеальной женщины: «...Голос Азлиты, любви, вечности, голос тоски, летит по всей вселенной...»

Марс — чрезвычайно популярная в фантастической литературе планета, и воображение земных писателей населило его всеми мыслимыми и немыслимыми созданиями. На эту тему у американского фантаста Э. Гамильтона есть даже пародийный рассказ «Невероятный мир», который не раз приходит на ум при чтении марсианской фантастики.

Два американских астронавта, прилетевшие на Марс, не веря

своим глазам, обнаруживают там живых существ самых разнообразных форм и расцветок — жукоглазых людей, нарывоподобных спрутов, уродин с клешнями, хоботами, щупальцами и т. д. Выясняется, что это материализовавшиеся создания земной фантастики, очень недовольные своей внешностью, приносящей им массу неудобств. Но вот самое остроумное наблюдение Э. Гамильтона. Астронавты замечают, что женщины, которые разгуливают среди страшилищ, все до единой очаровательны, каждая из них, независимо от цвета кожи, может служить образцом земной красоты. Это правило почти не имеет исключений, оно соблюдается и в самых серьезных произведениях, и в самых несерьезных. Дело, надо думать, в том, что авторы большинства книг — мужчины и для них психологически невозможно оскорбить прекрасный пол, приписывая ему неземные уродства. Но насмешки, которыми встречаешь очередную марсианскую красотку, не липнут к Аэлите, потому что она подлинно художественное создание. А ведь задача, которую поставил перед собой автор, очень сложна, и во всей мировой фантастике немного удач подобного рода. Надо было создать привлекательный образ неземного существа — далекого и чуждого нам, что ясно ощущаешь в Аэлите, и в то же время близкого, понятного, реального. «Аэлита — лучшая из баб», как написал в одной из песен М. Анчаров, подчеркивая этой грубоватой лексикой, что А. Толстой создал образ и идеальный, и реальный одновременно. Именно это сочетание идеальности с конкретным обликом послужило причиной того, что эта неземная девушка запала в душу молодежи. Ее именем называют малые планеты, клубы, кафе, вокально-инструментальные ансамбли и множество, иногда, прямо скажем, весьма неожиданных предметов. В этом деле наблюдаются даже некоторые передежки. Допустим, что при известных сомнениях имя марсианки еще можно присвоить фену для укладки дамских причесок, но, может быть, все-таки не стоит так величать стиральную машину. Смело предположим, что владительнице Марса стиркой заниматься не приходилось, даже электромеханическим способом.

К огорчению, надо сказать, что тогдашняя критика не увидела новаторского характера романа и встретила «Аэлигу» более чем сдержанно. «Роман плоховат», «Не стоит писать марсианских романов», — в один голос заявили в одном номере журнала уже упомянутые К. Чуковский и Ю. Тынянов. Критике подвергались и основные идеи романа, и его стиль. Впрочем, надо признать, что некоторые недочеты и вправду были, от издания к изданию автор совершенствовал свое произведение.

Однако даже наиболее критично настроенные люди с большой похвалой отзывались об образе красноармейца Гусева. После основательной «выволочки» К. Чуковский заявил: «И все же «Аэлита»

превосходная вещь, так как она служит пьедесталом для Гусева. Не замечаешь ни фабулы, ни остальных персонажей, видишь только эту монументальную, огромную фигуру, заслоняющую весь горизонт. Гусев — образ широчайших обобщений, доведенный до размеров национального типа. Если иностранец захочет понять, какие люди сделали у нас революцию, ему раньше всего нужно будет дать эту книгу. Миллионы русских рядовых деятелей революции воплотились в этом одном человеке».

Но, дав столь высокую оценку Гусеву, критик тут же сравнил его с Иваном-Дураком из русских сказок, а затем и с самим автором: «Выдумывать Гусева ему не пришлось, потому что он и сам такой же Гусев: веселый, счастливый, здоровый, ребячливый, бездумный, в высшей степени русский талант».

С дистанции прошедших лет видна приблизительность подобных оценок. Конечно, образ бесшабашного, неразмышляющего, но находчивого и отважного красноармейца Гусева — большое достижение А. Толстого, но время несколько сместило акценты, и едва ли стоит сейчас называть весь роман лишь «пьедесталом для Гусева».

Впрочем, возможно, что и тогда не стоило. И вправду, Гусев выхвачен прямо из действительности, его характер со всеми его достоинствами и недостатками дан выпукло, именно такие парни боролись в рядах Красной Армии за власть Советов и готовы были немедленно идти делать мировую революцию. Ведь он уже учредил четыре республики, а однажды, собрав сотни три таких же гусевых, отправился освободить Индию, да вот горы помешали. В то же время Гусев необразован, часто действует под влиянием импульса, его легко увести в сторону, вовлечь в авантюру, не Гусевы служили идейным костяком революции. Но все-таки они бродячая, переливающаяся через край сила. Недаром от столкновения с русским красноармейцем трещат подгнившие устои марсианского государства.

Но все же не случайно автор назвал книгу певучим незамысловатым именем. Таких, как Гусев, бойцов гражданской войны мы найдем во множестве произведений, а вот Аэлита оказалась одна, рядом с ней мы никого назвать не сможем до сегодняшнего дня.

Насквозь фантастическая «Аэлита» связана с тогдашней жизнью множеством заметных и незримых нитей. И в мелочах, и в крупном она истинное дитя тех бурных лет.

Так, в описании Марса А. Толстой следует чрезвычайно распространенной в конце XIX и начале XX века гипотезе. В 1877 году, в год великого противостояния Земли и Марса, т. е. в период, когда две планеты сблизилась на наименьшее расстояние, итальянский астроном Д. Скиапарелли разглядел на Марсе сеть прямолинейных линий. Он назвал их, не имея в виду ничего плохого, «canali», что

по-итальянски означает «протоки» как естественного, так и искусственного происхождения, но в других языках слово «канал» предполагает явно рукотворное сооружение, так что никаких сомнений на этот счет у многих не оставалось. Наиболее яростным сторонником предположения о том, что каналы эти прорыты, условно говоря, руками разумных существ, был американец П. Ловелл. По его мнению, по этим артериям текла вода после весеннего таяния снеговых полярных шапок, делая таким образом возможным существование растительности, а следовательно, и прочей жизни хотя бы вдоль этих русел, и покрывали они, по Скиапарелли и Ловеллу, почти всю поверхность пересохшей и лишенной воды планеты.

Это была одна из самых сенсационных гипотез в мире. Споры по данному поводу велись чуть ли не целое столетие и были непосредственными предшественниками нынешних мифов об НЛО. К сожалению, дальнейшее развитие космических исследований не подтвердило смелых допущений Ловелла. Межпланетные станции, советские и американские, подлетевшие к Марсу и даже опустившиеся на него, не обнаружили там ничего похожего на прямолинейные образования; «каналы» оказались все-таки детищем человеческого, а не марсианского разума, к тому же и белые полярные шапки, с которыми сторонники растительной гипотезы связывали столько надежд, подвели их. Да и климат Марса слишком суров по земным представлениям. И хотя даже самые новейшие данные не дали окончательного ответа на вопрос о существовании на Марсе органических соединений или бактерий (но это к нашей теме не относится), в те времена гипотеза Ловелла еще не была похоронена. Это, конечно, не значит, что писатель в какой-то мере пытался представить себе действительный облик гипотетических обитателей Марса, да этого, собственно, почти никто из фантастов не пытался сделать. Тем не менее предположение об обитаемости Марса было тогда не таким уж беспочвенным.

А теперь посмотрим, что же это за марсиане поселились на планете с каналами? А. Толстой, как и впоследствии И. Ефремов, — антропоцентрист, он высказывает предположение, что более совершенное животное, чем человек, создать невозможно, поэтому дикие марсианские племена легко смешались с земными людьми, с магацитами, некогда улетевшими с Земли во время гибели Атлантиды. Таким образом, здесь использована также чрезвычайно ходовая историческая загадка, будоражащая умы по сей день. И опять-таки до сегодняшнего дня наука не дала уверенного ответа: существовал ли вообще гигантский остров, упоминаемый в диалогах Платона, действительно ли он был разрушен 10—12 тысяч лет назад чудовищным землетрясением и населяли ли его мужественные,

рослые и высокоцивилизированные племена? Рассказы, вложенные в уста Аэлиты, дают на все эти вопросы утвердительный ответ. Но в ее рассказах использованы уже позднейшие легенды.

И еще одна историко-литературная связь явственно прослеживается в «Аэлите». В подзаголовке первого издания стояло «Закат Марса». Здесь слышится намек на очень модный в то время труд немецкого философа О. Шпенглера «Закат Европы». О распространенности этого трактата можно судить по такому факту: русский перевод 1922 года делался с 32-го(!) немецкого издания. «Закат Европы» называли самой блестящей книгой XX столетия. И действительно, в книге немало тонких и убедительных наблюдений над загнивающей культурой Запада. (Кстати сказать, у нас традиционно название труда Шпенглера переводят неточно, он называется не «Закат Европы», а «Untergang des Abendlandes», т. е. «Закат Запада», в этот регион автор включал и Соединенные Штаты, но исключал Россию.) По мнению О. Шпенглера, западная культура быстрыми темпами катится к пропасти и к началу XXI века с ней будет покончено. Именно эти пессимистические пророчества в шаткой кризисной атмосфере послевоенной Европы, атмосфере «потерянного поколения», увековеченного Ремарком, Олдингтоном, Хемингуэем, нашли благодатный отклик, чем и объясняется шумный успех, казалось бы, столь специального труда. И надо сказать, что в историко-культурных построениях О. Шпенглера было бы много правильного, если бы автор объяснял причины упадка общим кризисом буржуазного строя и сумел бы разглядеть противодействующие тенденции. Но, по его мнению, в этих процессах действует некий всемирный закон последовательной смены великих культур или великих цивилизаций. Пройдя определенный внутренний цикл, цивилизация обречена на гибель, а возникающая на ее обломках новая культура не имеет с ней никакой связи. Кто понимает сейчас греческую лирику, вопрошал О. Шпенглер, и точно так же грядущим поколениям будет чужда, например, музыка Бетховена.

Здесь нет необходимости подробнее разбирать концепции О. Шпенглера, достаточно сказать, что именно их внеисторичность и подверг А. Толстой тонкому пародированию в «Аэлите». На толстовском Марсе тоже гибнет великая цивилизация. Совсем по Шпенглеру, Марс пересох, Марс кончается. Правящие классы, лишённые всяких творческих сил, хотели бы превратить это медленное умирание в пышный и торжественный реквием, но тем не менее они вовсе не желают упускать власть из своих рук. Как только дело доходит до восстания рабочих, в правителях пробуждается энергия. Именно в эту неустойчивую среду врзается, подобно все встряхнувшему метеориту, яйцообразная ракета с Земли. Словно капли именно земной, разгульной крови и не хватило прогрессивным

силам на Марсе, чтобы подняться на борьбу с проржавевшей диктатурой Тускуба. И это уже совсем не по Шпенглеру.

«Трудно отделаться от впечатления,— пишет А. Бритиков,— что Алексей Толстой угадал самоубийственную психологию современного империализма, готового обречь человечество на истребление, лишь бы не допустить коммунизма».

Именно в таких вот сопоставлениях, аналогиях, сравнениях ценность книги, ее идейность — в этом и ценность фантастики вообще. Как этого не разглядели критики того времени, понять трудно.

Изобразив тоталитарное общество с резким классовым расстройством, с подавлением человеческой личности, с застывшими нелепыми обычаями, А. Толстой сделал первую попытку создания романа-предупреждения, «час пик» которого наступит много позже. Появление подобных штрихов у А. Толстого не было случайностью, в воздухе Западной Европы уже носилась угроза фашизма, в Германии, откуда и вернулся писатель на родину, уже стоял, возглавляя национал-социалистическую партию, ефрейтор Адольф Гитлер. И уже именовал себя «фюрером». Впрочем, более определенно, более сильно антифашистские мотивы прозвучали во втором фантастическом романе А. Толстого «Гиперболоид инженера Гарина» и повести «Союз пяти», которые были написаны вскоре после «Азлиты».

На собственно литературной арене «Азлита» успешно конкурировала в то время с чрезвычайно распространенной усилиями частных издательств переводной приключенческо-фантастической беллетристикой, совершенно безответственной по части идейности, хорошего вкуса и т. д.

В годы создания «Азлиты», например, шел нарасхват роман французского писателя П. Бенуа «Атлантида», представлявший собой некий пряный коктейль из колониального, будучего и научно-фантастического романа. В нем тоже шла речь о потомках платоновой Атлантиды, дотянувших до наших дней, но уже на самой Земле, а именно: в сахарской глубинке, где, оказывается, и была расположена Атлантида, только океан впоследствии отступил от тех мест. Но гипотеза эта послужила автору лишь предлогом для довольно потрепанного сюжета о любви французского офицера и царицы тайного царства, секс-бомбы, выражаясь современным языком, Антиinei, которая заманивала к себе несчастных европейцев, чтобы погубить их в своих объятиях.

Однако признанным главой подобной, так сказать, школы был американский писатель Э. Р. Берроуз, имя которого прежде всего связано с созданным им циклом романов об обезьяньем выкормыше Тарзане. Но и к «чистой» фантастике Берроуз приложил свою руку, в том числе к тому же Марсу.

Он сочинил около десяти романов («Принцесса Марса», «Боги на Марсе», «Владыка Марса» и т. д.; часть из них вышла и в русских переводах) со сквозным героем, неким Джоном Картером, бравым воякой из Вирджинии, который, затосковав от безделья после окончания войны между Севером и Югом, отправляется на Марс и совершает там неслыханные подвиги. Словом, это тот же Тарзан, только не в джунглях. Литература подобного пошиба заслужила у американцев ядовитое прозвище — *Space opera* — космическая опера. Попытки создания космической оперы случались и у нас: в 1925 году, например, появились «Пылающие бездны» Н. Муханова, повесть о войне Земли все с тем же Марсом, в которой обе планеты энергично лупцуют друг друга лучевым оружием, но Земле все же удается одержать победу, замедлив движение враждебной планеты с помощью межпланетного тормоза!

Была сделана попытка превратить в «оперу», или вернее в оперетту, и «Аэлиту». Был сочинен анонимный кинороман «Аэлита на Земле». После поражения революции на родной планете наша героиня отправляется на Землю, где в облике эстрадной певички сражается с отцом Тускубом, возглавляющим контрреволюционный «Золотой союз». В этих событиях принимают участие и другие герои А. Толстого, но чем сюжет окончится, осталось неизвестным, так как из анонсированных восьми выпусков свет, к счастью, увидел только один.

Высокоодежные, написанные в оригинальном стилистическом ключе, с ярко выписанными характерами романы А. Толстого не только в те годы противостояли подобной антихудожественной чепухе, но и в наши дни служат той же цели, став своего рода классикой советской фантастики. Но, как уже было сказано, эта их роль была понята не сразу, еще долго находились критики, которые, как сейчас кажется, поставили себе целью уничтожить отечественную и мировую фантастику. Они пошли гораздо дальше первоначальных отзывов. Так, в журнале «Революция и культура» можно было встретить такие оценки тогдашней детской приключенческой литературы. «...Импералистических тенденций своих авторы (Ж. Верн, Г. Уэллс, М. Рид и т. д.— В. Р.) не скрывали и разлагали ядом человеконенавистнической пропаганды миллионы своих юных читателей... Традиции приключенчества в литературе живучи. За советское время написан целый ряд романов, аналогичных по духу своему майн-ридовщине. К такого рода творчеству руку свою приложил даже маститый Алексей Толстой. И вред от этих романов вряд ли меньший, чем от всей прежней литературы авантюрного толка... У этих романов грех в том, что они возбуждают чисто индивидуалистические настроения читателя... и отвлекают его внимание от действительности то в межпланетные пространства, то в нед-

ра земные, то в пучины морей». Другая статья этого же журнала навешивала вульгарно-социологические ярлыки с не меньшей силой: «В отношении же идеологии у Толстого дело обстоит настолько печально, что его романы лишь условно (по месту и времени появления) можно отнести к советской фантастике». Даже автор предисловия к собранию сочинений А. Н. Толстого, начавшему выходить в 1929 году, в которое была включена и «Аэлита», П. Медведев, в чьей благожелательности невозможно сомневаться, и тот восклицает: «Право же, не стоило за всей этой малостью и пустяковинной лететь на Марс!»

А вот что пишут виднейшие современные исследователи творчества А. Н. Толстого.

В. Щербина: «Научно-фантастический сюжет в произведениях А. Н. Толстого органически сливается с реалистическим колоритом всего повествования, отличающегося широтой постановки социально-фантастической темы, многогранностью и тонкостью социально-психологической характеристики героев».

Л. Поляк: «Тема советского человека, его революционного энтузиазма, его творческого горения, мужества и активности, его дерзких мечтаний и могучего разума перерастает в «Аэлите» в тему человека вообще, человека безграничных возможностей... покорителя звездных пространств».

Конечно, и в те годы были другие оценки, среди которых многого стоило положительное мнение А. М. Горького. Но его мнение было высказано в частных письмах, и можно только удивляться, что при таком неприязненном отношении «Аэлита» все же продолжала издаваться и в 30-х годах, но, может быть, будет не беспочвенным допущение, что именно критика виновата в том, что Толстой быстро отошел от этого жанра, к которому проявлял большой интерес. А сколько от этого потеряла советская фантастика, можно только предполагать.

В заключение хотелось бы сказать несколько слов о киноверсии толстовского романа.

Сразу же после выхода «Аэлиты» в том же 1923 году начались съемки одноименного фильма. Как видно, тогда кинематографисты не теряли времени. Отметим, что роман привлек их внимание именно как возможность раскрыть современную и революционную тему. Похожих постановок в советском кино еще не было. Ставить «Аэлиту» принялся режиссер Я. Протазанов, подобно автору романа вернувшийся на родину после недолгой эмиграции. Картина на своем жанровом ринге вступила в борьбу с зарубежными боевиками, заполнявшими тогдашние экраны. Но, увы, она и сама была во многом сделана в стиле боевика, у молодой советской режиссуры собственных традиций было еще маловато. Вот почему сценаристы

Ф. Оцел и А. Файко принялись «обогащать» толстовский сюжет ударными компонентами. Появилась обязательная для тогдашнего кинематографа любовная линия Лося и его жены Наташи, безосновательная ревность инженера и даже мелодраматический выстрел в «изменницу». Возник образ спекулянта-изпмана Эрлиха и доморощенного детектива Крацова, в роли которого блеснул молодой мейерхольдовец Игорь Ильинский; все эти вставки хотя и придавали картине злободневность, мельчили космический пафос романа, опрокидывали его в бытовщину. Был изменен и упрощен образ Аэлиты. Она превратилась в заурядную аристократку, которая использует восставших рабов, чтобы совершить дворцовый переворот, а затем предает их. Да и вообще вся сильно съезжившаяся марсианская часть всего лишь пригрезилась обезумевшему от ревности Лосю.

Но были и удачи. Прежде всего актерские. И главная из них опять-таки связана с образом Гусева, которого сыграл Николай Баталов, незабываемый в будущем Павел Власов в знаменитой пудовкинской «Матери» и воспитатель Сергеев в одном из лучших советских фильмов 30-х годов — «Путевка в жизнь». Запомнилась и Юлия Солнцева в заглавной роли. Впечатляющие декорации к фильму, особенно марсианские, выполненные в царствовавшем тогда духе конструктивизма, сделал известный мхатовский художник В. Симов. Талантливые костюмы для марсиан придумала художница А. Эстер. Между прочим, это совсем нелегкое дело — зрительно вообразить костюм человека с другой планеты или человека будущего. Сколько мы видели фантастических фильмов, и во всех герои были облачены в различные видоизменения комбинезонов. Далее этого фантазии художников редко когда заходили.

Совершенно необъяснимо, что с тех пор «Аэлита» больше не привлекла внимание кинематографистов. Между тем можно не сомневаться, что фильм, сделанный на современном уровне, имел бы не меньший успех, чем имеет сейчас сам роман.

СОДЕРЖАНИЕ

От составителя	3
ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ	
Константин Сергиенко. Побочный эффект . . .	6
Валерий Генкин, Александр Кацура. Лекарство для Люс	36
Эдуард Геворкян. Правила игры без правил . .	96
Георгий Шах. «Берегись, Наварра!»	153
ЗАРУБЕЖНАЯ ФАНТАСТИКА	
Пол Андерсон. Государственная измена. Перевод с английского Владимира Баканова	182
Эрик Симон. Разведчик. Перевод с немецкого Александра Федорова	193
ПУБЛИЦИСТИКА	
Всеволод Ревич. «Мы вброшены в невероятность»	209



СБОРНИК НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ

ВЫПУСК 28

Составитель
Всеволод Александрович Ревич

Главный отраслевой редактор В. Демьянов
Редактор В. Климачева
Мл. редактор Н. Терехина
Худож. редактор М. Гусева
Художник Г. Басыров
Техн. редактор Л. Солнцева
Корректор В. Рогова

ИБ № 5943

Сдано в набор 29.03.83. Подписано к печати 23.08.83. А 13314. Формат бумаги 84×108^{1/32}. Бумага книжно-журнальная. Гарнитура журнально-рубленая. Печать высокая. Усл. печ. л. 11,76. Усл. хр.-отт. 12,18. Уч.-изд. л. 14,91. Тираж 100 000 экз. Заказ 3—1005. Цена 1 р. 20 к. Издательство «Знание», 101835, ГСП, Москва, Центр, проезд Серова, д. 4.
Индекс заказа 837726.

Главное предприятие республиканского производственного объединения «Полиграфинна», 252057, Киев, ул. Довженко, 3.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЗНАНИЕ»

